

*Станислав  
Месяцин*

**ВТОРАЯ  
ЖИЗНЬ**

**Станислав  
Мелешин**

**ВТОРАЯ  
ЖИЗНЬ**

**Рассказы**

**«СОВРЕМЕНИК»  
МОСКВА · 1981**

**Мелешин С. В.**

**M47** Вторая жизнь: Рассказы. — М.: Современник, 1981. — 335 с.

Герои рассказов С. Мелешина живут и в большом городе и на далеком Севере — в яранге оленевода или избушке охотника, в уральском селе и рабочем поселке. В центре внимания писателя сложные судьбы, непростые характеры. Часто герой находится на перепутье, в конфликте с дорогим ему человеком. Рассказчика волнуют узловые проблемы нашего времени. Он внимательно вглядывается в события сегодняшнего дня, говорит о том, что тревожит нас, его читателей и современников. В книгу вошли рассказы, написанные С. Мелешиным в разные годы.

M 70302 — 106 53 — 81 4702010200  
M106(03) — 81

ББК84 Р7  
Р2

# Троє в тайге

Николаю Воронову

## 1

Утром Олана вызвала Никиту из юрты и попросила его пойти с ней в тайгу — отвезти продукты и патроны старому Багыру — ее отцу, охотнику-одиночке. «Идти далеко, а одна я боюсь», — сказала Олана.

Парень обрадовался и согласился: он давно ждал этого дня. Наконец-то они с Оланой будут вместе так долго, он скажет ей о своей любви, подарит песца, которого берег для нее. ...Да и Багыр перестанет злиться на него, возьмет на охоту с собой.

— На лыжах пойдем, а хочешь — на оленях! Со мной не бойся! Я карабин возьму и мешок с едой понесу!

Олана, покраснев, прошептала «спасибо» и ласково провела рукой по его щеке. Ему тогда показалось, что Олана тоже втихомолку, в душе, любит его.

Вышли из Суевата вдвоем. Жители-манси проводили их понимающими взглядами: все знали, что Никита Бахтиаров любит дочь злого Багыра.

Никита никогда не был на зимней стоянке Багыра. По стойбищу ходили разные истории об отце Оланы, о его удачах и охоте.

И вот сейчас он и она идут тундровой низиной в тайгу к отцу Оланы и молчат, думая каждый о своем.

Слепящий белый простор уходил вдаль, туда, к холодным синим Уральским горам; солнце будто плавилось в снегах, над которыми качался пар, лучи сверкали в воздухе, трепетали где-то там, далеко-далеко под небом, в дрожащем мареве горизонта. Снега будто взбухли — пушистые. Снег обильно выпал ночью, а ветра не было. Идти на коротких и широких лыжах,

обитых снизу шкуркой, было тяжело — наст еще не окреп. Кругом ни кустика, ни камня — только снега и синий купол неба. Лыжи не скользили, приходилось напрягаться. Олана шла впереди. Она взмахивала руками, как большая птица, приседала, наклонив туловище вперед против ветра, — спешила.

Никите было неудобно отставать от Оланы. Тяжелый рюкзак с едой и патронами давил плечи, карабин болтался за спиной и хлопал прикладом по бедру, ремни оттягивали плечи, кольца пояса звенякали, когда Никита поправлял снаряжение. Он часто останавливался от того, что было тяжело и жарко, глубоко вздохнул и про себя крепко ругался: ничего хорошего в этой прогулке он не находил. Олана даже не остановится, чтобы подождать его и послушать о том, как он любит ее.

Радуется она, наверное, что не одна в пути, среди этой белой тишины, да и стосковалась по лыжам в своей избе-читальне... Вот сейчас она ушла далеко вперед и ни разу не оглянулась — видно, забыла про него. К отцу торопится! Соскучилась!

Никита охотничал с бригадой и знал, что Багыр не любит людей и редко бывает в Суевате. Догадывался о причине: кто-то, наверное, крепко обидел хорошего охотника, поэтому он не сдавал пушину и мясо заготовителю артели, а уезжал в Ивдель на городскую базу — сдавал там. Жадный — копит припасы и деньги, мечтает жить семьей отдельно в тайге. Бабушка Оланы была против — не хочет жить в тайге, вдали от многочисленных родственников, да и Олана тоже... После смерти матери Оланы никто из вдов стойбища не шел за него замуж — боялись крутого нрава... Только свою красивую дочь Олану любил он. Правда, разгневался он на нее, когда после семилетки она стала работать избачом, но потом простил. Олана жалела отца, мучилась без него.

А вот сам он, Никита, не любил Багыра и боялся хитрых, угрюмых глаз и широкой тяжелой спины. Вспомнил, как однажды ночью приснилась ему Олана, проснулся — захотел увидеть ее наяву. Пришел к юрте Багыровых, постучал в дверь, думал, отца нет дома. Вышла Олана, накинув малицу на плечи, сказала тихо:

— Отец спит. Давай постоим.

Не заметил, как вышел из юрты Багыр, встал перед Никитой хмурый, глухо приказал:

— Иди! Я тебя не люблю, и моя дочь никогда не будет твоей женой!

А ее взял за руку, как маленькую, и увел в юрту.

Никита так обиделся и рассердился тогда на Багыра! Хотелось крикнуть: «Она будет невестой моей! Пусть со мной стоит — говорить хочу!» — но сдержал себя и больше к юрте не подходил, а встречался с Оланой в избе-читальне, где драмкружок готовил интересную пьесу. Никита делал бороды и разрисовывал артистам лица. Когда он гримировал Олану — трогал ее за щеки, она не сердилась — так нужно, всех красит! Он только ей красил губы губной помадой, которую с трудом выпросил у учительницы. И долго ей берег песца...

Не было момента подарить, ждал, когда будут совершенно одни и никто не помешает.

И вот сейчас они одни. Снег и небо. Олана где-то впереди — черной точкой. А он устал уже, идет сзади — отстал. Идет с ней к ее отцу. Только почему-то поднимается в груди глухое раздражение и злость на себя за то, что до сих пор она не знает, что он ее любит, на нее, такую скрытную, на ее отца: Багыр посмеялся тогда над ним и отругал дочь. А они все равны вместе! Олана сама пришла к Никите, и он уважил ее просьбу. Пусть Багыр знает, что Никита, может быть, совсем и не боится его — он просто такой благородный человек... Да! Вот идет сейчас к Багыру в тайгу... Но почему Олана так торопится? Далеко-далеко. Черная равнодушная точка!

— Олана! — крикнул Никита.

Черная точка остановилась, заколыхалась — машет рукой. Никита догнал Олану, поравнялся — пошли медленно.

— О чем ты думаешь? Скажи мне!

Олана, смешно сжав губы, покачала головой:

— Угадай!

И больше не сказала ничего — молча шла рядом. Никита не стал гадать и заговорил о том, что прошли уже почти полпути и к вечеру доберутся до тайги, а она по-прежнему молчала, только часто поворачивала голову, шептала «да», «что» и «угу». «Молчать в пу-

ти — грех, — думал Никита. — Уже прошли два перехода: можно было песню спеть...»

Кругом снег и снег. Скучно. Небо побледнело, подернулось серым цветом. Снег потемнел. Только вдали у горизонта ярко-синяя полоса опоясала землю — там гасло марево.

— Посмотри, красиво!

Олана вздохнула — «ха!» — ничего не ответила. «Отвыкла от красоты, по книжкам учится», — покачал головой Никита, и ему стало жаль ее.

— Ты на меня не смотри! По сторонам смотри, — Олана обняла Никиту за голову, — направо смотри, налево смотри, оглядывайся назад, — шутливо погрозила пальцем. — А на меня не смотри. Вперед я смотреть буду.

— А если я впереди пойду?

— Иди!

Олана посторонилась, давая ему дорогу. Никита обрадовался: пусть она догонит его теперь, пусть сама смотрит направо-налево, покажет ей удаль — потеряет его из виду. Испугается... Одна. Заплачет!

Никита поскользил на месте, пробуя лыжи — а они застревали глубже в снег, — пошел, готовясь взять разбег... вспомнил о рюкзаке, карабине и с обидой махнул рукой.

Олана поняла.

— Устал, да? — похлопала его по плечу. — Отдохнем.

«Как мать сказала», — подумал Никита и улыбнулся. Вот она смотрит ему в глаза как-то осторожно и грустно, а у него волнение в груди: стоит сейчас перед ним Олана, которую он любит, красивая, в чистой бело-голубой малице с черным капюшоном, откинутым назад. Густые темные волосы открывают матовый большой лоб, глаза живые, черные, лучистые, и сразу под ними румянец — он округляет гладкие щеки и делает ее губы яркими и пухлыми. Никита тоже хоть и некрасивый, но симпатичный — ведь Олана сказала ему однажды так. Только вот шрам прорезал левую скулу — это провел лапой медведь, когда ходил Никита с дедом Кимаем в тайгу на медведя. Серые брови над строгими прищуренными глазами. И лицо толстое, и губы у него большие, мужские, твердые. Пусть не-

красивый, одно он знает, что любит Олану, и ничего больше не надо ему на свете!

Никите казалось, что, если вот он сейчас откроется ей, что любит ее, Олана обрадуется и скажет, что и она сама не спит по ночам — все думает о нем.

Ему слышалось уже, как говорят товарищи-охотники про нее: «Олана Бахтиарова!» «Это Олана и Никита у себя в юрте песню поют», «Никита — удачник в охоте, много соболей принес из тайги своей жене Олане!»

Но говорить о любви было боязно — вставало перед ним лицо Багыра с угрюмой усмешкой. Но ведь Никита любит! А как любит? Хорошо любит... В глаза долго будет смотреть, по щеке ладонью нежно-нежно проведет, в губы и не поцелует — не надо... Она сама поцелует его — так лучше. За руки будет держать ее, по Суевату поведет, чтоб все видели, чтоб все знали — жених и невеста идут. В тайгу Олану с собой возьмет на охоту — пусть посмотрит, какой Никита охотник, увидит, как он метко белку бьет...

Вот так хорошо любит. А готов жениться на ней? Давно готов! Он лучший охотник в бригаде. Ему большие деньги за охоту дают. Хватает на жизнь и матери, и сестренке, и седому деду Кимаю. Вот только Олана на один класс грамотнее его. Не доучился Никита до конца семилетки: жалко мать и сестренку, да и дед Кимай болеть стал. «Иди работай,— попросили они. — Взрослый ты уже».

Пошел Никита — ничего не сказал.

Зато Олана книги ему дает читать. Зачастил он к ней в избу-читальню, пропадает там... Пусть на стойбище смеются все, пусть говорят: «Никита туда не читать ходит, а любоваться дочкой Багыра!»

Он и сам не знает, что больше привлекает его: книги или Олана...

...Олана, о чем-то задумавшись, шла около Никиты. Он огляделся вокруг: снег, березки, овраги. Ему казалось странным, что Олана спокойно идет с ним рядом и не знает, о чем он думает, не знает, что ее любят.

«Ну раз любишь, так что ж молчишь?!» — упрекнул сам себя Никита. Кто-то внутри его подсказывал тихо: «Скажи ей, она будет знать». А-а-а! Это сердце так стучит: «Скажи, скажи!»

«И скажу! — ответил Никита своему сердцу и почувствовал себя смелым. — Она будет моей!»

Лыжи скользили легко. Рюкзак не давил плечи. Карабин с тяжелым прикладом притих за спиной.

Олана шла рядом.

Он схватил ее за плечо и, когда Олана присела, вскрикнула «ой», остановился — стыдно стало, вздохнул, поморгал глазами, поправил карабин на плече. Остановилась и Олана, сжала губы сердечком, холодно прищурила глаза, задышала тяжело, пугаясь строгого лица Никиты, его вздрагивающих ноздрей.

«Я самый младший рода Бахтиаровых. По обычаю могу принимать решение как старший», — успокаивал себя он и опять почувствовал, как кто-то внутри толкает: «Скажи! Скажи! Пусть она знает».

Там вдали синяя тайга. А здесь только он и солнце, желтые снега кругом, небо и красивая родная Олана. Торопливо в груди стучит сердце, к горлу подступает теплая волна. Жарко. Сейчас! Сейчас! Слушай:

— Пришла пора любить нам. Я люблю.

Никита отышался, вытер лоб рукавом. «Наверно, тихо сказал, не услышала», — испугался он и слабо улыбнулся. Ему показалось, что ее большой белый лоб стал белее, а пушистые черные ресницы длиннее — она раскрыла губы и удивленно посмотрела на Никиту Бахтиарова, приблизив свое лицо близко-близко, будто не понимая и обдумывая что-то. Вот сейчас можно было ее поцеловать или погладить щеку рукой. Олана улыбнулась. Он догадался, что любой девушки приятно, когда ей говорят о любви. Смелая от этой мысли, Никита крикнул громко:

— А ты любишь? — и протянул руки Олане, зажмурив глаза. Ладоням стало холодно. Он ловил руками воздух. Услышав заливчатый смех где-то сбоку, нахмурился, открыл глаза.

Олана стояла встревоженная, закинув голову назад, косы ее распустились. Лицо было красным и глупым, как будто за ней гнались.

— А-а? — пропела она, спрашивая, и хитро подмигнула: — Догоняй!

Догонять ее Никита не стал. Сейчас он чувствовал себя взрослым и умным мужчиной, который сделал какое-то очень большое и ответственное дело, и

бегать за девчонкой с его стороны было бы глупостью.

Олана встала, повернулась на лыжах — никто не бежит! Раскинула руки, просительно растянула:

— Н-у, догоняй!

Ее щеки залил румянец. Она зло сжала губы — нарочно, чтобы Никита увидел, как она сердится на него.

— Жених, эй! — рассмеялась... И оборвала смех, поняв, что сделала ему больно.

Глаза их встретились: «Ничего. Это так. Минуты идут... А мы стали ближе». Никита засунул руку за пазуху — вспомнил о песце — где-то у сердца мягкое, теплое в комочке.

Олана присмирела, заметив печаль на лице Никиты. Лицо ее было сейчас доброе, родное, красивое. Они шли рядом, слушая шелест лыж, думая каждый о том, что есть любовь и с нею нужно что-то делать. Шли молча, тяжело, присмирев, очевидно, оба поняли, что с этим шутить нельзя.

Он совсем не ожидал, что Олана посмеется над ним. А ведь она права... Он сам виноват: только глупый говорит о своей любви на снегу в тундре. Нужно — в юрте, когда покой, огонь в чувале горит и на душе песня, когда голова легка и не нужно никуда торопиться.

## 2

Небо посерело, опустилось низко. Дохнуло прохладой. Яркая зелень тайги встала перед глазами. Белые углы сугробов поднялись вверх — закрыли тайгу. Громадные: на лыжах не пройти — увязнешь!

По перелеску в широком логу гулял ветерок, тонко свистел, полируя сугробы. Там, за сугробами, соснами и кедрами, зимняя стоянка отца Оланы...

Никита заметил, что она погрустнела, и вот теперь с сожалением ощущил, что не сказал ей что-то еще... главное.

Сейчас Олана — его, и он чувствует, что она думает о нем. О нем! Защемило сердце!

Вот она уйдет к отцу — станет опять дочерью старого Багыра, а он, Никита, будет просто Никитой Бахтиаровым, провожающим, спутником, хэ! — жителем одного стойбища...

Вспомнил о песце. Нащупал. Будто сердце нашупал. Обида поднялась. Стало жарко щекам. Сугробы обошли. Первая сосна, вторая... Тонкая, голая березка под кедрачом... Олана рядом идет — к отцу! Тихо. Надо что-то говорить. А то так незаметно она может пройти мимо, совсем уйти.

— Пустая ты. Дикая белка. Прыг-прыг... — он показал пальцами, как прыгает белка.

Олана даже не обратила внимания на это. Она слушала, Никита насторожился.

— Школу кончила, а голова все равно пустая... и сердце.

Олана нахмурила брови, зло блеснула на него глазами. Молчала, слушала.

— Что ты знаешь? — Никита помолчал... То ли он говорит? Милая, родная Олана, не спеши!

— А я все знаю и вижу, как люди живут, как жить дальше будут... Кочевать перестанут. Еды и одежды — много! Света будет много, много! Дома кругом большие! Вся тундра — один город! Зимы не будет. У всех — много детей...

Олана хорошо рассмеялась, радостно, и он заметил, что она любуется им.

— Говори, говори.

Они остановились передохнуть. Никита нечаянно задел ее плечом.

— Вот я тебе воротник песцовий подарю. Бери — обо мне каждый день думай...

Олана взяла в ладонь — песцевая шкурка заискрилась, как снег, заголубела полоской лунного света. Прижала мех к губам и опять наклонила голову к лицу Никиты, как раньше, когда он сказал ей «я люблю». Подняла голову — глаза в глаза смотрят, губы близко-близко. Он услышал, как она тихо дышит. Брови в инее. Губы пунцовые, яркие, блестят, с морщинкой. Голос грудной, ласковый.

— Сейчас сердце убежит — торопится! Вот у меня сердце как стучит — громко! — Обняла за плечо. — Помолчим.

Никита стоял не шевелясь: боялся, что она передумает и уберет руку с плеча. Подумал: «Как брата обняла». Согласился:

— Помолчим, — и пожалел, что и сейчас поцело-

вать ее нельзя — обидится. Опять вспомнил, как он сказал ей «люблю» и как она наклонила к нему свое лицо вот так же близко-близко.

«Надо знать, когда целовать, — упрекнул он сам себя. — Эх, ты!»

— Олана! Я поцелую тебя в щеку, ладно? — попросил он, чувствуя, как краснеет.

— Хитрый... А зачем?

Такого вопроса Никита не ожидал и растерялся. Ничего не сказал в ответ... «Да, зачем? — спросил он сам себя, и ему стало почему-то очень стыдно. — Чужая... Невестой будет. Чьей?»

Вспомнил, как приезжал из Пелымы на стойбище толстый манси, в юрту Оланы заходил. Важный такой! Секретарь сельсовета он на Пелыме! Приедет еще раз с подарками к бабушке — увезет Олану с собой!

Никита схватил ее за руку. Она испугалась, вскрикнула:

— Что?

Глаза ее черные, красивые стали печальными. Никогда она не видела Никиту таким злым и красным.

— Метель... — хрипло произнес он, нахмурившись.— Ветер гудит, слышишь? Бурелом будет...

Ветер гудел там, в ложбинах, где стояли у камней голые березы, а здесь, в глубине тайги, начиналась снежная кутерьма: стало пасмурно от белой крупы, сыпавшейся откуда-то сверху; там качались верхушки сосен от ветра, который падал упруго на ветви, сдувал пласти слоеного куржака. Они шлепались глухо вниз, обдавая спутников серебристой колючей пылью. Слышался треск: ломались старые сухие ветки, тонко звенели льдинки, камешками прошивая сугробы. С каменной гряды доносилось гулкое «Дан-бам-крыг»— это лобастые катышки-камни скатывались по ребрам скал, ударяясь один о другой. Когда пальба стихла, воздух долго еще дрожал от гула: будто там, за зеленым дымом тайги, сдвигались глыбы гранита, оседая медленно, медленно...

Никита и Олана молча дошли до оврага, уложенного каменными плитами. Густо кудрявились молоденькие зелено-дымчатые елочки, а в овраге щетинились кусты боярышника — здесь рассыпалась снега, пороша ветки, а ветер летал над кустами, продувая верхи.

Никита снял рюкзак и карабин, нарезал ножом веток и развесил их над Оланой. Тут хорошо — поющая тишина, отсюда им было видно, как по поляне металась, взлетая к небу, метель. Олана притихла, благодарно посматривая на Никиту, — его умелая забота тронула ее сердце светлой печалью. А ему было грустно-грустно от того, что Олана, наверное, пропустила мимо ушей его отчаянное признание.

«Мало полюбить человека, — думал он, — нужно бороться за него... вот так: сегодня не любит, а завтра — на всю жизнь!»

Олана видела грусть на лице Никиты и, чтобы Никита радовался, прижималась щекой к нежной шкурке песца, улыбалась. Никита делал вид, будто не замечает этого.

«Хорошо, когда сделаешь человеку приятное...» А сможет ли он всю жизнь так?.. Ей?! Да! Он сильный, смелый, молодой...

Олана вдруг сказала:

— Если люди вместе, вот как мы с тобой, им ничего не страшно...

— И если любишь, — добавил Никита громким радостным басом.

Стало тихо, и оба они услышали: из бурелома выдирался лось, желтой глыбой переваливаясь по сугробам, вскидывая копыта, фыркал от падающих на его спину пластов тяжелого слоеного снега. Остановился у черного кедра под голубыми ветками, опущенными снегом, обнял шеей ствол, почесался, пуская из ноздрей по два облачка, стал тереться боком об кору. Кедр загудел. С вершины посыпалась снежная крупка. Сухо хрустнула ветка. Метнулась чья-то тень.

Лось вздрогнул — вытянул тяжелую гривастую голову рогами вперед и замер, как изваянный из камня.

Никита только сейчас вспомнил, что он, Никита Бахтиаров, — охотник, завозился, снимая карабин с плеча. Мешали рукавицы... Пальцы ожглись о железо, сдвинули затвор. Дуло направилось на лося. Лось прихлопнул глаза, совсем оцепенел.

— Сейчас богатой станешь! — прошептал Никита Олане.

Олана вдруг остро возненавидела его широкие пле-

чи, натуженные щеки, прищуренный глаз и ударила его по руке.

— Дурак парень! Смотри, как красиво. Ах, стоит — дышит...

Никита передернул плечами, обидчиво поджал губы:

— Жалко? Не мешай! Не твое дело... Я метко стреляю!

Олана грустно засмеялась. Ей стало больно от того, что Никита не послушался. Взглянула на поляну. Лось не двигался. Никита снова приложился щекой к карабину, снова прищурил правый глаз — вот-вот выстрелит. Сердце будто упало. Захотелось заплакать. «Не слушается».

— Не надо, Никита, ну, милый... — скрипнула от злости зубами: — Хах! — Обхватила его сзади за плечи, опрокинула на себя, захочотала от радости, что дуло вскинулось к небу: выстрел прогремел, цокнуло эхо. Где-то прорещали ветки, послышался топот, а сверху с ветвей повалил хлопьями снег, осыпал их обоих. Голова у Никиты тяжелая, да и сам он тяжелый, а глаза раскрылись, стали большими, красивыми, с огоньком. Щеки горячие, лицо мягкое... Обняла. Искала губы. Нашла. Теплые, теплые!

Дыхания не слышно. Разняли руки — лежат рядом на снегу молодые, счастливые, немного стыдно обоим от охватившей их радости первого поцелуя.

Над ними опрокинулось равнодушное небо и тихие яркие зеленые ветки сосны. Воздух пахнет снегом и сосной, и никуда не хочется уходить.

Лежал бы вот так Никита долго-долго, а Олана любила бы его, целовала...

«Это она просто так поцеловала меня... Играла, — с сожалением подумал он. — А кто ее знает? ... А может быть...» — и взглянул на Олану.

Олана тихо дышала, задумчиво смотрела в небо.

— Ланка! — позвал Никита. — Что я тебе скажу...

— Молчи. Не говори ничего. Мне хорошо. Послушай, как сердце поет...

— Это ты меня любишь, Олана.

— Не знаю, Никита.

— Полюбишь, — встал. — Давай руку!

Не взяла — сама встала. Отряхнулась от снега. Лицо у Оланы строгое.

— Не отставай от меня, Никитка...

Не отстанет он, не отстанет! Навстречу — березы, кедры, высокие тощие ели. Поляна за поляной... Овраг за оврагом, кусты, сосны, камни... Поет он песню о дереве, которое листьями пьет дождевые капли, дышит вечерней прохладой, греется зноем, шумит ветвями от ветра, шепчется, шепчется с ним, осенью засыпает и спит зимой в снеговой постели...

Под разлапистыми тяжелыми кедрами встал темный срубом изба! Здесь жил Багыр.

— Ну, вот и все. Пришли, — вздохнул Никита. — Я обратно уйду.

Олана отрицательно покачала головой:

— М-м, не уходи.

— Отец твой — враг мне.

— М-м, нет-нет.

— Ссора будет.

Олана схватила за руку Никиту, прошептала:

— Не уходи, Никитка... — будто что-то обещая, и Никита поймал себя на мысли, что она любит его. Любят!

...Изба молчала. Дверь закрыта. Не встречали лаем собаки. Огонь не горел в окне, дыма над крышей не видно... И эта пустота сжала сердце Никиты тревожной болью.

### 3

В избе — никого, темно и холодно. Олана прибрала на полу и, когда Никита наколол дров, затопила чувал, зажгла и повесила к потолку лампу. Стало теплее и уютнее.

Олана делала все тихо, плавно двигаясь, устало и нежно обращалась за чем-нибудь к Никите, и ему это было приятно, будто они муж и жена, а изба — их дом.

Оба они думали о Багыре. Никита сказал:

— Наверное, он проверяет капканы и сети после бурелома...

— О-о!.. К утру не вернется! — загрустила Олана.

Когда Никита, наблюдая за Оланой, неожиданно звал ее — она пугалась:

— Что?! — ему становилось радостно, и он думал: «Любить крепко будет!»

Сели на топчан. Олана прилегла на раскинутую шкуру лося, думая о чем-то, слушая веселый шепот Никиты:

— Земля большая! Суеват — маленький... На земле живет много-много людей... А мы сейчас — одни. И никто про нас не знает. Вот где-нибудь далеко-далеко люди про нас не знают. Не знают, что есть такие — Олана Багырова и Никита Бахтиаров! Не знают, что мы сейчас здесь в тайге и что я тебя люблю...

Олана тихо засмеялась.

— Почему люди не все живут в одном большом городе, а одни там, другие — там... Вот как мы на маленьком Суевате?

— Молчи... — просила Олана, трогая Никиту за руку.

— Говорить хочется... — шептал Никита. — Мы уйдем в тайгу и будем жить с тобой в нашей юрте... Появится на земле новая юрта! Дети у нас будут, вырастут — у каждого будет жена, у каждого — юрта... Целое стойбище! Внуки пойдут — город большой будет! А? Ланка!

— Ты дурачок, Никита...

Прищурил глаза, смеясь, поправил:

— Умный дурачок!

Олана толкнула его в бок:

— Весело с тобой, Никита. Твоей жене весело всю жизнь будет.

Никита вздохнул, прилег, задумался. Перед глазами встал тонкорогий, широкоспинный олень, запряженный в писаные резные нарты. Полоз с выгнутыми концами. Колокольчики. Это Никита прямо со свадьбы едет с Оланой в Ивдель за подарками... Лог, перелог, низина, мерзлое озеро, кочкарник, даль голубая... Весна вдали. Дымится вода. Мышкует песец, куропатка летит... Нерестится рыба.. Путь широкий — по следам голубых тундровых песцов...

— Олана, скоро я тебя сватать буду.

— Зачем торопиться?

Никита погладил пальцем морщинку на ее лбу.

— Мы, молодые, нетерпеливые.

— Морщинка?! — вздохнула Олана. Когда она смотрится в зеркало, морщинка глядит на нее в упор и напоминает ей о старости бабушки.

— У нас тоже дети будут? — рассмеялась Олана.

Никита подумал и ответил:

— У других есть — у нас будут!

Помолчали. Олана, широко раскрыв глаза, лежала на толстой бурой лосиной шкуре — родная и чужая, любимая Никиты и дочь Багыра.

— Раньше я думал (тебя еще не любил): кто у меня будет женой? Какая?! А теперь знаю — ты! Ты жена... Другой не надо. Вот умру, а добьюсь этого!

— Ты хороший, Никита. Для другой... которую полюбишь. Обо мне забудь. — Глаза Оланы подернулись грустью. — Отец отдает меня в жены в Пелым Оське Анямову. Таков закон старших.

— Глупый закон! Пусть они оставят его для себя. В наше время свои законы. А ты... сама, как?

Олана ничего не ответила.

— Я знаю... Ты любишь меня, но ты... боишься отца?!

Олана ничего не ответила. Никита жадно стал целовать ее. По стенам метались тени от огня. Звенел воздух. О стекла окна билась одинокая ветка кедра.

— Спи, Никита... Ночь уже.

...Медленно приходил сон. Обнялись — щека к щеке. Уснули, забыв обо всем на свете.

#### 4

Утром пришел Багыр. Дверь надсадно заскрипела, когда он толкнул ее плечом, бухнула, разломав лед меж петель. Освежеванную тушу медведя он оставил под навесом на нартах, где стерегли оленей умные собаки-лайки. В избе еще было тепло, пахло паленой березой, и Багыр понял, что кто-то разводил огонь в чувале. Сбросил с плеча задубевшую от мороза медвежью шкуру в угол, дышал, стоя посередине избы, медленно ворочая воспаленными белками глаз — взглянул на синие стекла окна и увидел пришедших гостей, которые спали на топчане.

— Хэ, хэ! — поднял Багыр брови, выпятил нижнюю губу, заторопился, доставая из-за пазухи соболей, разложил на лавке, воровато прикрыл оленевой выделкой.

В чувале тлели уголья. Никита и Олана спали обнявшись — щека к щеке.

Багыр встал над ними, опершись на косяк — подглядывая чужой сон.

Вот дочь его лежит рядом с мужчиной. Вчера пришли. Парень смелый — не боится Багыра, и руку ей на плечо положил, как хозяин. Улыбка и румянец у Оланы: целовал ее крепко.

Багыр сжал скулы, закрыл глаза. «Прирезать, как оленя, — выбросить волкам...»

Он тупо уставился на руку Никиты, лежавшую на плече дочери. Рука молодая, крепкая, с ссадинами...

Что с ней делать? Рука сама не уберется с плеча дочери? Рука не боится злых взглядов Багыра! «Вай-ай!» — подошел ближе, сбросил руку с плеча — она мягко шлепнулась на шкуру...

«Не буди спящего, он сам проснется», — успел подумать Багыр — рука снова легла на плечо Оланы.

— Хм! Торэлойка! Медведь! — выругался шепотом Багыр и вдруг почувствовал, что он боится спящего, а спящий не боится его, спящему все равно: он не видит и не слышит Багыра. Усмехнулся с досады — в груди стало жарко, задышал тяжело от злобы. Проходя мимо, не удержался — пнул ногой, чтобы пинком разбудить парня. «Теперь не боюсь...»

Никита проснулся, поднялся на локоть, ничего не понимая. ...Олана! Рядом спит. Он в тайге, в избе ее отца. Уже утро. Ага, и Багыр пришел! Вот он видит согнутую спину Багыра, склонившегося над чувалом. Что это он там делает? Строгает ножом лучину. В чувале будет гореть огонь. Нож острый, сверкает меж пальцев Багыра, отливает синевой.

Олана спит — на щеках сонный розовый румянec. Не хочется ее будить.

Никита тихо заговорил:

— Паче рума, ачи! Здравствуй, отец Багыр! Это мы, Олана и Никита Бахтиаров. Пришли к тебе вместе вчера. Олана боялась одна... Вот и ждали...

Багыр не повернулся, не ответил на приветствие, молчал. Шея краснела. Волосы на макушке сбились, и торчит смешной хохолок.

Спина широкая, тяжелая. Молчит Багыр.

«Не ответил на приветствие, значит, не хочет говорить со мной».

Никита затих. «Неловко. Надо уходить. Олана

спит — останется здесь», — стало обидно оттого, что он здесь — чужой, что Багыр не хочет говорить, а Олана спит и тоже равнодушная, значит.

Наконец, Багыр оглянулся и прылько посмотрел на Никиту, холодно прищурив глаза, как бы спрашивая: «Ты еще не ушел, парень? Ты разве почетный гость в моей избе?»

«А если я не уйду! Он меня не выгонит, я пришел вместе с Оланой. Вместе и уйдем! Борьба будет — пусты!» — подумал Никита.

Багыр вложил нож в футляр на поясе, поднялся, задел рукавом пустой жестяной чайник. Жесть сухо загремела, ударившись о пол.

Олана открыла глаза.

Никита заметил испуг на ее лице, робкое и нежное в глазах, когда она взглянула на отца. Сейчас она была чужой, далекой и особенно красивой. Олана не сразу нашлась, что сказать отцу, забыла поздороваться, вздохнув и прищурясь, спросила:

— Как охота, отец?

Багыр почмокал губами:

— Э-э! — и махнул рукой, — одна старая белка.

Угрюмо скользнув взглядом по двери, отвернулся, убрал с порога лавку, на которой что-то лежало, укрытое оленевой выделкой.

Никита увидел под шкурой собольи хвосты — черные, белые, серые — пушистые, свисали до пола, искарились, переливаясь, поблескивая... Усмехнулся, вспомнив: «Одна старая белка».

Ему теперь не страшен скользящий туманный взгляд Багыра. Олана ставит в чувал варить мясо. Пусть Багыр стоит спиной все время. Пусть молчит. «Уйди! Ты лишний».

«Уйти? Как бы не так! Багыр сам по себе — Олана сама по себе! Я с ней вместе пришел. К ней пришел».

Олана разговаривала с отцом.

— В тайге бурелом. Нам было не страшно с Никитой.

В этом прозвучало: «Улов будет богатый. Вы можете вместе поставить капканы».

«Нет! Я не уйду. Олана моя!» — обрадовался Никита.

Багыр крякнул:

— Соболь от меня не уйдет... Сетка не пустит! — Ему стало весело, он набил трубку табаком, сморщился, прикуривая, и оглядел Никиту с ног до головы:

— Молодой олень спотыкается, если идет впереди стада.

Никита подумал: «Как бы не так» и, смелей, взял за руку Олану:

— Пойдем! — Рука задрожала, холодная...

— Так невесту берут, когда старшие согласны, — проговорил Багыр и рассмеялся.

Трубка горит хорошо! Дым клубится — вкусный! Заволакивает прищуренные глаза... желтые зубы Багыра. Ох, как смеется Багыр над парнем! Багыру — почет! Багыр умный промысловик. Весь Ивдель знает Багыра. Дочь Олана будет богатой невестой.

Никита обнял Олану за плечо:

— Багыр хочет жениха купить?! Поймать — капканов не хватит!

Олана тихо засмеялась.

Багыр закрыл глаза... Постукивая трубкой о косяк двери... пепел посыпался на унты. Подошел и — ударили Никиту по щеке. Треснул огонь в чувале, задымился. В окне совсем светло и видны черные ветки кедра. Никита побледнел, сжал плечи.

Олана подавила крик, спряталась за спину Никиты. Увидела: схватились за ножи... остановились — испугались оба. Стоят, зло и настороженно смотрят друг другу в глаза. Подергивается скула у Багыра. Горит щека у Никиты — выпрямился. Больно сердцу. Ах!

Перед глазами метель — гудит, бьются снега о кедры, катятся камни, и слышно: «Бан-жам-крык!» Крупные звезды в небе. Это глаза Оланы — печальные. Ночь и юрта. Они стоят с ней — говорят о любви. Багыр встает перед ними — уводит Олану домой. Овраг, где прятались они от метели. Жесткие, колючие ветки боярышника, как взгляд Багыра. Ненавистный, угрюмый взгляд!

Никита бросился вперед — Багыр отскочил в сторону, ударился боком об стену, сжался, поняв, что это серьезно и опасно.

Громко вскрикнула Олана:

— Ой! — Никита остановился.

Багыр медленно стал надвигаться. Усмешка —

злая на его лице. Небритый. Щетина на щеках и на шее. Глубокие складки морщин. Подрагивают, звенькая, кольца на поясе, как колокольчики на праздничных нартах. Будто где-то олени бегут друг за другом, топают копытами. Это Никита прямо со свадьбы едет с Оланой в Ивдель за подарками... Путь широкий по следам голубых тундровых песцов. Голос-шепот: «Олана, скоро я тебя сватать буду». Улыбается Олана, кивает: «Да-да».

Багыр надвигается осторожно, вздрагивает.

«Я же убью Багыра... — думает Никита, и ему становится больно и обидно, — он ведь отец Оланы! Как же так?.. Даже пусть не отец, я не хочу убивать человека. Я только охотник и люблю Олану!»

Отступает Никита. Багыр заметил это — замедлил шаги. Никита грустно засмеялся. Взгляд Багыра веселый, не угрюмый, и лицо у него доброе, а нож острый...

Отступает Никита... Стена! Горячая! Строгое лицо Багыра. Нож. Зачем заплакала Олана?! Зачем замахнулся Багыр?! Замахнулся — подбросил нож вверх, как игрушку, ловко поймал. Взглянул Никите в глаза:

— Щенок! — И захохотал, довольный. Протянули друг другу ножи — поменялись по обычанию.

В чувале трещит огонь. Мечется пламя, гудит. Пар поднимается вверх. Раскраснелись щеки у Оланы, а глаза ее испуганные мечутся по избе, вот она зачем-то сунула в чувал два сосновых полена. Там ведь много огня. Как хочется Никите поцеловать Олану — она стала роднее. Он не боится Багыра, нет, не боится, — Олана будет его женой!

Встал перед нею, произнес устало:

— Идем, Олана!

Она не подняла головы, будто не рассышала, не заметно кивнула. Было ли это согласием или Никите показалось, что кивнула... Устал он и ушел бы сейчас в тайгу подышать, поесть снегу. Отец ее — не враг ему теперь. Они померялись силой: Никита нарочно отступил, и Багыр хорошо знает об этом и еще знает, что виноват перед молодым — первый ударил его по щеке.

Никита равнодушно оглядел избу, сказал Багыру:

— Эх, отец Багыр! Олана все равно будет моей женой! Ты не веришь? Это только дочь твоя! А человек она — сама по себе!

Багыр вздрогнул — правду говорит Бахтиаров!

— Еда готова... Садись, отец! И... ты, Никита, садись, — тихо проговорила Олана, как хозяйка, и ее приглашение послышалось Никите как «люблю... да».

— Садись, парень. Мясо есть будем, — разрешил Багыр.

Вежливо сказал, раскинув оттаявшую шкуру медведя, сел, вздохнув, видно, устал тоже.

Олана и Никита, переглянувшись, улыбнулись друг другу, и, заметив это, Багыр понял: все, что произошло между ними на Суевате и сегодня здесь, в его избе, серьезно, на всю жизнь, — и с уважением посмотрел на Никиту. От этого ему стало не по себе, у него была тайна, известная только ему, и он начал спокойно и устало произносить слова, которые подбадривали:

— Э... парень. Жалко мне тебя. Опоздал ты мальчишко. Олана сосватана давно. Я слово человеку давал. Она замуж пойдет... Жених не чета тебе: большой начальник на Пелыме. Хорошая пара они с Оланой!

— Мы жить лучше будем, — сказал Никита, — у нас любовь.

Багыр усмехнулся и насмешливо поклонился обоим:

— Бахтиаровым почет! Жениху Оланы почет! Любовь у них! Кормить жену чем будешь?.. Любовью?! Целовать будешь...

Эти слова прозвучали с издевкой.

— Багыр умеет шутить...

Никита не договорил — лицо Багыра передернулось, он перебил Никиту:

— Багыр ничего вперед не даст! Только дочь Олану... Иди, дочь, живи, дочь... Начинай жизнь! Детей начнешь рожать, Багыр даст внукам что-нибудь. Такой закон седых стариков.

Олана опустила голову, побледнела. Багыр погладил ее ладонью по голове.

— У дочери сердце отца... Дочь — умная женщина: знает, по какой дороге оленям путь открыт. Сама знает!

Стало тихо. И тогда неожиданно громко, с болью в голосе, прерывисто заговорила Олана: оба, Багыр и Никита, удивленно подняли головы.

— Я не хочу на Пелым! Сосватана... Меня сначала спросить надо! Женихов много и у нас на Суевате.

Однако никто из них не приходил ко мне ночью в юрту, никто за меня не менялся с тобой ножами, однако.

Багыр открыл рот, растерялся:

— Твоя правда, дочь...

— Почему не любишь Никиту? Что плохого он сделал тебе? Молодой? Соболей у Никиты нет?! И не надо! Он любит меня! Честно, хорошо любит!

Багыр завозился, прикрикнул на Олану:

— Пустые слова эти! Умнее отца хочешь быть?!

Два мужа хочешь иметь?! Один есть уже на Пелыме. Отец тебе нашел! Багыровы на Пелым уедут жить. Я договорился уже...

Он встал, кинулся к двери, распахнул ее, приказал Никите:

— Иди!

Надоело ему слушать глупых!

Ветер кинул на порог снег. Шлепались о косяк ветки кедра.

Никита встал, обнял Олану, поцеловал крепко в губы:

— Любишь?

— Да!

Увидел слезы на щеках, смахнул рукой.

— Идем!

Подал руку. Олана взяла руку Никиты — встала.

Багыр загородил собою дверь, закричал:

— Куда?!

Кинулся к лавке, сбросил оленью выделку — запушились, заискрились на лавке, как живые, собольи меха.

— Смотри, это тебе!

Лицо у Багыра красное, глаза раскрылись — блестят, схватил соболей, споткнулся, как будто тяжелые...

Олана рукой отвела отца от двери.

— Не хочу на Пелым.

— Олана, дочь, постой!

...В тайге катятся белые волны снега. Начинается выюга, будет гулять она, свободная и шумливая, по оврагам, полянам, меж стволов и ветвей... Скрипят, раскачиваясь, высокие ели. Шумят зеленые сосны. Ветер, перемешанный со снегом, продувает все вокруг...

Заплакала Олана, остановилась.

Никита пошел вперед. Лыжи хорошо скользят! Оглянулся — услышал хриплый голос Багыра: «Ла-н-ка-а! Вер-ни-ись!»

Ветер заглушает голос Багыра. Смотрит Олана на отца: стоит, увешанный соболями, в снегу у раскрытой двери избы, машет руками. Лают, бегают вокруг него умные собаки лайки. Олени нюхают ветер. Один — отец! — отвернулась Олана. А впереди идет на лыжах упрямо на ветер Никита Бахтиаров — ее муж, милый, хороший человек. Догнала, пошли рядом.

## Вторая жизнь

### 1

«И нет человеку покоя. — Егор махнул рукой и, ожегшись о круглый медный самовар, налил в стакан горячего чаю. — Вот и сиди здесь, думай от нечего делать. А лечит работа...»

В Доме приезжих дневная тишина. Прихожая казалась пустой, холодной и тоскливой.

Степановна — старая женщина, которая встречала приезжающих и записывала их в толстую книгу, — сидела к Егору спиной и раскладывала на столе, как пасьянс, серые квитанции: подсчитывала выручку.

Егору говорить с ней не хотелось. Ему не нравились ее стальные холодные глаза и морщинистое злое лицо. А больше в доме никого не было, кроме кошки да слепого еще котенка, дремавших у печи на разношенных валенках.

— Вот теперь я приезжий, а дальше что? А по сути я конюх, Егор Ломакин, — сказал он вслух, обращаясь к самому себе, смущаясь и отвернулся к окну. «Взглянула... Ну и пусты!»

В окнах были видны голое небо, верхушки сосен и черные избы, нахохлившиеся в сугробах, да кромка замерзшей реки Сысерти. Плоский оранжевый круг солнца скатился за Сысерть и застрял в тесном сосновом бору, раскалывая его на две части. За окном залели снега, и дома районного села вдруг заблестели окнами — стали светлей и приветливей.

От самовара шло тепло. Степановна встала и, перебирая ключи, поджав губы, с достоинством прошла мимо Егора в комнаты. Замурлыкала кошка, облизывая котенка.

Перед отъездом в Сысерть колол дрова, ушиб палец. По дороге заехал в сельскую больницу. Вспомнил о враче — девушке с маленьким круглым лицом и косичками, как она старательно бинтовала. Усмехнулся: «Уважаемая, в халате, как в родильном доме. Боль усмиряет! Работа человечная!» Егор вздохнул и вспомнил себя молодым в своей деревне, в которой прожил уже пятьдесят пять лет.

Был когда-то здоровым, но невеселым, тихим парнем. Любил лошадей. Знал толк в рысаках. Еще мальчишкой, служа у арамильского винозаводчика, на ярмарках перед деревенскими богатеями и голытьбой, съехавшейся со всех сел, обезжал коней и останавливал их на полном скаку под аханье девок и завистливое молчанье парней. Вечерами, на посиделках, сторонился гуляк и задир, сидел с гармонистом-дружком, не отставая от него ни на шаг. Любил бродить ночами с хороводом вокруг деревни, вздыхая о несбыточном и далеком, под смех девок и колкие шутки парней. И было непонятно, отчего последние три осени перед женитьбой оказались многолюднее и голосистее: то ли гармонист играл с каждым годом задушевнее, то ли от того, что Егор Ломакин, став героем и завидным женихом, привлекал общее внимание. Случился под покровом пожар на винном заводе. Егор вывел всех рысаков из сараев, а сам при этом обгорел. Волосы отросли скоро, но лицо так и осталось на всю жизнь рябоватым.

Женился на белолицей Марье, приехавшей из города. Ходили слухи, что она «больная и порченая». Егор только рукой махнул: так полюбилась ему Марьушка за кроткий и добрый характер. Мечтал: будут у них непременно сыновья, здоровые и веселые.

Марья работала в поле. Рожала ему слабых здоровьем детей. Умирали. В душе мучился, затая обиду на «судьбу и несчастную жизнь». По ночам долго обсуждал с женой причины этой семейной беды. Гладил руки жены, успокаивал ее, плачущую.

И затихала и, глядя на мужа, становилась веселой: она считала деторождение такой же трудной работой, как и в поле.

Уже после гражданской войны, после кулацких покушений на колхозных коней, за которыми ухаживал Егор, родился у Марии крепкий последний сын, а сама

она умерла. Сильно горевал Егор о жене. С тех пор и жил вдовым, перенеся всю любовь на сына.

А вот недавно, перед отъездом в Сысерть, женил своего Павла, тракториста, на учетчице Наташе. И с тех пор не стало ему покоя. Сын жил сам по себе. У Егора как бы опустошилась душа, и он ясно чувствовал одиночество.

И сейчас, дремля и вспоминая обо всем, Егор грустил от мысли, что одинокому человеку тяжелее жить: всегда жаль прошедших лет, особенно молодости, и вообще неуютно это — быть одному — при деле ты или не при деле.

Саднил больной палец. В дороге трудно было держать вожжи. Лошадь шла понуро, мотала головой. Веревка натягивалась и терла палец. Глухов, председатель колхоза, приземистый мужчина с большой головой и усталым лицом, привалившись к спинке саней, ежеминутно поправлял на себе красивый черный полушибок с белым воротником и сердился на конюха, на лошадь, самого себя. Дорога с утра оледенела. Лошадь, спотыкаясь и скользя, шла осторожно. Чем ближе к Сысерти, тем беспокойнее становился председатель.

А Егор все громче и громче понукал лошадь, которая поранила ноги о ледяные иглы и отбила себе круп, падая на льду. Слушая басовитые приказания Глухова: «Торопи, торопи!», Егор чувствовал жалость к нему: плохи дела в колхозе, и вот председателя срочно вызвали в райком. А едут они вместе, будто и Егора тоже вызвали и отвечать за колхоз они будут вдвоем.

«Мается человек, — думал Егор. — Если слухам верить, сымут его с председателей. А это несправедливо! Да! Глухов Степан Иваныч работающий, с умом хозяин. Одному ему несподручно управиться со всем колхозом-то, если некоторые молодцы в лес смотрят. Развалился колхоз, а всю вину ему одному на шею. Эх, поговорить бы кое с кем!»

Услышав: «Гони давай, чего мечтаешь?» — Егор вздрогнул и стегнул лошадь вожжами. Она, рванув вперед, упала еще раз и, встав, выволокла сани на снежную обочину дороги.

Остаток пути Глухов молчал. А сейчас он с утра в райкоме и ночевать будет у знакомых.

Егор вспомнил о Глухове потому, что уже наступил

вечер, а председатель обещал заглянуть в дом приезжих в случае, если понадобится ехать куда-нибудь.

«Да, тяжело ему. Беда. В райкоме, наверно, отчитывают человека. Во весь рост ставят. А откуда у Глухова дела распрекрасными будут, если наша деревня — ни колхоз, ни город? Фабрика есть, школа, больница, артели всякие, да и в Сысерти на заводе работают люди из села. Все при местах, вот и некому в поле-то, у земли... Поприезжали агрономы, а двое обратно подались: не приглянулось. Вот и получается, что крестьянской силы маловато. Всего шесть десятков человек. Молодежь на предприятия ушла, в армию, а из армии в колхоз не возвращаются, особенно женатые. Кто попроворней да без мыслей в голове, те в города подались, на базарах работать да агентами по всякому снабжению, на всякие горпромкомбинаты, тьфу, слово-то какое!.. А то и просто за деньги в очередях у магазинов за других постоять, к примеру, за «Победой». Все есть хотят... Все выгоду ищут... и где легче... А работать? А земля?..»

Егор вспомнил, как в Кашине заглядывал в избу, где старухи и школьницы-пионерки бойко орудовали формовочной машиной, изготавливали торфоперегнойные горшочки. Спросил одну старуху: «Ну как машина?»

Та ответила: «В плечах болит. А машина хорошая. Урожай будет».

Сейчас Егору захотелось выругаться. Нахлынули мысли тревожные, злые, и он даже сам себе понравился — вот сидит у самовара один и думает думу обо всех и обо всем на свете.

«Поставили бы меня секретарем сельсовета, в районное начальство какое-нибудь. Смог бы?»

У Егора даже дыхание захватило от этой мысли. И он, набрав в грудь воздуха, произнес вслух:

— Дельно наворотил бы!

Ему стало приятно разговаривать с собой и подзадоривать себя: «Ну, а что? Ну, а если?»

«Перво-наперво Глухова утешил бы! Ничего, мол, сообща решим! Хлеб сеять — не детей рожать! Потруднее дело. С дезертирами покруче повернуть. Ишь ловкачи! В райкоме так и скажут: «Глухов поймет...»

Он выпил чаю и вытер ладонью губы.

«Пятый стакан без сахара — не согревает».

С досадой на душе потянулся к махорке, но, вспомнив, что она отсырела в дороге, когда сани опрокидывались в снег, положил кисет на печь.

«А ко всему прочему выпить бы стакан водки. Там разберемся, что к чему. Вечером соберутся приезжие, пойдут знакомства, разговоры. Для веселости надо. Курева дорогое куплю. «Север» там какой-нибудь».

За окном стало сине. Все: и небо, и избы, и сугробы, и сосны — светилось последним матовым светом дня и казалось стеклянным.

По улице медленно двигались груженные ящиками и бочками машины. Слышались мальчишеские голоса и осипший лай собачонки.

Егор накинул тулуп и вышел на улицу прогуляться до первой чайной.

## 2

В чайной Егор сытно поужинал и возвратился в Дом приезжих.

Когда он чувствовал себя веселым, но одиноким, в его душе возникало неистребимое желание потолкаться среди людей, поговорить обо всем, познакомиться со всеми.

В такие минуты он особенно любил людей, и они ему казались все хорошими. Плечистый, с тяжелыми руками, одетый в дорожную вылинявшую гимнастерку с заплатами на локтях, в стеганые брюки, заправленные в большие теплые пимы, он занимал много места в маленькой прихожей и от этого стеснялся. Егору хотелось поговорить с незнакомыми городскими людьми, которые казались ему солидными и умными. У него была привычка обращаться ко всем с вопросами и всех называть ласково и одинаково — Миколай.

— Слыши, Миколай, у меня к тебе разговор...

— Что такое?

— Оно ведь как кому... агрономия там, скажем...

И, не докончив мысли, принимался одуванчивыми черствыми пальцами крутить цигарку. И ждать, что собеседник продолжит разговор. Махорка сыпалась на пол, газетная бумага рвалась, и было непонятно, чем вызвано появившееся вдруг выражение досады на его лице: тем ли, что разговор не вязался и его не слуша-

ли, или тем, что он не может закурить. Глаза оглядывали всех, потом веселели, он сжимал полные губы, раскрасневшиеся щеки раздвигал улыбкой, и лицо его принимало умное и хитроватое выражение.

Приезжие Дома колхозника собирались поговорить, выпить чаю, почитать от нечего делать вчерашние газеты.

Раскурив самокрутку и разгоняя дым рукой, Егор, прищурившись, наблюдал за незнакомыми людьми, улавливая ухом разговор, подсаживался поближе, степенно, молчал, кивая, и, если чувствовал, что говорит невпопад, замолкал, досадуя на то, что теряется. Но все ему казались милыми, хорошими, как будто давно знакомыми людьми, с которыми он прожил много лет вместе.

Егору не понравился только высокий, в темно-синей гимнастерке и галифе агент «Ростсельмаша», который, по его словам, приехал снабжать весь Урал сельскохозяйственными машинами; не понравилось, как он качался, бегая по комнате, и подрыгивал, скрипя хромовыми сапогами и поправляя желтый новый ремень, как балагурил, расхваливая ростовский край и богатые урожаи, и все спрашивал Егора, хлопая по плечу:

— Ты из какого колхоза? Выпьем, а?

— Агент... Вот если бы ты сам машины делал?..

Егору не понравилось, что агент обращается ко всем на «вы», а к нему на «ты», однако предложенную агентом папиросу «Казбек» взял и поблагодарил: «Ладно, покурим!»

Пересел к окну и заметил полную женщину в красной вязаной кофте с застывшим взглядом, которая стояла у двери, прислушиваясь от скуки к мужскому разговору.

Он знал от Степановны, что женщина эта актриса, и сейчас, всматриваясь в ее лицо, отметил, что оно белое, припудренное, подкрашенное, похожее на маску, что это лицо не смеется; а когда актриса открывает рот, то блестят ее золотые зубы, и это напоминает скучую улыбку. «Не крестьянской жизни человек».

Он представил себе, как эта полная женщина утром ходит по магазинам, покупает шоколад разных сортов, а вечером играет в театре и весь город осыпает ее цветами. «А может, на своей пашне тоже устает!»

Встретился с ее снисходительно прищуренными глазами и нахмурился.

Актриса подсела поближе к пожилому человеку в очках, с лысиной, читавшему газету у печи. Было жарко, человек этот расстегнул суконный зеленый френч; черные с проседью волосы его зачесаны назад, усы на добродушном лице раздвигались, когда он улыбался.

«Партийный какой-то, — определил Егор. — Все читает и наблюдает. Одиноко у себя в комнате! На люди потянуло!»

Актриса рассказывала о себе, обращаясь ко всем:  
— Я читаю людям сказы Бажова.

Егор с уважением посмотрел на актрису: «Я знал его. Наш, сысертский...» И, усаживаясь на место, подумал: «Вот мужик, а своим умом до писателя дошел! Ну и голова у него. Иванко-Крылатко. Широкое плечо... Читаешь и удивляешься: и откуда что берется? Голова у него особая. Сел и пиши. Но у меня головы такой нету!»

Егор встретился с внимательным взглядом серых настороженных глаз человека во френче. Тот наклонился к Егору, снял очки и, поморгав, мягко спросил:

— Ну что?

Егору стало неловко от того, что оторвал почтенно-го человека от чтения, и он поджал под стул ноги в пимах.

— Вот... поговорить с вами хочу.

— Давай поговори!

Человек во френче улыбнулся — усы его раздвинулись, Егор обрадовался, что нашел собеседника, легонько обнял его за плечи и тоже перешел на «ты».

— Вот я тебе про свадьбу скажу. Сына я женил по первой линии.

— Как это? — спросил человек во френче.

— В колхозе, скажем, хозяйство, земля и все такое... А в городе заводы. Сын там на курсах был, он мне и говорит: «Папаня, есть там у меня одна знакомая — парикмахерша». Чуешь, к чему клонит?! Пашка, говорю. — Глаза Егора заблестели, лицо стало строгим. — В городе много их. Они только по земле умеют ходить, а в поле ... Фить! — Егор развел руками. — А слыхал, говорю, в городе разводов сколь? Почитай

газеты! Не жизнь получается, а вторая линия! В деревне разводов нету. Крепко! — Егор сжал кулаки. — Парикмахерша твоя — обслуживающий персонал, да и только! Женись, говорю, по первой линии, по «крестьянской». И женился он на учительце Наташе, девка давно по нем сохла. У-у! Сейчас у них такая любовь разгорелась! «Пашенька» да «Наташенька»! Клещами не оторвешь дружку от дружки. А весной, известно, посевная... — И неожиданно спросил: — А что в газетах пишут?

Человек во френче не понял, что Егор ждет подтверждения своих мыслей о разводах, и ответил:

— Земли подымают. Люди едут в деревни.

— Я так и думал. В точку! К примеру... — Егор хотел рассказать о своем колхозе, но удержался, думая радостно, что в газетах пишут именно про его колхоз и люди едут именно к ним в деревню.

— На земле... — протянув жесткие ладони, воодушевленно начал Егор, — кроме всяких чудес, человек хлеб ростит! Хорошо это придумано — хлеб! Или вот на заводах — железо! А это главное: не земля кормилица, а человек — кормилец. Ведь вот что он может: и хлеб добывать и из-под земли железо. Конечно, обидно, когда у других руки даром привешаны. Земля — она не вся земля, а та, что продукт рожает, получше бабы какой... Или города на плечах держит, лес ростит, воды питает. А есть пустая земля, как человек иной... оттого ее и «пустыней» зовут. В Африке — песок. На Севере — льды.

— Да, да... — кивнул собеседник, прислушиваясь. Газета зашуршила и выпала из рук. Егор быстро поднял ее и спросил:

— А как Америка?

— Америка-то? Живет.

— Живут... люди. Пусть. Посевная, да-а. Человек, он тогда в смысле полном, когда свадьбу сыграет. А там работает... И чтоб дети росли вот такими! — Егор взметнул руками, показывая, какими чтоб росли дети, задержал их на весу и снова обратился к человеку в очках: — Вы партийный или как?

Человек в очках долго смотрел на Егора, о чем-то думал, а потом улыбнулся и ответил просто:

— Нет. Беспартийный я. Я работаю на своем ме-

сте. Бухгалтером. — Протянул Егору руку: — Иван Сидорович Козулин.

Егор пожал ее и сказал, как всегда говорят в таких случаях:

— Очень приятно... мне! Вот я думал: предложу вам выпить со мной, а вы откажетесь. Партийные люди ведь редко пьют.

— Отчего же? И поговорить и выпить можно.

«Душевный человек, — решил Егор, наклонив голову и внимательно разглядывая Козулина, — а все-таки партийный!» И вслух сказал:

— Вы, Иван Сидорович, читайте газету-то. Мешаю я вам. Извините. Уважили вы меня, поговорили со мной. Хорошо!

— Да-да, — сказал Козулин и, надев очки, снова развернул газету.

Актриса спросила:

— Что вас так заинтересовало?

— Да тут статья...

В комнате стало тихо.

Вошли новые люди — три веселых молодых парня: два — с папками, один — с чемоданом.

Степановна засуетилась, приглашая их к своему столу оформлять на постой.

Егор разглядывал молодых людей: не похож ли кто-нибудь из них на его сына Павла? Один — круглоголовый, скуластый; в военной шинели с петлицами и без погона — стоял, расставив ноги, и ловил свое отражение в зеркале.

«Ишь ты, лобастый, из армии только что или из пожарных».

Нескладный детина в роговых очках распахнул бобриковое пальто и, поглаживая румяные щеки, улыбался Егору застенчиво, как девушка.

«Инженер или студент», — определил Егор.

А третий — молчаливый и печальный, со сжатыми тонкими губами, небритый, в старом летнем пальто — хмуро искал, куда бы сесть, вопросительно поглядывал на всех своими большими черными глазами и наклонял голову чуть набок, как бы прислушиваясь.

«А этот и не знаю кто. Подбитый будто. А умный! Кто они такие? Интересно. Вот не знаю я их, а они в жизни чего-то обозначают! Граждане!»

Егор хотел спросить: «Ребята, кто вы такие?» — и досадливо усмехнулся. Никто из них на Пашку не похож. Не сельские они какие-то по виду. Ну, одно слово, приезжие.

— Что смотрите? Встречались где-нибудь? — чуть заикаясь, спросил черный парень.

— Да просто так смотрю... Сын у меня таких же лет, как вы. Женил я его. Разве чуть помоложе. Павлик у меня тракторист. Невестка — девка м-м! Золотиночка! И стряпает, и убирает, и трудодни подсчитывает. Мой совет вам: женитесь скорей. Для рабочего человека это — первое дело. Пашка женился, так человеком стал. На свадьбе вся деревня три дня гуляла. Пьем и гуляем! Пьем и гуляем. Свадьба! Она ведь раз в жизни.

Егор наклонил голову. Лысина заблестела на свету лампочки. Он покачал головой и заключил решительно:

— Так на свадьбе-то — все красно было!

Козулин дочитал международный отдел и, щелкнув серебряным портсигаром, взял сигарету, прислушиваясь к Егору.

Степановна писала квитанцию, посмеивалась в кулакок. Командированный из «Ростсельмаша» уже не ходил по прихожей. Притих, доедал свой обильный дорожный ужин. Актриса успела переодеться у себя в комнате в цветной, с яркими полосами халат, в котором она казалась выше ростом и глупее лицом. Парни, ожидая, когда Степановна произведет запись в книге прибытий, слушали Егора со вниманием.

Егор, почувяв это, разошелся. Ему захотелось рассказать что-нибудь смешное и умное, и он, не найдя подходящих слов, закурил «Казбек», которым угостили его агент, и доверительно, шепотом произнес:

— А меня ведь дядя Егор зовут.

Он вложил в это какой-то особый смысл.

— Нет в жизни человеку покоя. Куда силу девать? Молодым был — любили меня девки! Сейчас моя работа — вожжи держать... Конюх я. Любой это сможет. Вот в поле или на войне — работа!

Егор закашлялся и сбросил папиросу на пол. Она дымилась. Парень в шинели наступил на окурок ногой.

— Не старею! Еще оглобли ломать могу. На войне я нужен был. Сила моя там сгодилась. Я... ты... Все

мы... Егорши. Победа была... Что ты думаешь? Это мы — Егоры! Сила! Я это понимаю, при себе держу. На войне тяжело работать с винтовкой-то. Рыск нужен был! А ежели бомба? Р-раз! И... ног нету, милый! — Он погрозил кому-то рукой, задумчиво растянул: — А мы шли. — Егор показал на окно, на огни села, на звезды над соснами. — Далеко-то. Туда-а! Дядя Егор меня зовут... — замолчал, взволновавшись, отодвинулся.

Ломакин сел к самовару.

— Я махорочкой подымлю. Она сытней. Пахучая, горит долго, и дыму много. Вот еще... верят в бога, — продолжал он. — А я не верю — ни разу его не видел! А ну покажись! Какой ты такой есть человек... на белом свете?

Хлопали двери. Гасили свет. В прихожей лампочка загорелась ярче: и потолок, и стены, и пол стали словно чище.

По полу ползал маленький котенок. Егор уставился на него, наблюдая, как он обнюхивает доски пола, бумагки и окурки.

— Смотри-ка, бегает.

Котенок уткнулся носом в валенок Егора и, обнюхав, запищал. Егор поднял его, положил на ладонь и выставил руку вперед. Этого котенка он недавно кормил кусочками колбасы и отгонял мать — большую кошку.

Он дул на этот сжавшийся комочек из шерсти и тепла, приговаривал:

— Ма-аленький! Тоже ведь сердишко бьется. Жизнь! Эх ты, киска! Живешь, живешь и ничего ты не понимаешь, как и что. Вырастет из тебя большой-большой кот — всего и дела-то. Начнешь кошечка царапать и промышней забудешь.

Котенок жалобно пищал, переваливаясь с боку на бок, упираясь передними лапами в толстые, огрубевшие пальцы. Егор согнул их, чтобы котенок не вывалился из ладони на пол.

Все смотрели на Егора, думая каждый о чем-то своем. Наблюдали за котенком. И командированным казалось, будто Дом приезжих — их дом, а Егор давно знакомый, родной и близкий человек.

Согреввшись на горячей ладони человека, котенок свернулся в клубок и притих от удовольствия.

— Дунуть — и нет его. Сердце с горошинку.

Уперев локоть в колено, Егор долго любовался котенком, ощущая его тепло и отчетливые стуки сердца.

— Ну, почему ты не родился человеком?

3

За окном ночь. Егор привалился к стене, наклонив голову к самовару; от нагретой меди шло тепло, и ему было приятно: щеки согревались, пылали. Козулин ушел к себе, шелестя газетой. Парни раздевались в соседней комнате, прикрыв дверь, и говорили о том, чтобы не проспать утром.

Актриса перестала улыбаться. Вздыхая, она посмотрела на веселого Егора, на безучастную ко всему Степановну, которая в углу стучала костяшками счетов и перелистывала толстую бухгалтерскую книгу. Постояв немного, актриса ушла к себе в комнату.

Дядя Егор, посмотрев на Степановну, рассмеялся:

— Баланс! Баланс!

— Тш! Иди-ка спать, — встревожилась Степановна.

— Балансы, говорю, подводишь? — потянулся Егор. — И меня под баланс! За две ночи вперед уплатил? Уплатил! Да-а! Я человек государству нужный. Не-ет! Не гони. Посижу, погляжу. Будут люди приходить... приезжие... Ты что же им тоже — идите спать! Это ведь дом! Здесь граждане живут!

— Молчи уж! Какое тебе дело до людей? Спал бы да спал от нечего делать! — озлилась Степановна. — Ночь на дворе.

— Не пойду спать. Не желаю! И ночью жить хочу!

Степановна махнула рукой и засмеялась. Запищал котенок. Мигнула лампочка. Снова в доме тишина. Бродит, мягко ступая по крашеным доскам, пузатая кошка, Марья Петровна, с обгоревшим боком. И только за окном, в ночи, во дворе, слышен стук чьих-то шагов по дощатому настилу между оттаявшими сугробами.

«Нет, не одинок я... здесь, — думал Егор. — А кто мне «здравствуй» скажет? — Начал перечислять по избам первой улицы фамилии родичей, знакомых, деревенских земляков, живущих в Сысерти. Шевелил пальцами, будто брал что-то в руки, сжимал в горсть, отпу-

скал. — На этой улице меня все знают-призывают! С другой начну».

Кто-то открыл дверь. Потянуло сыростью. Лысиной и щеками ощутил холод.

Егор исподлобья взглянул на вошедшую женщину. Она остановилась у закрытой двери, засунув руки в карманы телогрейки. Снова стало тепло.

«Наша, своя», — решил он.

В ее руках, в полном теле, в пуховом черном платке, в глазах, казалось Егору, было что-то близкое, родственное, домовитое. Матовый гордый лоб без единой морщинки, круглые щеки, алые губы, в голубых глазах насмешка.

«Вот это баба! Муж наверняка каждый день радуется... И здоровá и привлекательна».

Смеялось все ее лицо, хотя тонкие губы были плотно сжаты и чуть вздрогивали. Прищуренные потемневшие глаза ее обежали прихожую, потолок, печи и, задержавшись на Егоре, раскрылись — снова стали голубыми и холодными. Егор вспомнил Марью. Вошедшая чем-то была похожа на нее, разве чуть старше, румянее и строже. В сердце его хлынула тоска, толкнула, забивая дыханье.

— Ну, а ты кто же будешь? — спросил он.

— Да уборщицей я здесь работаю! — крикнула она бабьим простуженным голосом. — Самовар вот у меня всегда кипятят. Сено лошадям тоже у меня. Да и соседи с Домом приезжих.

Егор покивал ей и с интересом спросил, глядя на ее толстые ноги, обутые в блестящие резиновые сапоги:

— Ты... чья?

— Я-то? — растерянно рассмеялась молодка, ища глазами стул. — А вдова я.

— Ну и что же?.. Все мы вдовы, — степенно произнес Егор и замахал рукой: вот можно посидеть, поговорить с вдовой, похожей на его Марью. Егор налил себе из самовара стакан и придинул его на край стола. Степановна, заперев счеты и книгу с балансами в ящик стола, заговорила:

— Ночь уже. Ты бы свою канитель закончила. Прибрала, помыла полы. Шла бы спать. Приезжих разбудиши!

Молодка пожала плечами, сердито взглянула на

Степановна и, устало опустив руки, прислонилась к косяку двери.

— Скушно одной-то. Вот с тобой поговорю, — обиделась она на Степановну и, посмотрев на Егора, на его толстые губы, поднятые белесые брови, сморщеный в раздумье лоб и красные рябоватые щеки, улыбнулась, как бы ища поддержки.

— Садись, соседка! — предложил Егор.

— Завтра придет! Я здесь директор! — зло бросила Степановна и загремела ключами.

Егор потянулся, поудобнее уселся на заскрипевшем стуле и посерезнел, осматривая ладную фигуру женщины, вставшей к нему спиной. Его взгляд остановился на резиновых сапогах, туго обтягивающих икры ее ног; ему захотелось выйти на воздух, на снег, обнять обиженную Степановной женщину и что-то говорить ей.

А молодка отошла от старушки, повела плечом и печально произнесла:

— Пойду я! — и, оглядываясь на Егора, медленно затворила за собой дверь.

— Ушла, — грустно произнес Егор. — За что ее не любишь так?

— Я-то? — удивилась Степановна. — Да она мне наилучшая подруга! А только люблю я во всем порядок. Отдыхали бы!.. — вежливо закончила она, подвязывая ключи к поясу.

Егор кивнул с усмешкой: «командирша». Встав, он потянулся к тулулу и успокоил «директора»:

— Лошадь проверю и тоже — спать.

Во дворе Дома приезжих темно. У каменной стены молчаливо жуют сено лошадь Егора и чья-то корова.

«Скотина, а тоже... как брат и сестра».

На сугробы легла желтая полоса электрического света, отброшенная окном соседнего дома. «Наверно, ее окно? Постучать — не выйдет. Вот живут на земле люди вдовы... вроде меня и ее. Это забота серьезная! У одних, скажем, с работой не выходит, у других с семьей неладно. А во всем должен быть порядок в конце концов!»

Спать ему не хотелось, и он никак не мог понять отчего: или потому, что одолевали думы, или потому, что в соседнем доме, где живет вдова, чем-то похожая на его умершую Марью, горел огонь.

Егор поплотнее укутался в тулуп, вышел за ворота и всмотрелся в окраинные улицы Сысерти.

У заводского клуба заливалась гармонь. Бойкие девичьи голоса выкрикивали частушки. Запоздалые машины сигналили где-то у базарной площади, и там, среди черных изб и деревянных двухэтажных домов, по дороге к школе сельских механизаторов, вспыхивали и плыли мягкие круги света от фар.

Прошел две улицы. На окраине, за высохшими соснами, остановился возле плетня, вздрогнул от визгливого лая собаки. В сосновом бору потрескивала наледь на коре. Ветер качал тяжелые ветки, и они старчески скрипели.

Егор почувствовал, как сжалось сердце от охватившего его одиночества, и стало жутко, показалось, что там, в темном бору, кто-то притаился между толстыми стволами.

«Шуршит природа. К весне. День какой-то сегодня особый: и радостно, и грустно».

Егору стало все равно куда идти, что делать. Можно стоять вот так до утра и слушать, как потрескивает кора, как надсадно скрипят ветки, вдыхать холодный воздух, освежаясь ветром.

Домой он возвратился поздно и, раздевшись, повалился на кровать. Проспал до обеда, совсем забыв, что Глухов наказывал быть утром у райкома на всякий случай, предполагалась поездка в соседний колхоз.

К вечеру в Дом приезжих пришел Глухов. Он поздоровался со Степановной и, как бы не замечая Егора, прошел, прихрамывая, к вешалке, медленно снял свой красивый полушибок с белым воротником и присел на стул рядом с актрисой и Козулиным, которые грелись у печи. В его подчеркнутом равнодушии к Егору, в его молчании при встрече угадывалась обида и злость. Он сидел к Егору спиной, изредка оборачивался и бросал тяжелые обидные слова вопросы:

— Ну, как устроился? — Это первое, что спросил председатель, и Егор сразу понял, что Глухов пришел неспроста.

— Хорошо, Степан Иваныч. А ты как?

Глухов не ответил ему, говоря что-то актрисе, — она деловито подбрасывала в печь сосновые чурки. И по тому, что Глухов не ответил на вопрос Егора, не по-

вернулся к нему, и по тому, как он пересмеивался с Козулиным и актрисой, разглаживал ладонью щеки, Егор понял, что Глухов очень устал и что дела его плохи. Егору захотелось спросить председателя о том, как порешили о нем в райкоме и что теперь будет с их колхозом, но подумал, что ему, виноватому перед ним, спрашивать сейчас неудобно, будто это их общая тайна.

...Ведь вот Глухов — еще председатель, еще никто не знает, как решилось его дело в райкоме, и он может сейчас приказать Егору запрячь лошадь и возвратиться в колхоз, жить и работать. И ничего, быть может, не случилось, и никто не виноват, а Глухов попросту устал.

Егор сидел молча и курил. Ему было жаль Глухова. Махорка горчила. Дым царапал горло. Но кашлять было неудобно.

— Почему утром не подъехал к райкому? — спросил Глухов, подняв голову. — Забыл или пьян был?

— А что?

— Как что? — Глухов усмехнулся наивной растерянности Егора и заговорил, никого не стесняясь, что утром с инструктором райкома целый час прождал Егора, что нужно было ехать в соседний колхоз и хорошо — подвернулась случайная подвода. Обо всем этом Глухов говорил со смехом, и от этого Егору становилось еще обиднее.

Глухов повеселел.

— Как с нами-то решили? — не удержался Егор.

— Э, не твое дело! — отмахнулся Глухов.

Егор встретился взглядом с Козулиным. Тот внимательно посмотрел на Егора. Через очки в его взгляде ничего нельзя было прочесть, и Егор с неудовольствием подумал: «Уважительный гражданин, а тоже в душу лезет» — и отвернулся.

— Ну, что молчишь, Егор? — неожиданно крикнул Глухов лающим басом и стал ждать ответа.

Егор вздрогнул, притих. Он уже не радовался, как бывало раньше, тому, что председатель чисто выбрит, что от этого лицо его стало приятным, молодым; не приятны были металлический блеск больших глаз Глухова и новый френч с желтыми пуговицами, простуженный голос и самоуверенный взгляд.

— Молчу. Разговору нет, — ответил Егор, и его сердце тоскливо сжалось при мысли, что его начальник Глухов, которого он возит уже восемь лет со Дня Победы, сейчас какой-то далекий и чужой ему человек, к которому нет разговора.

Глухов подсел ближе к огню, вытянул рыхлые волосатые руки с узлами вен, стал греть пальцы и ворчливо доказывать, как Егор виноват перед ним.

Егор машинально раскрыл потрепанный синий журнал «Автомобильный транспорт». Слушая Глухова, листая страницы, он вглядывался в замысловатые чертежи обкатанных и тормозных барабанов, в схемы двигателей, амортизаторов, крышек картера...

«Вот и культура на селе... Читают проезжие... Кто-то что-то оставил и уехал добрым человеком», — думал он, рассматривая новые марки автомобилей и грузовиков ГАЗ-51 и ЗИМ-150.

Егор представил себе, что колхоз уже купил ЗИС и что он, Егор, везет на этом ЗИСе по хорошим дорогам не Глухова, а нового председателя с веселым взглядом и пышными пшеничными усами.

Глухов заговорил с Козулиным и актрисой о колхозе, о пашнях и урожаях. Они не обращали внимания на Егора, будто его и не было, а он не сумел войти в разговор, и от этого ему стало еще тяжелее. А еще было до злости обидно смотреть на равнодушную широкую спину Глухова, на его двигавшийся бритый затылок, обидно сознавать, что Глухов обругал его при людях, которым он рассказывал вчера о сыне и свадьбе.

Он крякнул:

— Пойду!.. Лошадь там! — поднялся и, схватив тулуп, вышел в сени.

На лестнице остановился. В ушах раздавались базовые выкрики, обидные слова Глухова.

Над лестницей, под потолком, тускло светила лампочка, вымазанная известью. От деревянных бревенчатых стен пахло инеем и сыростью.

В сенях столкнулся со вчерашней молодкой. Была она в пуховой шали. Он заметил, как со вздохом широко раскрыла глаза, остановилась и улыбнулась.

Егору показалось, что она смеется над ним. Нахмурившись, он запахнул полы тулупа, посторонился и шагнул вперед. Но тотчас же остановился.

Ему захотелось поговорить с ней или хотя бы посторять рядом... подумать. Задержал ее за рукав телогрейки. Молчал, не находя слов.

— Ну что? Ну! — спросила она, гремя ведрами о ступеньки.

Ответил хрипло, сдавленно:

— Да погодь! Звать как?

— А Софьей.

— Ишь ты! Царица...

Софья отошла к двери, кивнула на сугроб, на забор и небо.

— Весна-то! — и засмеялась.

Егор почувствовал в ее смехе, в ее нарочитой веселости отчаянность одиночества и боль.

В небе вечернем сине и бездонно, в такое время звезды только угадываются, они медленно начинают проступать мерцающими светляками. В открытый полог сеней видны избы; над ними колышется дым; окна кое-где уже светятся электрическим светом. За дальними улицами скрипит колодезный журавль и кричат одинокие грустные гудки сысертского завода.

Здесь, в сенях, было темно, и только глядела с потолка своим желтым глазом тусклая лампочка. Егор распахнул тулуп, подошел к ней и с особым сочувствием переспросил:

— Одна, говоришь?

— А что?

— Мужика подобрать себе надо. Молодая ты. Красивая...

— Щетину обрил бы... Женат, чать?

— Сын женат.

Вверху за дверью послышались голоса. Кто-то звякнул щеколдой, громко произнес: «По радио говорили...» Что говорили по радио, Егор не расслышал. Софья отодвинулась и пошла, задумчивая, расстроенная еще больше, и он долго смотрел ей вслед, почему-то радуясь этому знакомству.

Утром Глухов уехал в Кашино знакомиться с новым колхозом. Уехал на автобусе по сибирскому тракту.

Егор задержал лошадь у желтой металлической громады автобуса, наблюдая за сутолокой пассажиров, отъезжающих в Свердловск. Он гадал: достанется председателю место на кожаном сиденье или нет. Ме-

ста не досталось. Глухов стоял у выхода в расстегнутом полушубке. Лицо его было печальным; за ночь на щеках пробилась борода, и на шее от костяного воротничка появилась красная сыпь.

— Езжай, Егор, домой. Я вернусь дня через два, — сказал он усталым голосом, махнул рукой, и автобус тронулся.

Егор постоял еще немного, пока автобус не скрылся за родильным домом, и пошел рядом с санями, думая о Глухове, о колхозе, о себе и о Софье.

Встретила его Степановна. Воровато оглядываясь, она прошла с ним ворота к каменной стене двора, где обычно стояла лошадь Егора и чужая корова. По дороге она бросала ему медленные фразы:

— Вы ничего не знаете?

Егор насторожился: «Вежливая какая!» — и, не подав голоса, стал распрягать лошадь.

— Вы сегодня свободны аль нет?

«Что это Степановна мне: «вы» да «вы». Уж не случилось ли чего?» — подумал Егор и, бодрясь, ответил:

— Со временем я.

Степановна засмеялась над чем-то, наклонив голову.

«Веселая какая». Егор вывел лошадь из оглобель и привязал ее у стены. Степановна подошла, приблизила к Егору лицо, сказала шепотом:

— В гости бы сходил к Софье Матвеевне.

— Как это? — смущаясь он, а про себя отметил: «Выпила Степановна. И совсем она не злая. Душевный человек».

— Вы дом-то ее знаете? Вот ее окно, а дверь эта.

— Хорошо. Правильно, — кивнул головой Егор и посмотрел на окно и дверь. Ему даже показалось, что в окно смотрит на него Софья, а дверь — вот-вот откроется, и Софья выйдет навстречу.

— Почему выкаешь со мной? — строго спросил Егор.

Лицо Степановны потемнело, сузилось. Она открыла рот, подыскивая слова, ответила ласково:

— Имя-отчества твово не знаю, дурень.

— Балансы подводишь? Квитанции пишешь? Там мое фамилие.

— И то правда! — Степановна ступила на лестницу и оттуда громко проговорила, поправляя платок: — А чай сегодня в самоваре сладкий. Агент учудил. Купил сахару на весь самовар, высыпал и, нате пожалуйста, пользуйтесь. Герой человек!

Егор покрутился около лошади, задетый за живое приглашением в гости. Не думал и не гадал. А вдруг обман... или насмешка?! И не Софья приглашала, а «командирша» сама, от себя... сосватать решила... «Пойти или не пойти?» — думал Егор, не находя себе места. Ему льстило это приглашение. Хотелось увидеть Софью дома. Вспомнилась тоска в ее голосе, горькое одиночество и разговор в сенях, когда накричал на него Глухов.

«Не пойти — обидится. В сущности, ничего особенного не случится, если погостевать. Человек она отзывчивый. Душа параллельная! Да и разузнать о ней не мешало бы. Уж очень она на Марью мою смахивает...»

#### 4

Ему хотелось увидеть Софью без телогрейки, в платье, по-домашнему. Он тихо отворил дверь на себя, шагнул в теплую полутемную комнату и, глянув вперед, увидел Софью. Она сидела к нему спиной и что-то шила.

Он кашлянул, Софья обернулась и с улыбкой стеснительно поднялась ему навстречу, посмотрела в глаза.

— Так вот, значит, ты здесь и живешь... — сказал он как бы для себя. И будто никого больше на свете нет, только он, Егор, и она, Софья. Будто они давно знают друг друга и прожили вместе много лет.

— Раздевайся, раз пришел, — попросила Софья, протягивая руку в сторону громоздкого, обитого железом сундука под наклоненным зеркалом во весь рост.

Егор снял тулуп и осмотрелся.

— Ну... проходи, садись, — мягко и певуче проговорила она.

Егора тронула ее вежливость, и он отметил, чтоходить в гости самое приятное дело на свете.

— Я сейчас самовар поставлю, — Софья встрети-

лась с ним взглядом и, потому как он пристально посмотрел на нее, вспыхнула и заторопилась.

Он весело кивнул ей и пожалел, что одет не по гостевому, а по-дорожному. Это бы ничего, но ведь он сейчас не в Доме приезжих, а в доме Софьи.

За раму зеркала были выставлены выцветшие глянцевые фотографии, на которых он безошибочно находил Софью: то чем-то похожую на икону, святую богородицу, то в цветном сарафане, то сиротливо стоявшую среди людей.

«Ты смотри, ты смотри! — удивлялся Егор. А потом, вглядываясь в ее глаза на карточках, определил: — Одинокая душа. Глаза везде серьезные да печальные. Это от мечтаний у человека».

На самой большой фотографии был снят унылый сухощавый мужчина с бельмом на глазу. Над большими ушами белели седые полоски волос.

«Да-а! — Егор погладил свою гладкую голову. — Лучше седина, чем лысина. Он с бельмом, а я рябой...» И почувствовал что-то родственное к мужчине на фотографии. В воображении представил Софью рядом с ним и обернулся.

Кругобедрая, с широкой спиной, одетая в цветастое платье, она будто помолодела.

«М-да! Не по мужу цветочек. Сохранила себя!» — Встретился с ее глазами. Лицо Софьи было серьезное, строгое, а взгляд тревожный и какой-то виноватый.

— Фотокарточки хорошие, но маловато... — Егор заметил, как зарделись щеки Софьи, — поняла, что, хваля фотографии, хвалит ее. — Детских не видно и мужчина один.

— Это мой муж. Двадцати двух годов вышла за него. Спокойный и добрый был Михаил-то Петрович. Ведь ветеринаром в районе состоял.

— Что ж, умер он или где?

— Война была. Вот Михаила Петровича взяли на войну и там убили. Хорошие люди-то долго не живут, а плохие... — Софья махнула рукой, и губы ее дрогнули, а глаза прищурились, заблестели. — Бумажка пришла: убит, мол. Я долго не верила ей. Веришь радости, а не смерти. Все ждала — вернется. Замуж не выходила. Вот и получилось, что не жила я вовсе. Бывало, ночью плачешь: мол, нет счастливой жизни, и все ду-

маешь: придет когда-нибудь, что человеку-то хорошего положено.

Она замолчала, теребя платок в руке. Егор слушал, опустив голову, будто он был виноват, что нет у Софьи счастливой жизни, и ему захотелось утешить ее.

— Я тоже на войне воевал... Что ж, дело это народное. Одни жизни отдали, других ранили, третий пришли невредимы, победу праздновали. Да... простая ты, — ласково дополнил Егор и стал с волнением свертывать цигарку.

Софья засуетилась, прошла к печи и оттуда сказала вдруг изменившимся радостным голосом:

— Чай будем пить?

— Будем.

Выпили чаю, пахучего, сладкого, с вкусными мясными пирожками. Егору пришлось по душе угощение и обходительность Софьи. Он как бы про себя отметил:

— Водочки бы... Винца... с тобой.

— А я не пью.

Егор признался с сожалением:

— А я пью, — сокрущенно покачал головой и спросил как бы между прочим: — Чем живешь?

Софья подняла на него удивленные глаза и, как бы оправдываясь, ответила:

— Всякие у меня работы. В Доме приезжих... стираю, шью. Приезжим... самовар кипячу, за двором смотрю. Уборщицей числюсь. Да и... коровушка выручает.

«Шла бы к нам в колхоз от такой-то жизни, — хотел посоветовать Егор, но не решился, считая себя пока не вправе советовать и уговаривать. — У человека своя судьба, своя воля. Ну, да ладно! Не первая встреча. Образуем».

Егор оглядел комнату Софьи: кровать прикрыта красным стеганым одеялом, стол покрыт клеенкой, на полу старенькие половики, сундук, зеркало с фотографиями и русская печь с посудой да на потолке лампочка со стеклянным абажуром.

«Обстановка простецкая, но чистая. Наша, крестьянская баба, не жадная».

Софья, погрустнев, следила за Егором, качая головой.

— Чудной ты! Обсмотрел... Да все у меня есть! Одной скучно вот...

И Егор рассказал ей о себе, о том, кто он такой и как он жил, что женил сына и теперь ему одиноко, что у него свой дом, но нет хозяйки, что колхоз не ахти какой, а все-таки... и при хорошем председателе обязательно выйдет в передовые.

Софья, подперев голову рукой, задумчиво слушала и изредка восклицала: «Да?!», «Смотри-ка!», «Неужели?!

, и это Егору нравилось. И еще понравилось, что Софья вздыхала при этом и ласково смотрела ему в глаза, — значит, он ей не безразличен и все принимает на веру, то есть не умеет кривить душой. И захотелось ему сделать для нее что-то хорошее, а хорошее для нее можно сделать только одно — жизнь.

— Мужа бы тебе, — Егор улыбнулся и погладил руку Софьи. Понял, что не имеет права, не сможет обидеть ее, как те, которым все равно.

«Сердечная обходительность нужна, — подумал он и вдруг почувствовал себя хорошим, — на такой и жениться не грех. Вот был один и она одна. А теперь вроде оба! А значит: не одиноки».

Софья встала, отнесла на печь самоварчик и чашки и, возвращаясь оттуда мимо кровати, оправила подушки.

Подошла к столу сияющая, помолодевшая. В глазах веселый упрек:

— Сурьезный ты какой-то...

Он обнял ее за спину, усадил рядом. Когда-то они сидели так с Марьей...

## 5

Он долго не мог заснуть. В комнате, где спокойно спали новые приезжие, было жарко. Вечером на тайгу, поля и село упал мороз, и Степановна «поддавала жару». Вернувшись от Софьи строгий и радостный, Егор сам наколол дров.

Сейчас, лежа в кровати на прогретых простынях, он ворочался с боку на бок, кряхтел, курил, ощупывая свое полное тело и с беспокойством, с отчаянием чувствовал, что в этакой жаркой тишине ему, пожалуй, не заснуть. Он откинул верхнюю простыню, разметал руки и стал обдумывать свой скорый отъезд, встречу с сыном, невесткой, с новым председателем. Загадывал, как

и что будет с колхозом дальше и встретятся ли они когда-нибудь с Глуховым и Софьей.

С Глуховым-то ему, пожалуй, легко будет увидеться: Глухов приедет знакомить нового председателя с хозяйством, сдавать дела. Да и Кашино не за синими морями: всегда съездить можно. А вот с Софьей — оно тяжелее.

Не выходит она из головы. И вот он опять загрустил... Хочется думать о ней, заботиться, решать что-то. И то сказать, не просто разговор-встреча, а больше: ведь почти доверилась она ему.

Раза два-три в гости наведаться придется — пусть порадуется. Перевезти ее к себе, в колхоз? Устроить можно. Уговорить проще простого. Но как сын на это дело посмотрит? Пашка понятливый, согласится. А Наташенька и слова не скажет. Бабы, известное дело, родные души!

Егору стало легче, и не такой уж жаркой показалась тишина. Думалось хорошо, свободно, и все шло как нельзя к лучшему. Он лежал, склонив голову, в полу забытьи, в полусне, обдумывая нехитрые житейские мудрости, сожалея о том, что жизнь прожита как-то не так и очень быстро, и почему у человека одна жизнь, а нельзя ли прожить еще одну, новую?! И хуже всего, когда к человеку приходит смерть.

Ему представилось, будто готовится он умирать — по-русски, по-крестьянски, степенно, вроде собираясь в дальнюю дорогу. Что он уже старый и стоит на крылечке своего дома и смотрит на леса и горы, на пашни и небо. Будто он сел на крылечко и чувствует: прижалось плечо чье-то крепкое. Обернулся: Козулин рядом стоит в очках и во френче и так печально смотрит на него, будто жалеет, что Егор умирать собрался. И будто произошел такой разговор:

— Вы что пришли? Газетку почитать или разговором уважить?

— Нет, Егор Тимофеевич Ломакин, пришел я к тебе за отчетом. А ну-ка давай, Егор, отчет!

— Это какой такой отчет?

— А вот... как жизнь свою прожил, много ли людям добра сотворил?

— Ну что ж, милый, вот он я — весь отчет твой.

— Нет, этого мало. Тебя-то мы знаем. Ты про свою жизнь обскажи, как и что...

— Э-э! Стыдно требовать отчет о человеке, милай. Он сам себя сперва отчитать должен.

— Ну что ж, отчитывай. Я подожду.

— Ну, так вот... Я жил хорошо. Нет, погоди, не с того конца начал. Зачем я жил — вот в чем вопрос! Жизнь прожита и как-то так... и хорошо и плохо. Кто цветы подносит, а кто крапиву. Хоть и мало геройства было, а все же... Это потому, что не на глазах у людей прожил. А есть чему подивиться, и цену себе знаю.

— Ну это, Егор, философия пошла. Рассуждение твое. Ты давай самую суть, корень самый.

— Что ж, дадим и корень. Хоть и беспартийный я, а люблю вашего брата. Ну, так слушай.

Работал, землю люблю... Растила матушка, бывало, богатые хлеба людям на прокормление. А бывало и нет. Гражданскую войну прошел.

Марью крепко любил, не обижал. Жили душа в душу. Семью поднимали, потом колхоз организовался, чтобы жить крепче. В колхозе-то я конюхом был. Я по лошадям-то с детства мастак. С кулаками воевал, убить меня хотели за лошадей-то. Вот и жил, как люди. А потом война... великая. Народы друг на друга пошли. На войне я хорошо работал, медали есть. И за победу тоже, хоть подвигов не совершал. Чего не было, того нету. Вернулся, еще больше хозяином земли себя почувствовал. Сына женил. Жизнь по руслу пошла... Душе спокойней. Да... Вот и весь мой корень, вот суть делов моих. А мог бы больше сделать! А мог ведь!

Козулин слушал, слушал и сказал:

— Не умирай, Егор, погоди. Ты человек хороший, людям очень нужный. И будем мы за тобой смотреть пуще глаза.

Так и сказал.

— Смерть для человека, Егор, самое бедовое дело. Умирают хорошие и плохие. Мало люди живут. Орлы и те больше. А вот слышал я, будто препарат уже есть такой, врачи выдумали. Приедешь с работы, выпьешь стаканчик, закусишь и... живи еще сто лет! И так далее.

— Это правда, милай? И впрямь, кому помирать охота? Ну что ж, поживу еще, если препаратом уважил. Значит, все-все и жить будем... Так детей ведь каждый год уйма рождается. На земле места не хватит! Где жить будем?

Козулин и тут не растерялся:

— На других планетах. Как от села до села будем ездить.

— А-а! Слыхал! Видеть не приходилось...

— Живи, Егор, живи! Не умирай, пожалуйста!

Егору понравилась такая просьба, но его взял интерес: а что дальше, и он представил себя умершим и что умер он как-то по-особенному: в гробу лежит, а все видит и слышит и руками может шевелить. Вот он лежит и думает: как же он все-таки умер? Недоглядели!

Вот его куда-то везут, а ему мысли всякие в голову лезут. Кто за ним идет да кто его в последний путь провожает? Всем колхозом вышли. Тут и Глухов, и Степановна, и Пашка — сын, и Наташа, и соседи, нет только партийного Козулина и Софьи. Видно, очень не хотели они, чтобы Егор умирал! Ну и на том спасибо. Везут его, а кругом фруктовые сады, уже без яблок. Осень. Урожай, должно, собрали. А везут его на этой же лошади, на которой и сам ездил, и начальство возил. Оглянулся Егор и успокоился. Хоть хоронят-то честь честью!

И все-таки, как и любому человеку, ему жалко стало себя, что он лежит в сосновом гробу, что он умер, что падает на его лицо печальный осенний снег, что милая лошадь оглядывается на него и смотрит грустными глазами. На одной из досок гроба он заметил запекшуюся смолу, отковырнул ее пальцем, но вспомнил, что мертвый, и убрал руки.

Убрал — и не мог не рассмеяться.

Не мог от радости, что смерти ему, Егору, нет и что совсем умереть он не может и не сможет, что нужно жить и жить, как все люди живут, и с препаратом и без, а вскоре уснул.

Проснулся Егор рано. Заторопился поскорее уехать домой, к сыну, в колхоз. А то на стороне от всяких невеселых мыслей и впрямь помрешь.

Воспоминания о Софье развеселили его. Легче стало на душе и быстрее заставляла двигаться уверенность, что скоро с Софьей он будет вместе и они еще долго проживут.

А что? И свадьбу справит, как молодой, и начнет вторую жизнь, одинаково любя всех, но каждому зная цену. Потом, когда он увидел Степановну, Козулина,

разряженную актрису, оглядел снежные улицы Сысерти и приготовил лошадь в дорогу, ему стало совсем весело.

6

Повалил снег. Чистый, хрупкий, он хрустел, как крахмал, и сеялся откуда-то из серого неба, ложась на дороги и избы тяжелым пухом.

Егор запряг лошадь, уложил под сено мешок с покупками поближе к сиденью и стоял у саней в раздумье. Лошадь нюхала летящие хлопья снега тонкими ноздрями, слизывала снежинки с губ розовым языком и косила глазом на хозяина.

Из соседнего дома вышла Софья, покраснела, встретившись взглядом с Егором, и поклонилась. Егор хотел подойти к ней проститься, но вспомнил, что решил скоро вернуться, кивнул головой и стал хозяйственно оправлять хомут на шее лошади, делая вид, что занят.

Откуда-то вынырнула Степановна. Она увивалась около Софьи, расспрашивая ее шепотом о чем-то.

Софья стояла строгая, неприступная. Егор услышал, как Степановна спросила с настойчивым женским любопытством: «Ну, а он что?» Софья опустила глаза, покраснела и ничего не ответила.

Уезжать не хотелось. Не хотелось потому, чтоозвращаться домой предстояло порожняком, одному. Глухов сказал: «Езжай, Егор, один...» И вот Егор уезжает.

Ничего не случилось: приехал и уехал человек. Вот и еще два дня жизни прошли. Не воротишь назад. Зато новых людей узнал, хороших, своих, которые не подведут и всегда уважат, которых он любит и до которых ему есть дело!

Все эти люди надолго останутся в его памяти, и он часто будет о них вспоминать, а может, и встретиться придется. Работы уйма. Людей много требуется к земле, в колхоз. Приезжайте, милые. Жить будем!

На крыльце вышел Козулин, в пальто, в кожаном малахе, с клетчатым шарфом на шее.

Увидел Егора, кивнул:

- Уезжаете, дядя Егор?
- Да, в колхоз. Погостевал я тут. Надоел всем.
- Да нет, что вы?! — Козулин добродушно рассме-

ялся. — Доведется ли снова увидеться и... поговорить с вами?

Егор вспомнил бессонницу и, улыбнувшись, ответил:

— Непременно свидимся.

На крыльце вышла актриса и, увидев запряженную лошадь, удивленно воскликнула:

— О! Уезжаете, Егорыч?

Егора тронуло ее удивление и то, что она назвала его ласково «Егорыч», и он ответил:

— Уезжаю, уезжаю, гражданочка, — и поклонился.

Степановна открыла ворота. Софья стояла в стороне, глядела куда-то мимо Егора...

Проезжая, Егор посмотрел ей в лицо и, заметив, как губы ее дрогнули, сказал тихо:

— Береги себя.

И отвернулся.

«Забрать, забрать ее надо отсюда! Нельзя одинокой ей жить. Да и мне тоже».

Вывел лошадь на улицу, остановил сани на дороге, чтобы проститься со всеми.

Взглянул на вывеску над дощатым ларьком, в котором были выставлены напоказ вино, сода в коробках, холодные пирожки и конфеты-подушечки. Внутри ларька в своем белом халате съежилась от холода продавщица, безучастно смотрела сквозь стекла.

Прочел вывеску. На зеленом листе жести красными ровными буквами было выведено: «Дом колхозника Сысерского райисполкома». Что-то сухое, бумажное заключалось в этом названии, и Егору оно не понравилось.

— Эх, колхозник ты... Сысерского райисполкома!

Причмокнул, громко крикнул на лошадь:

— Эй, транспорт, трогай!

Степановна махнула ключами. Софья подняла руку и погрустнела. Козулин снял очки, актриса улыбнулась широко, и сейчас лицо ее не было похоже на маску.

Счастливого пути!

Лошадь потянулась, судорогой мышц стряхнула снежинки с лопаток и зашагала, степенно держа свою большую голову, навстречу избам, прохожим, дорогам, тайге и пока еще снежному простору земли.

# Дорога на двоих

## 1

Грузовик мягко покатил по наезженной дороге, потряхивая пустым кузовом на ухабах. Давно уже кончились ожидающие сева пашни, тяжелыми увалами уходящие за горизонт. Южно-Уральская степь медленно разворачивала свои просторы. В бурой степи на влажных низинах, возле одиноких берез весело зеленели редкие поляны.

Бездонное весеннее небо чертил ястреб, косо взлетая и падая как камень.

В кабине было душно, пахло бензином, стоялым табачным дымом, и Зое хотелось спать.

Вдруг теплый майский дождь затанцевал перед кабиной. Летящие капли просвечивались в лучах солнца, становились разноцветными, и Зое казалось, что они звенят, падая под колеса. Она высунула руку в окно дверцы, подставила ладонь теплым, стремительным каплям. Взглянув на хмурого шофера, подосадовала: как это Семен может быть безразличным к этой красивой и светящейся влаге?

Семен нажимал на педали, как бы стараясь обогнать дождь.

Степь потемнела. Красно-лиловые облака сгрудились у горизонта за далекой березовой чащей.

— Красота-то!

— Что?.. Дождь?.. — не рассышав, переспросил Семен, передернув плечами. — Не хватало его! Еще зерно намочим.

— Не бойся, Сема, брезентом укроем.

Зоя радовалась: Семен заговорил. Наконец-то исчезло гнетущее молчание. С самого утра он не в духе: нуж-

но было ехать в соседний колхоз за зерном, его искали по всей деревне, а он сидел у вдовы Дементьевой. Отказывался ехать — голову ломило с похмелья. Ему было все равно, что их колхоз расширял этой весной посевную площадь за счет суглинистых пустошей, что пришлось брать взаймы зерно из семенного фонда соседнего колхоза.

Семен молча рулил, хмуро всматриваясь вперед. Зою злило, что он опять замолчал, замкнулся в себе и не обращает на нее никакого внимания, будто ее вовсе нет в кабине.

— До чего же ты скучный, полынь, а не человек!

— Помолчи, таранта! — грубо бросил Семен.

Зоя растерялась и почувствовала, как внутри у нее похолодело. Наклонив голову, она тихо, по-детски произнесла:

— Я не таранта, а... Зоя Макарова.

— Скажите пожалуйста! — насмешливо протянул Семен и отвернулся.

Его голова с белесым чубом словно окаменела, суховатое лицо выглядело умным и скорбным.

Равнодущие Семена и его тяжелое молчание Зоя объяснила тем, что он мало ее знает, раньше совсем ее не замечал, а сейчас просто считает девчонкой, которая еще не понимает, что такое жизнь и как нелегко иногда бывает человеку.

Зоя была старшей в семье. Видя, как трудно отцу одному содержать и воспитывать четырех детей, она, окончив семилетку, стала работать в колхозе учительницей в зернохранилище. Зоя часто видела Семена и в поле, и в клубе, и в правлении колхоза. Он вернулся недавно из армии, ему предлагали работать секретарем сельсовета, но он отказался, так как имел права шофера и любил, по его словам, «жизнь на колесах». По деревне о Семене шла недобрая молва: живет у вдов, часто пропадает где-то с машиной, пьянствует, опаздывает на работу, грубит, когда его совестят. При всем том Семен никогда не ввязывался в драки, любил свою старую мать, и Зоя знала, что многие девушки втайне вздыхают по нем и ревнуют друг к другу.

Он ей тоже нравился. В последнее время она часто видела его во сне. Во сне все было просто: она разговаривала с ним, он кивал головой и улыбался. А наяву,

увидев Семена, Зоя стыдливо отворачивалась, краснела, ругала себя и больше всего боялась, чтобы он не догадался, что нравится ей, и не высмеял при всех. А сейчас он сидел рядом с ней, плечом к плечу, и казался не таким, как о нем говорят люди.

Дикая степь кончилась. За окном машины, вплотную подступая к дороге, раскинулась свежая, хорошо проборонованная пашня.

Въехали в деревню. Проезжали мимо больших изб, мимо густых тополей, которые казались синими, — наступал вечер.

— Быстрой, Сема, быстрой! — торопила Зоя.

Шофер покосился на нее, но ничего не сказал. Когда подъехал к семенному амбару, у Зои сжалось сердце: сутулый кладовщик с белесыми усами навешивал тяжелый замок на окованные полосовым железом двери амбара. Толстая девушка-учетчица стояла рядом и заплетала косу. Груэчки сидели в стороне и ели соленые огурцы с хлебом. У весов шмыгала серая от пыли курица и, воровато оглядываясь, клевала просыпанные зерна.

Зоя на ходу выпрыгнула из кабины, крикнула нарочито веселым голосом:

— Здравствуйте, люди добрые! А я к тебе, товарищ Кожин. Подожди запирать! Отпусти нас: вот накладные на зерно...

Кладовщик нехотя обернулся, нагнул голову, как бы говоря: «Это что еще за птица прилетела?!» — и скрипуче засмеялся.

— Ничего не знаю, гражданочка. С этой минуты общественное кончилось — личное началось. И я устал. Спать пойду!

Зоя заметила, что кладовщик был весь рыжий, а толстушка учетчица — одета в плохо сшитое платье горошком. Стоит и улыбается Семену, бесстыжая!

— Да ты посмотри накладные! Вашим председателем подписаны. Срочно.

— Председателем? Вот и хорошо! — невозмутимо сказал кладовщик. — По форме, значит. Хе-хе!

Он покрутил большим ключом перед носом Зои и спрятал его в карман. Зоя растерянно взглянула на Семена, не зная, что дальше делать, как пронять вконец обюрократившегося Кожина.

Семен стоял у радиатора и с интересом прислушивался к спору. «Ему и горюшка мало, что придется на зад порожняком ехать, — осудила его Зоя. — Стоит слушает, будто мы тут концерт для него разыгрыываем!»

Семен вразвалку подошел к толстушке, поздоровался с ней за руку и, поглядывая на Зою, что-то сказал. Учетчица от смеха прыснула. Зоя вдруг остро вознавидела красивое улыбающееся лицо Семена и всю его сильную, ладную фигуру.

— Посторонитесь, гражданочка! — сказал кладовщик, отходя от амбара.

Зоя загородила ему дорогу и тонким, срывающимся голосом крикнула, злясь сейчас больше на Семена, чем на чужого кладовщика:

— Не уходи! Все равно с постели подыму!

— Не испугала! — отмахнулся Кожин. — Сказано, работа до шесть ноль-ноль... Закон! Завтра вовремя приедешь — весь твой буду... У меня уже и сторож пришел.

Высокий старик с берданкой на плече остановился возле машины и дымил цигаркой, как бы говоря: «Воюйте, граждане, мне-то что!» Все время чувствуя за спиной присутствие Семена, Зоя заговорила быстро и гневно, размахивая накладными и наступая на кладовщика:

— И как тебе перед людьми не стыдно? Такие, как ты, вроде палки в колесе... Одна потеряная минута на посевной — всей стране убыток. А ты заладил свое: шесть ноль-ноль! Через таких вот равнодушных людей, как ты и... других, у нас до сих пор неполадок в жизни много!..

На минуту наступила тишина. Кашлянул сторож. Вспорхнула и побежала курица. Грузчики не хрустели больше огурцами. Семен отвернулся от толстушки и пристально смотрел на Зою, будто впервые ее увидел.

Кожин отступил на шаг и едко сказал:

— Масштабами бьешь, да? Молодая, грамотная, нас учить приехала, да?

Зоя приподнялась на цыпочки, собираясь крикнуть Кожину в лицо что-то самое гневное и обидное.

— Повремени, Зой, — спокойно сказал Семен. — Не

ешь дядю Кожина живым — сырой он, невкусный. — Широко шагая, Семен быстро подошел к спорящим, протянул руку кладовщику: — Привет начальству... Что, своих не узнаешь? На свадьбе твоего племяша пили-гуляли, позабыл? А я до сих пор помню, как ты тогда «барыню» отхватил — всем молодым нос утер!

Кладовщик кулаком расправил свои белесые усы и скромно сказал:

— Было дело... То-то, я смотрю, фигура вроде знакомая. Что припозднили? Авария?

— В кювет машину завалил... — соврал Семен. — Не заставляй назад порожняком ехать, будь другом!

Кожин перевел глаза с Семена на Зою и сказал, сдаваясь:

— Только для тебя распорядок дня нарушаю. Ради старого знакомства.

Он вынул из кармана ключ и пошел к амбарной двери. Семен подмигнул Зое, и та поспешила отвернуться, чтобы Семен не видел, как она обрадовалась тому, что сейчас они получат зерно, что он оказался сознательнее, чем она думала, и что ему все-таки известно ее имя...

Но признательное чувство к Семену исчезло очень быстро. Стоя в кузове, Зоя одна принимала зерно, разгребая его тяжелой лопатой. Семен, покуривая, снова болтал с толстушкой и нарочно пускал ей дым прямо в глаза. Учетчица чихала и кашляла, потеряв всякое женское самолюбие, хотя от Семена не отходила. Зое было тяжело, ныли руки. Она старалась не глядеть на Семена и учетчицу, не слышать их смеха, и зерно, котороесыпали в машину грузчики, казалось жестким горохом.

Когда погрузка окончилась, учетчица подписала накладные. Зоя взяла их и встретилась взглядом с Семеном. Она покраснела и стала читать накладные, держа их двумя руками перед лицом так, как будто смотрелась в зеркальце.

Пока Зоя накрывала брезентом зерно, Семен, не стесняясь чужих колхозников, рядился с невесть откуда взявшимися незнакомыми людьми, сидящими на узлах и рюкзаках. Подойдя вплотную к Зое, он спросил небрежно:

— Возьмем попутчиков? Выпить охота!

Зоя ответила громко и непреклонно, чтобы слышали все: и учетчица, и грузчики, и незнакомые люди:

— Никого мы не возьмем! За зерно я отвечаю.

— Понятно! — сказал Семен. — Благодарность за то, что я уломал Кожина?

2

Долгое время они ехали молча. На душе у Зои было как-то смутно, хотелось поскорее приехать домой, сгрузить зерно и одной, на досуге, разобраться наконец, что за человек Семен и почему хорошие ребята не нравятся ей, а такой никчемный человек снится по ночам.

Семен просигналил — на дороге скакали воробы, взлетая прямо из-под колес. Он усмехнулся, когда стая перелетела вперед и села на дорогу.

— Вот черти... перелетные! — сказал он и неожиданно спросил Зою: — Думаешь, обидела меня, что не дала на попутчиках заработать?

— Думаю, обидела... — осторожно проговорила Зоя, подозревая какой-то подвох.

— Ну и думай, может, волосы курчавей будут, — пошутил Семен, помолчал и добавил: — Плоховато ты все-таки обо мне думаешь, девонька!

— По заслугам, — ответила Зоя.

Семен помрачнел.

— Да я, может, рад, что на выпивку не заработал! — выпалил он вдруг. — Рад! Можешь ты такое представить, Зоя Макарова?

— Представить я могу, а только... ничуть ты не рад, а так... хитришь только.

Семен покрутил головой, удивляясь, как трудно говорить с Зоей. Семену почему-то очень хотелось, чтобы Зоя верила ему и не сидела бы в кабине так строго, как прокурор. Украдкой Семен с любопытством посматривал на Зою. Ему нравилось ее маленькое чистое лицо, тугие черные косы, строгий взгляд темно-зеленых больших глаз, плотная фигура и маленькие пухлые губы. Но вся она, когда говорила ему что-либо обидное, казалась злой, чужой и далекой.

Невольно он сравнил ее с другими девушками, которых знал, и не нашел в ней ничего особенного, что отличало бы ее от них, кроме душевной гордости и стро-

гой самостоятельности, и недоумевал, за что же он на-  
чинает ее так сильно уважать и даже побаиваться.

— Женщины! — вслух сказал он, а про себя поду-  
мал привычное: «Все на один манер, только платья  
разные!»

Заговорила Зоя:

— Сказку про колобок знаешь? Бабушка поскребла-  
помела по сусекам и спекла колобок.

— Ну и что? — заинтересованно отозвался Семен.

— Вот и мы сейчас такой же колобок везем в свой  
колхоз. Только зерно не на хлебы, а на посев.

— К чему это ты? Не пойму.

— Да так... в голову пришло. Тяжело людям хлеб  
достается, не как иным, которые легко привыкли жить...

— А-а... — протянул Семен, догадался, что послед-  
нее относится к нему, но не обиделся.

«Сказочница, подумаешь... Перевоспитывать начи-  
нает!» — решил он, и ему стало весело. Он взглянул на  
белый и круглый Зоин лоб, на сжатые губы. Ему захо-  
телось вдруг с ней крепко подружиться, чтобы можно  
было говорить обо всем, что придет в голову.

— Знаешь, — доверительно сказал он, — приехал я  
из армии — и скучно мне показалось. Друзей нету,  
все разъехались кто куда. Одно только утешение — ра-  
бота вольная! Едешь один — и никого над душой.

— Друзья новые будут, — отозвалась Зоя. — И в  
деревне найдешь, да и теперь со всех концов едут к  
нам. Газеты ведь читаешь?

Семен поспешил кивнуть головой, и Зоя поняла, что  
газеты он читает нерегулярно.

— Вот, говорят, пьяница я. А разве я сейчас так  
пью, как раньше? Просто выпью иногда... от скуки.  
А когда-то пил сильно, это верно. Вот слава недоброй и  
плетется за мной. Теперь пей не пей, все равно пьяни-  
цей прослыл. Вот и пью — все равно уж!

— Хитро ты надумал! — удивилась Зоя.

Она поняла: «Одинок он. И работа для него только  
обязанность. Просто нужно зарабатывать, чтобы мать  
кормить. А после работы выпить — от скуки, к вдове  
сходить — тоже от скуки...»

Семен, словно догадавшись, о чем думает Зоя, ска-  
зал:

— Что ж вдовы? Они тоже люди!.. Чего ты покрас-

нела? Наверно, и у тебя есть кавалер — брюки клеш! Ведь есть, признайся?

— Целых три штуки! — выпалила Зоя, сердясь на Семена за то, что он не постыдился заговорить с ней об этом.

Семен безошибочно определил, что ни одного кавалера у Зои нет, повеселел и повел машину еще быстрее.

А потом грузовик долго взбирался на гору, натужно жужжа мотором. Семен покраснел от напряжения, на щеках вздулись желваки, глаза прищурились, и Зое казалось, что машина не хочет взбираться на гору и Семен тащит ее на себе. Она впервые подумала, что шоферская работа не такая уж легкая, что Семен устал за рулем. Ей стало по-настоящему жаль его, словно Семен был не чужим парнем, а ее родным братом.

В кабине теперь было не так душно, не пахло бензином и махоркой. Семен почему-то забыл о куреве, и Зое хотелось сказать ему: «Ты долго не курил...» Она посмотрела на него свободно и открыто, заметила на щеке пятно машинного масла и капельки пота и инстинктивно потянулась к Семену, чтобы вытереть это пятно, будто оно было не у него на щеке, а у нее самой.

— У тебя щека измазана, на платочек.

Семен платка не взял, вытер ладонью обе щеки и благодарно кивнул Зое.

Когда одолели трудный подъем, оба вместе вздохнули и улыбнулись друг другу.

— Сейчас с горы покатим. Люблю с горы... Как птица летишь! — сказал Семен.

Зоя встревожилась. Впереди дорога была в колдобинах и выбоинах — пастухи здесь всегда перегоняли через дорогу стадо. Семен, усмехнувшись, блеснул озорным взглядом.

— Эх, и прокачу же я тебя, Зойка! Боишься?

— Я тебе прокачу! — радуясь и осуждая, сказала Зоя и положила руку на руль, жалея, что не умеет управлять машиной.

Грузовик под уклон набирал скорость. В кабине стало холодно от встречного ветра.

— Осторожней, зерно не рассыпь! — крикнула Зоя.

У Семена хищно раздулись ноздри, лицо его стало неприятным. «Противный какой, — подумала Зоя. — На пьяного похож»...

Впереди чернел кювет, дорога резко сворачивала в сторону. Семен затормозил, выровнял движение. Машина благополучно миновала поворот, и вдруг, когда Зоя уже облегченно перевела дух, грузовик развернулся и осел на заднее колесо, остановился на самом краю дороги.

— Вот и прокатил! — зло сказала Зоя, выпрыгивая из кабины на куст боярышника, прямо на сухие колючие шипы.

Семен вылез из кабины, виновато посматривая на Зою. Она хозяйственно ощупывала вялую покрышку колеса.

— Менять придется, Сема-шофер, как вы думаете?

Семен промолчал, досадуя на то, что вот придется возиться с колесом, а солнце уже скрылось, наступил синий вечер.

Вдвоем подкатили к оси запасной скат. Зоя говорила сердито, будто этой аварией Семен лично обидел ее:

— Я думала, что ты хоть шофер хороший, а ты — лихач... Видали мы таких лихачей! Они по жизни лихо прокатиться хотят и... часто шею себе ломают! Я тебя понимаю как миленького, подобрала к тебе ключ!..

— Ну ладно, Зоя...

— А ты чего стоишь, глазами хлопаешь? Ремонтируй! — Зое понравилось растерянное выражение на лице Семена. Она погасила улыбку и сказала убежденно: — Залежь ты! Тебя, как землю, тоже поднимать надо. Вспахивать душу твою. Уй! Небритый, зарос! Эх ты... транспорт!

— Ладно уж, — отмахнулся Семен.

Зоя наблюдала, как поднималось крыло машины. А потом Семен подошел к колесу с гаечным ключом и остановился в нерешительности перед дождевой лужей. Зоя поискала вокруг доску или хотя бы щепочку какую, но ничего не нашла.

— Эх, жизнь шоферская! — сказал Семен и ступил в лужу.

«Привык по пьяному делу в лужах барахтаться — ему и ничего», — решила Зоя. Семен распластался на спине, взмахивая руками, подтягиваясь, будто искал ногами точку опоры. Вид у него был работящий, старательный, и Зоя сменила гнев на милость.

— Подержи-ка! — деловито попросил Семен, протягивая из-под кузова гаечный ключ.

Рукоятка ключа была теплая — Семен нагрел ее своими большими руками.

— Готово! — Семен вылез из-под машины, выпрямился во весь рост и широко расставил руки, как бы собираясь обнять Зою.

Зоя отпрянула, засуетилась:

— Зерно-то цело?

Семен перевалился через борт, заглянул под брезент.

— Здесь... твой колобок!

Он спрыгнул на землю, по-мальчишески шмыгнул носом, встретившись с Зойкиными ласковыми глазами. Подумал: «Легко с ней! Отчитала, а не обидно... Как это она? «Душу вспахивать!» — Усмехнулся: — Хм, таранта!»

— Поехали, поздно уже... — смутившись от его пристального взгляда, сказала Зоя.

— Куда спешишь? — чувствуя непонятное волнение и радуясь степной тишине, спросил Семен.

В вечернем небе угадывались первые звездочки, далеко разносилась по степи звонкая трель запоздалого жаворонка.

— Очумел, парень... Чтоб тебе ни дна ни покрышки.

Зоя нагнулась сорвать стебель полынника и заметила, что чулок порван. Не стесняясь Семена, разулась, стала снимать чулки. Семен наблюдал за ней, а Зоя, глядя снизу ему в глаза, сказала с осуждением:

— Отвернись... Мог бы и сам догадаться.

Семен медленно отвернулся. «Хм, тоже мне!» Стоял, переминаясь с ноги на ногу, чутко прислушиваясь, как шуршат чулки.

Поехали. Семен включил фары, и в степи сразу словно потемнело. Машина покачивалась, скрипело пружинистое сиденье. Взглянув на тормоз и включив лампочку, Семен, всмотревшись, заметил на ноге у Зои царапину.

— Смотри, кровь...

Зоя благодарно улыбнулась ему, наложила на царапину платок.

— Пустяки!

— Жаль, бинта нет...

Семен вздохнул, а Зоя засмеялась и провела ладонью по его щеке. Задержалась на секунду и отдернула руку. От волнения у Семена перехватило дыхание. «Ласковая!» — подумал он и, не зная, как выразить свою радость, несколько раз подряд нажал кнопку сигнала.

— В клуб сегодня придешь... Зоя Макарова?

— Не знаю...

Впереди затемнели избы родной деревни. От освещенных окон веяло домашним уютом.

### 3

Фары выхватили длинные плетни, стены изб и саманных домиков, телеграфные столбы. Зоя спросила Семена:

— Тебе нравится у нас?

Семен удивленно посмотрел на нее.

— А что? Жить можно. Людей вот маловато...

У зернохранилища Зоя спрыгнула. Солнный лохматый сторож в полушибке открыл ворота. Семен развернул машину и подкатил ее к ссыпным окнам. Зоя весело простучала каблуками по каменным плитам, устилавшим двор, отперла главную дверь и вошла в зернохранилище.

Семен остановился у запыленного капота машины, не решаясь войти вслед за Зоей. «Вот приехали и уже чужие. Ей бы только зерно ссыпать, двери на замок и — домой. Все люди так... Взять и уйти сейчас! Окликнет или нет?»

Зоя вошла в зернохранилище, поправила платок на голове.

— Ну, дело сделано, — равнодушно сказал Семен. — Машина на месте, пора шабашить...

Зоя растерялась, погрустнела. Ей не хотелось идти сейчас вправление колхоза просить кого-нибудь помочь сгрузить зерно, не хотелось, чтобы Семен ушел, оставил ее одну. «Пусть еще поработает, — решила она. — Здоров как бык, ничего ему не сделается». Зоя сказала требовательно:

— Подожди, Семен. Помоги выгрузить зерно.

Она опасалась, что Семен посмеется над ней, ска-

жет: «Не мое это дело. Мое дело — привезти и чтоб машина в исправности». Но Семен молчал и внимательно разглядывал радиатор. Его молчание разозлило Зою, она схватила лопату и сказала презрительно:

— Не хочешь — не надо. Устал, бедняжка!..

Семен огляделся вокруг, взял лопату у двери и молча полез в кузов.

Выгружали неторопливо, молчали, старались не смотреть друг на друга. Зерно было легкое. Казалось, оно само ложится на лопату. Когда очистили кузов, Семен помог Зое спрыгнуть на землю, спросил:

— Устала?

Зоя кивнула головой и наклонилась, скатывая брезент в трубу. Семен взвалил брезент на плечи и понес в открытую дверь зернохранилища. В нем было чисто и сухо. От рогож, пола и пустых дощатых сусеков веяло холодом. Зоя включила лампочку над столиком, села и стала раскладывать какие-то бумаги. «Начальница», — подумал Семен, радуясь тому, что ближе познакомился с ней в этот день, что она теперь ему не чужая, что его тянет к этой девушке, которой доверили хранить зерно.

— Небогато живем, — сказал он, разглядывая пустые сусеки, и на минуту ему стало неловко перед Зоей, будто он один виноват в том, что колхозные сусеки пусты. «Вот снимем урожай, — подумал Семен, — день и ночь возить буду, набью сусеки доверху!»

— Тебе не скучно со мной? — спросила Зоя, повернув к нему освещенное лицо. Она торопливо что-то писала; от электрического света ресницы ее казались длинными, щеки округлились. Семен ничего не ответил — любовался ею.

Он сидел рядом, отдыхая, и думал о том, что курить здесь, конечно, нельзя: Зойка заругает. Придвинуться к ней и обнять — тоже нельзя: обидится! У него было легко и радостно сейчас на душе, одно только смущало: он не знал в точности, хорошо ли Зое с ним.

— А тебе не скучно со мной?

— Нет... — сказала Зоя и пояснила: — Мы с тобой сегодня хорошо поработали!

Семен поднялся и склонился над ее плечом, чувствуя, как в груди колотится сердце.

— Что пишешь?

Зоя запрокинула голову, и Семен, не в силах сдержаться, обнял ее за шею.

Он хотел поцеловать ее, но успел только провести ладонью по пухлым детским щекам и почувствовать теплоту ее плеч. Зоя быстро встала, оттолкнула Семена. Семен натужно засмеялся. Она стояла перед ним, сжав кулаки, готовая обороняться, ему было больно видеть ее такой чужой и безжалостной. «Душу вспахивать начинает...» — подумал Семен и покачал головой.

Зое показалось, что он смеется над ней, ни капельки ее не уважает и хотел поцеловать просто так, как всех целует, от скуки.

Она чуть не заплакала, но пересилила себя, строго сказала:

— Пошли, нечего тут рассиживаться! — и, пропустив его первым, повесила замок на дверь.

Семен взял из кабинки пиджак, забросил его на плечо и пошел к воротам, безразлично смотря себе под ноги.

«Не придет в клуб. Озлилась. Эх! А я приду! Подожду. Может, и придет?...» Из кармана пиджака посыпались папиросы, покатились по каменным плитам — белые и маленькие. Зое захотелось крикнуть: «Семен, вернись: папиросы рассыпал», — но промолчала. За воротами послышался певучий голос вдовы Дементьевой:

— Здравствуй, Семочки! Ждала я тебя, ох ждала! Зайдешь ко мне? Хоть на минутку...

Семен помедлил и проговорил с сильной усталостью в голосе:

— Ну, здравствуй, здравствуй... Не приду я. Видишь, помыться надо... Всю грязь с себя смыть...

Зоя постояла на дворе, пока затихли шаги Семена, и пошла домой — напрямик через площадь, не разбирая дороги.

Ночь нависла над деревней душная, темная. В избах тускло светились огни; слышался скрип чьих-то ворот, лай собак и плеск воды на реке — за день берега подсохли, и глина отваливалась глыбами в воду.

Семен, одетый в белую рубаху и лучшие свои брюки, выглаженные матерью, стоял у клуба лицом к афише, засунув руки в карманы. Из открытых окон клуба доносились покашливание односельчан и зычный бас лектора. Зои нигде не было — ни в библиотеке, ни в биллиардной, ни в зале. «Значит, не пришла... Или опоздала, придет потом?» От нечего делать прочел афишу: «Сегодня лекция на тему: «Есть ли жизнь на других планетах». Лектор — тов. Пряников». Усмехнулся: «Сладкая фамилия! Лектор, наверно, веселый человек; афиша с ошибкой, а ему хоть бы что».

Он спросил самого себя: «Есть ли жизнь на других планетах?» Решил, что, наверное, есть, и вдруг представил себе людей, живущих где-то там, в небе. Как и на Земле, они также сеют хлеб, ходят в баню. У них, наверно, и автотранспорт и шоферы. Ему захотелось перелететь на чем-нибудь к ним и пожить недельку-другую. И девушки там не обижаются, когда их целуют парни, а только смеются и говорят: «Милый!» Но там нет наверняка теплых степных ночей, умных лекторов, деревенского клуба, возле которого можно часами ждать Зою Макарову, да и самой Зои Макаровой тоже нет...

Семену вдруг расхотелось перелетать на другие планеты. Пусть там живут те, кто живет, а он тут останется.

Зоя не шла. Заглядывая в окна, Семен ходил вокруг клуба. Он видел толстого лектора в очках, внимательные лица слушателей. На задней скамье было два свободных места, словно оставленные для них с Зоей. Семен вздохнул и вспомнил о поцелуе. Перед глазами Зоя — строгая и гневная. «Если придет, значит, простила. Поцелую».

Обернулся на звук шагов за спиной, увидел, как метнулась в сторону чья-то фигура и пропала за изгородью у старой березы. Узнал по белой шали Марусю Дементьеву, рассердился:

«Наблюдает за мной или случайно встретила? Наблюдает. Ждет. Стоит сейчас за березой и мнет пальцами свою шелковую шаль с кистями...»

Вспомнил ее полные холодные руки и настороженные злые глаза, когда он уходил от нее утрами; ее податливость и предупредительность, которые льстили

ему и из-за которых он всякий раз отмахивался от слов матери: «Женит она тебя на себе, Семка. Ой, женит! Смотри...»

Семену стало жаль Марусю. Захотелось подойти к ней, обнять, пойти с ней в дом, где всегда жарко настоплено и пахнет березой. Маруся поставит на стол кувшин желтой крепкой браги с твердой вишней, сама нальет ему стакан и, подперев голову рукой, будет смотреть ему в глаза, ждать ласки. А утром будет болеть голова и снова станет стыдно и тяжело на душе от мысли: «А что дальше? Проходят дни и недели. И вся эта жизнь — и проста, и легка, и пуста...»

«Эх, Зоя-Зоенька, напрасно ты не пришла!»

Семен вздрогнул: в клубе громко захлопали в ладони, зашумели, задвигали скамейками.

Он отошел от крыльца и снова различил в темноте за старой березой шаль. Покачиваясь, Маруся медленно уходила, словно ждала оклика, шаль плыла белым пятном над землей. Семен сам не заметил, как пошел за ней.

За поворотом, там, где избы спускаются к реке, Маруся исчезла. Семен постоял у стены бревенчатого сарая, закурил папиросу. Дальше идти не хотелось. Издалека доносился девичий смех и звуки баяна — в клубе начались танцы. Возвращаться в клуб тоже не хотелось. «Устал я что-то сегодня... Зерно привезли? Сгрузили? Точка!»

Вспомнил темно-зеленые Зоины глаза, зажмурился, будто въявь ощущил привкус ее теплых мягких губ. Завтра снова ехать с нею в соседний колхоз за зерном. Снова будет степной простор, запоздалый жаворонок, Зоин ласковый взгляд сбоку и то навсегда теперь памятное ему место на дороге, где меняли колесо и где Зоя назвала его «залежью». Он снова будет слушать ее хозяйственные приказания, и опять, наверно, появится у него то чувство уважения и боязни, которые он испытал сегодня. Ему захотелось, чтобы завтра Зоя похвалила его за то, что утром он встал рано и машину ведет хорошо — лучше некуда, и чтобы она дважды сказала ему по-родному «спасибо», когда он погрузит зерно у Кожина, и после, когда он поможет сгрузить зерно дома...

Семен свернул в переулок и направился к себе до-

мой кружным путем — так, чтобы пройти мимо Зоиного дома. Согнутым пальцем постучал себя по лбу. «Чудак! Думал — прибежит сразу... Люди разные бывают, это тебе не Маруся. Заслужить надо ее любовь, а как — пока неизвестно...»

По дороге Семен заглядывал в окна, узнавал односельчан, видел, как одни ужинали, другие укладывались спать. Посмеялся над собой: «Нет худа без добра — хоть высплюсь сегодня!»

У саманного домика, где жили Макаровы, остановился, долго смотрел в окно. Поверх узкой занавески видно было, как сидит за столом Зоя, рядом с ней стоит отец и что-то рассказывает ей, сильно размахивая руками. В углу кучкой сидят три девочки — Зоины сестры. «Что-то в семье неладно», — подумал Семен.

Семен подождал, не станет ли отец драться, чтобы выручить Зою из беды. Но тот только говорил и размахивал руками, а драться не собирался.

Ему стало грустно, что повода зайти к Зое у него нет, и поплелся домой.

«Может, потому она и в клуб не пришла, что в семье неладно?» Семен хорошо знал, что обманывает себя, но очень уж ему хотелось подыскать уважительную причину обидного для него Зоиного неприхода. Никогда раньше с ним ничего подобного не бывало. Он подумал с испугом, что жизнь его вступает в какую-то новую, неизвестную полосу. Судя по началу, любовь к Зое обещала быть трудной и нежной, какую ни разу еще не довелось испытать Семену в жизни, а случалось лишь видеть в кино...

В небе висели крупные звезды, поблескивая, как светляки, зеленоватым светом. Смолк баян, отчетливее стали слышны за спиной чьи-то шаги и приглушенный девичий смех.

«Не спится людям!..» — посочувствовал Семен и постучал в окно своей хаты.

# Марево

*В. В. Лаврожанис — юристу*

Над пышными от жары ковылями дрожало в желтом небе расплывшееся белое солнце. От зноя медленно оседали берега, трескались и обваливались сухими глиняными глыбами, тяжело ухали в темную воду, будто тихое землетрясение. Ухнут то тут, то там, послышится бухающий глубинный плеск, разойдется по речной глади голубые круги, и снова качается горячая тишина над степной окружой, и снова подрагивает в небе раскаленный солнечный диск.

В этой тишине слышно, как сонно гудят и крутятся комарные мутные облачка над камышами, там, где, обрамляя пойму, улеглась широкая песчаная коса, проросшая кое-где тальником и лопухами.

Здесь поют колхозный скот.

В стороне около воды прилепилась деревня из саманных домишек, изб, сараев, изгородей, а промеж них белой лентой разбежалась дорога, словно наперегонки с речкой, туда, где только степь и небо.

Сейчас на берегу тихо. Доярки ожидают, когда пастух Василий пригонит стадо на водопой. Они все набились в большую прибрежную будку и судачат, кто о чем.

Нет среди них только татарки — Нинки Хабировой. Она ушла на песчаную косу со своей всем известной невеселой думой.

Нинка снова вернулась сюда, в эту деревню, вернулась потому, что когда-то жила здесь с пастухом Муратом в его саманном домике. По деревне о них говорили: «То ли муж с женой, то ли брат с сестрой... Неизвестно. Подобрал где-то в степи Мурат себе пару».

Потом она неожиданно исчезла. Вскоре и Мурат продал саман и тоже исчез из этих краев. Сказывали: устроился на железную дорогу в ремонтную бригаду.

И вот Нинка вернулась. Ей сейчас негде жить. Сначала она устроилась нянькой и смотрела за хозяйством у тракториста, который имел добротную избу и много детей. Но потом ей там разонравилось: тяжело с орвой, хоть она и привыкла и полюбила чужих малаек, а еще тяжелее — колка дров и огородная маesta. И она пошла на ферму в доярки, ночуя то у подруги Груши, а то и в будке. Самой большой мечтой ее было выкупить саманный домик, где она начинала свою жизнь с Муратом.

Сегодня в колхозе расчет-получка, да и к председателю у нее есть серьезный и злой разговор...

Нинка — маленькая и худенькая, с коричневым лицом и умными глазами, одетая в ситцевое темное платье и пиджачок, босая — одиноко стояла сейчас на песчаном берегу и грустно посмеивалась, вспоминая свою небогатую прожитую и невесело начавшуюся жизнь. Она с тоской смотрела в зыбкие ковыльные дали, в которых где-то затерялся муж — Мурат, и глаза ее под круглым детским лбом то бегали и искрились от несбыточной надежды вдруг увидеть его, когда она оглядывала степь, то затухали, полуприкрытые густыми ресницами, и туманились, и видели только песок, воду и лопухи...

Она вспомнила, как давно-давно, когда она уже начала ходить, но еще ничего не понимала и всего боялась, ее отец — скотовод, угрюмый татарин, возил ее за собой по степи, свою единственную дочь.

Он брал ее с собой всегда и всегда боялся, что она потеряется. Он заботливо укладывал ее в таратайку, укрывал кошмой и старательно накрепко привязывал веревками, чтоб не выпала. Под кошмой было жарко и душно, но она выглядывала оттуда и озиралась вокруг испуганными и блестящими от восторга черными глазками, видела степь, дороги, лес и горы и ойкала и восхищалась: сколько земли, без конца и края, и неба много над нею, а солнце все время одно.

Когда она повзрослела, он уже не привязывал ее и не укрывал кошмой, а только становился все угрюмее и поглядывал оценивающе или просто дивился. Краси-

вой растет! Да Нинка об этом и сама знала. Заглядывались на нее пастухи и цокали языками.

Вскоре отец отвел ее к старому Мирхайдару, и когда она поняла, отец отдал ее в жены и навсегда, по давнему сговору, — сбежала. Теперь и земля, без конца и без края, и небо, и солнце были ее, как в детстве, только не под кошмой она и не привязана веревками, а совсем одна и свободна. Далеко сбежала. Таскалась по деревням, жила кое-как, бродила по степи, чего искала — не знала. До тех пор, пока не встретился ей Мурат... Еще до встречи, работая по колхозам, Нинка постепенно отвыкла от одиночества и страха, как ей одной жить, и пришла к мысли, что в степи много хороших людей, работают на земле, выращивают скот и хлеб, и она с ними, что за работу вместе с ними ей платят и дают жилье, она не потерянется, не погибнет и непременно будет счастлива.

И она работала и зимой и летом, сажала кукурузу и картофель, сеяла гречу, горох, пшеницу, ухаживала за скотом, перебывала и нянькой, и уборщицей, и сторожем, и возчицей воды, и даже поварихой на полевом стане.

Когда на нее накатывала тоска, особенно осенью, она уходила в другие деревни, к другим людям, в другие хозяйства, все еще не осев, не утвердившись где-то на одном, полюбившемся ей месте.

Видно, не сразу человек становится счастливым... Видно, кроме того, что жив, есть еда и жилье и одна весна сменяет другую, ему нужно еще что-то для большой, бесконечной радости, для жизни наперед.

И это — что-то — ей, Нинке, не было еще понятно, да и не было этого — что-то в ее жизни до тех пор, пока не встретился ей Мурат...

Нинка встрепенулась, сдержала в горле радостный смех и прошагала по песку поближе к воде. Она вспомнила родное, мягкое лицо Мурата с раскосыми глазами, улыбающееся и усталое, коричневое от загара, с двумя глубокими морщинами на щеках. Она подошла к воде, взглянула, как в зеркальце, на свое отражение, словно надеялась увидеть там и его лицо рядом, и чуть не заплакала.

«Ой, Муратка, Мурат! Где ты сейчас! Я без тебя совсем одна... Ты помнишь, как это было?»

Вот как это было.

Она шла из какой-то деревни по дороге. Шла — куда дорога ведет. После ливня трудно шагать по размытой колее. И вечер не радует. И хлеба уже нет в узелочке. Брела. За спиной послышалось пофыркивание лошади и чавкающий звук чьих-то тоже тяжелых шагов. Поравнялись. Она идет, лошадь везет телегу, он ступает рядом. Все — молча. Долго не говорили. А потом он также молча подхватил ее, усадил на телегу и сам сел рядом. Сказал только по-татарски: «Исам месис!» (Здравствуй!) Она подумала тогда, что этот человек увезет ее далеко-далеко, куда-то домой. И тело ей стало, и смешно. Ей захотелось спросить его имя, но он вдруг тихо и задумчиво запел. Он пел о том, что степные просторы широки и в них легко потеряться, но он, как пастух, не даст в обиду овечку, и если овчак спросит, как зовут пастуха, то он ответит, что зовут его Мурат...

Хорошо было. Так хорошо, что она подумала вдруг — это ее муж. Это не старый, обрюзгший Мирхайдар, с липкими руками, за которого хотел выдать ее отец. Она заглянула тогда в глаза Мурату, улыбнулась и даже погладила его по шершавой щеке.

Это она хорошо помнит.

Привез Мурат ее в незнакомую деревню, в свой саманный дом, а сам ушел. Она поняла тогда, что ей нужно согреться, вымыться и приготовить ужин, и Мурат ушел, чтоб не мешать. Это ей тоже понравилось. И только ночью, за ужином, он осмотрел ее, улыбнулся, и они заговорили, словно после долгой разлуки...

С холодной синей полоски горизонта отваливали гряды за грядою облака, повисали, покачиваясь, и где-то вдалеке, на самом краю рыжей степи, уже слышалось приглушенное гудение грома. Но это далеко-далеко, за железной дорогой, за хлебными полями. Дождь, наверное, пронесет стороной, гроза утихнет, погаснет где-нибудь за горизонтом. Нинка было успокоилась, что гроза далеко, но пожалела, что дождь пронесет стороной и он не разгонит жару. Вот опять вдали гулко бухнул гром и тяжело прокатился над степью. Нинка весело погрозила небу маленьким кулачком и, обернувшись, увидела подругу Грушу, которая приближалась к ней тихой, утиной походкой.

Когда Нинка встречается с нею, Груша всегда со страхом восклицает: «Ой, Нинка!», словно собираясь сообщить что-то интересное, неотложное и важное для обеих.

Толстая и белолицая, лет тридцати, одетая в тесную синюю кофту и широкую черную сборчатую юбку, она ступает по берегу босыми крепкими ногами так, что песок хрустит. На голой руке покачиваются, вздрагивая, большие сандалии. Нинка рада подруге. Она всегда восхищается этой красивой русской бабой, втайне завидует ее здоровью, пышности, любит и очень дорожит дружбой. Все Грушины сердечные тайны у Нинки как на ладони. С пастухом Василием, который должен скоро пригнать стадо на водопой, у Груши непонятные отношения. В деревне говорят о них просто: «гуляют». Груша на слишком назойливые расспросы коротко, со смешком отвечает: «Встречаемся». А Нинка-то знает, что они давно живут как муж и жена, только по разным домам, не расписаны и без свадьбы, о чем Василий никак не догадывается или не хочет.

Груша клялась Нинке, что не любит его, «чучела», а только вот такая ее бабья доля: женихов на нее в деревне нету, мужики все по семьям, да мальчишки кругом, а ей ведь уже за тридцать... Вот и держится за Васю. Уж она его полюбит потом, коль ребеночек будет...

Сегодня Груша была какая-то вялая вся, наверное, от жары; поравнявшись с Нинкой, она тяжело опустилась на песок и, вместо «ой, Нинка!», вздохнула и кивнула в сторону степи:

— Не слышно?

На лице ее затаенная радость. По румяным пятнам на белых круглых щеках, по усмешечке глянцево-алых губ, вздрагивающим ямочкам около них и по глазам, голубым и печальным, будто остановившимся, видно, что она волнуется и не знает, куда себя девать в ожидании Васи.

— Ты одна ночью была? — спросила Нинка, усаживаясь рядом и обнимая подругу.

— Одна. Он у стариков остался. И утром я его не видела.

— Придет, придет твой Василий.

— Запозднился он сегодня что-то... Послушаем?

Они умолкли, вслушиваясь в степную тишину. Звонел зной, изредка раздавались на реке плеск и бульканье, ровный глухой гул грома вдали да цвињканье кузнечиков — больше ничего не было слышно. Когда стадо идет по степи на водопой, земля гудит от тяжелого каменного топота копыт, а небо оглашается мычанием и ревом. Сначала откуда-то издалека, за сено-косами и пастбищами, там, где густо разросся ковыль, донник, житняк и пырей, будто повеял ветер и можно уловить звонкое «дзинь-дзинь» медного колокольчика, одинокий утробный мык бугая, а потом уже на степных луговинах и на дороге можно увидеть и услышать огромное золотое пыльное облако, которое катится медленно и громоподобно, и мычит, и ударяет по земле, будто перекатывает камни. Это идут стада. Этого надо ждать.

Груша вздохнула, потрогала красные сережки, пригладила ладонью со лба черные блестящие волосы, поправила косы, уложенные на загорелой шее узлом, расправила пальцами на узле кос новую голубую ленту и осторожно откинулась на руки.

— Жарко...

«Все еще молодится», — пожалела подругу Нинка, прилегла на локоть и ткнула ей в плечо кулачком:

— Давай купаться.

— Ой, Нинка, Нинка! Послушай, что я тебе скажу.

Груша прикрыла свои голубые глаза, еще раз вздохнула и словно уснула. Без глаз красота ее как-то сразу пропала, она стала похожей на слепую.

Нинка смотрела на ее губы и ямочки около них, на вздыхающие шары грудей под кофточкой и слушала робкий, жалующийся детский голос Груши:

— Я бы все равно не так жила, как сейчас. Я бы по разным городам ездила... Уйду в проводницы на пассажирский. Им хорошо. По всей стране катаются и катаются. И знакомых много. Ой, Нинка! Хорошо-то как!

Нинка отметила про себя: «Глупая» — и засмеялась.

— Никуда ты не уедешь, Груша-яблоко! — и нежно погладила ладонями подругу по круглым щекам. — Зачем меня бросишь? Мы лучшие доярки с тобой. Колхоз не отпустит. Вот сделаем зимой еще по пять выпусксов телят — в район пошлют, орден дадут! А?

Нинка задумалась, и подруги вздохнули вместе, заговорили.

Груша. Только жаль, поезда на станциях помалу стоят...

Нинка. Мне колхоз до сих пор должен. Сегодня пойду председателя ругать. Жулик он... В проводницы... Пропадешь ты там! Зайцем хочешь жить? Два-три рейса сделаешь — надоест, домой сбежишь. А Васька твой куда денется? Ой, изобьет он тебя!

Груша. Да это я так... просто думаю... Мечтаю. Если бы он мужем моим был, по-настоящему...

Нинка. А я буду Мурата ждать. Скоро малайку ему рожу. Обрадуется! Мы с тобой еще ему письмо напишем! На всю железную дорогу. Приезжай, Мурат! Нинка тебя ждет. Дом снова купила, так напишем. Сегодня к председателю пойду. Жулик он. Меня обманул.

Они лежали рядом на песке у тихой воды и смотрели в небо, в котором тянулись длинные белые полосы от невидимых реактивных самолетов, и громкий гул их ударял по земле и небу, заглушая далекие грома у горизонта.

— Опять летчики играют, — сказала Груша и прикрыла глаза ладонью.

Нинка вздрогнула и испугалась этого громкого гула, закрыла руками уши и исподлобья стала наблюдать, как тают, рассасываются эти снежные дорожки в звонком знойном небе.

Ей почему-то представилось вдруг, что в самолете сидит Мурат, серьезный и строгий, и летает он там на верху, откуда видна вся степь, и все высматривает ее, Нинку... Она грустно рассмеялась сама над собой и с горечью подумала о том, что Мурата на земле-то сейчас не отыскать, а уж если пустить его в самолет, так он совсем куда-нибудь за небо улетит. Пропадет совсем! Мурат такой...

Гул затих, белые полосы совсем растаяли, солнце по-прежнему ярко и жарко освещало небо и травы, из воды иногда выплескивались рыбки и булькались обратно. Груша дремала, сладко чмокая губами и смахивая ладонью со лба золотые капли пота, а Нинка, обхватив колени руками, все всматривалась в даль, пока не увидала большое пыльное облако, медленно катящееся по

дороге, и не услышала дробный тяжелый топот копыт.

Облако гремело, бухало в ботала, мычало.

Груша раскинула руки, легко поднялась, вся засвятись в улыбке: «Идут?!» — и, ушипнув, обняла Нинку.

Из облака стали выходить породистые сытые коровы, белые и черные, и в воздухе пронзительно и сухо щелкал кнут, и слышался усталый, охрипший голос пастуха Василия, гарцающего на худой и резвой лошади. Он направлял стадо на песчаную косу к широкой пойме, к которой уже сбегались доярки в белых халатах, с большими оцинкованными ведрами.

...Нинка отжала косички, толкнула локтем дверь, вошла и прислонилась к косяку. В полутемной, просторной будке было полно доярок, они смеялись и громко говорили. Плавал вкусный сигаретный дым. Кирилл Василий. В дыме его не было заметно.

Нинка прислушалась к гвалту, различила в неясно-голубоватом свете подруг и сняла халат. В глазах все еще мельтешил мелкий дождичек, клубился золотой воздух, перекатывались осоловелые глаза сытых коров под навесом и виделись белые плотные струи молока, полные бидоны и вздрагивающие хребтины быков, сгрудившихся в теплой воде, которая ходила кругами у камышей и хлюпала по желтым дудкам...

Ее любимая оранжевая с белой звездой на лбу — Маня — обрадовала. Она лениво переставляла ноги, глубоко вдавливая копыта в песок, бережно несла раздувшееся пузо, будто пахала. «Стельная уже... Пора перестать доить». Нинка хотела сейчас сказать всем об этом, но все были увлечены громким разговором, и она так и осталась стоять, прислонившись о косяк, с перекинутым на руку влажным халатом, вслушиваясь.

— Наш-то не зря речи во всю газету произносит. Так, мол, и так, а чтобы на каждую душу из населения по корове непременно было. Она его и накормит, и напоит, и оденет.

— Да-а... теперь корма все решают.

— Еще березой коров учили кормить. Я в газете читала. Отродясь не кормили!

— У нас лесу нету...

— Раньше-то сеном из первой зелененькой пушистой травки баловали.

— Самый лучший корм — трава луговая. А для зимы важнее кукурузной зелени ничего не придумаешь.

— В Ахаеве вон от бескормицы чуть не сто голов за зиму полегло — пало. Ну и ... судили.

— Судили! А что ты думаешь?! Такое безобразие развели!

— Вон тетка Дарья повезла нынче в город мясо продать. А там в магазинах колбасы разных сортов, да и мясо разное почти каждый день продают по твердой цене. Ну, ей и невыгодно. Так ни с чем и вернулась. Сама, говорит, съем за милую душу. Известная спекулянтка.

В углу за столиком, облокотившись, сидел Василий, слушал, ухмылялся, отмахивал от себя рукою дым в дыру, вырубленную для окна, в другой руке франтовато меж пальцев держал ароматную сигарету и посматривал в окно на свою привязанную лошадку.

«Бездельники мы!» — подумала Нинка, и ей стало немного грустно. — Все лето бездельники. Сколько кругом кормов. А мы подоим и по домам. Подоим — и спать. Надо взять косы и с Грушей пойти на луга... Пусть каждый за корма отвечает».

Ее мысли прервал голос Василия:

— Хабирова? Что стоишь, как часовой? Иди к нам, посиди. Сейчас я сон интересный докладывать буду.

Нина отыскала глазами Грушу. Та сидела рядом с пастухом, чуть отводя голову за его спину, сложив руки под груди, что-то шептала ему, похмыкивая степенно, цвела как мак — изводилась от ревности. Доярки его уважали. Он часто рассказывал длинные истории из прочитанных книг, он всегда брал их с собой целую сумку. А с некоторых пор перешел на сны. В последнее время ему стало сниться, как они будут жить лет через 20—30, и все в разных вариантах. Конечно, он все просто выдумывал или представлял себе самому, и каждый раз по-новому, в зависимости от настроения. Слушать Василия было интересно, его «доклады» всегда сопровождались смехом и будили у слушателей легкие и веселые мысли.

Лицо у Василия загорелое дочерна, глаза удивленные, навыкате, опущены белыми ресницами. Взглянув на него, можно было подумать, он только что проснулся. Лет под сорок, крепко сбитый, одного роста с

Грушей, он одиноко похрамывал, шагая по деревне в своих щегольских, всегда блестящих резиновых сапогах. Толстые ватные шаровары, фуфайка, брезентовый негнущийся плащ и длинный кнут под широким ремнем делали его неуклюжим и смешным, поэтому он не любил ходить, а всегда красовался на лошади. Все, кроме резиновых сапог, было на нем старым, вылинявшим под дождем и солнцем, но крепким, как и он сам. Нинка с Грушей много раз провожали его в степь со стадом. Припадая на одну ногу, будто разбегаясь, он ловко взлетал в седло и смеялся, довольный, и трепал Грушу по щеке толстой рукой, а Нинке подмигивал. Был он добродушным, удивительно дружелюбным, свойским и каким-то родным. Жил он холостяком со столетними дедом и бабкой, как дитя среди них, хозяйства никакого не имел, любил рыб, раков и охоту и чувствовал себя хозяином степи.

— Иди, Хабирова, садись!

Нинка отмахнулась и показала на губы:

— Курить бросай, Василий.

Груша нежно вынула у него изо рта окурок и быстро выбросила в окно на голубой от дождичка песок. Нинка взглянула на счастливую подругу, вспомнила ее тоску о пассажирских поездах и улыбнулась. «Ни в какие проводницы она, конечно, не пойдет!»

— И вот приснилось мне...

Это Василий начал рассказывать свои сны. Чем-то он удивит всех сегодня? В прошлый раз он видел во сне пожары, — мол, это загсы всюду горели, а рядом строили одни родильные дома. Болтал, как всегда, конечно...

— И вот приснилось мне, будто светло-светло кругом — четыре солнца на небе. И иду я в свою деревню пешком.

Кто-то спросил:

— А конь-то где?

— Не перебивайте. Коня в прошлый раз свадьбы развозить забрали. Ну вот, значит. Все честь честью. По радио опять сообщили: мол, граждане, сегодня уже третий день коммунизм, и всего вам хорошего. Все жители веселые и нарядные ходят, как в выходной. А я со степи вернулся, и меня вроде непускают. Опоздал, значит. Не зачислили еще.

— Проспал, что ли? — спросила Нинка.

Все засмеялись. Улыбнулся и Василий, доставая из нагрудного кармана сигареты.

— Нет, тут другая причина была. Иди, говорят, гражданин Василий, сначала поешь. Знаем твой аппетит. Ну, я в магазин сразки! Все как положено: прилавок, продукты, товары. И все без цены. И нет никого. Ну, обнял я за два двадцать круглую и тяжелую колбасу, значит. Съел грамм триста — и не хочу больше. Вся моя потребность. Закурил — и дальше.

Нинка слушала сегодняшний сон Василия, и ей становилось скучно. Сегодня он не в ударе, аж покраснел весь, стараясь придумать поинтереснее, да и Груша вон воровато зевнула, быстро прикрыв рот ладонью.

— А в деревне — веселье. В любой дом заходи. Стряпают, пекут, варят. Смотрю, слушаю, у кого дом всех веселее и ворота на всю степь раскрыты? Ну, конечно, Грушин дом.

Груша застеснялась, закусала губы и, вспыхнув, легонько ткнула кулаком Василия в бок. Все засмеялись.

— Дай, думаю, зайду. Чать, не выгонят, как в прошлые разы. Хоть воды подадут.

— Ну и как Грушины при коммунизме живут? — спросила Нинка, заметив, что подруга ее потемнела лицом, когда Василий упомянул о неприязни к нему ее родителей.

— А ничего живут, справно. Собак в степь повыгнали. Батя ее ручку подает, спрашивает, как здоровьичко?

Василий замолк ненадолго и, прищурившись, посмотрел на Грушу:

— Да, чуть не забыл. Груша замуж за генерала отгрехала. Обрадовалась! Не здороваются теперь!

Все засмеялись. Груша опять вспыхнула румянцем, и было видно по ее засветившимся глазам, ей приятно услышать о себе такое, и, чтобы скрыть радостное смущение, она шлепнула ладонью по спине хохотавшего Василия.

Он стал льстить всем, называл поочередно, кого видел во сне и как они живут, вдов повыдавал замуж, холостякам доставил невест-красавиц, на месте деревни построил город, построил пруд с лебедями, всем дал работу по нраву, заставил сопровождать новорожден-

ных с оркестром, вроде праздника или демонстрации, запретил разводы, болезни и смерть, всем щедро раздарил счастливую жизнь со словами «живи, пока не устанешь», — и все бесплатно. Не забыл он и Нинку. «Мурат твой вернулся», — подмигнув, сказал он.

Нинка слушала его благодушную болтовню, и на душе ее было как-то неловко. Конечно, каждый мечтает о будущем по-своему, но лучше бы было это будущее строить не во сне, а наяву, здесь, на земле, а уж такое сонное и общипанное будущее ей и даром не нужно.

Когда Василий умолк и стихли смех и голоса, Нинка взмахнула рукой и сказала:

— И врешь ты все.

Ей хотелось сразу же рассказать о будущем по-своему, как она его представляет, но не нашла слов, в голову почему-то приходили мысли только о своей жизни, о Мурате, о саманном домике, который нужно выкупить, о председателе, к которому надо идти ругаться и требовать должного расчета, о Груше и ее неустроенности, о кормах, из-за нехватки которых опять зиму придется мучиться, и о том, что все было хорошо, интересно, радостно каждый день у каждого в семье и во всем колхозе. Нет, не умеет Нинка так складно «болтать», как пастух Василий, да и не нужно это никому.

— Это мне приснилось, — потянувшись, зевнул Василий и надел на голову старую, замызганную папаху, будто мальчишки поиграли ею в футбол.

— Приснилось мне это, Хабирова!

Все засобирались выходить. Отдых закончился. Нинка напоследок бросила, обращаясь к пастуху:

— Ты вот Грушу быстро за генерала спихнул. Себе почему не оставил? Себя почему во сне обидел?

— Опоздал... — растянул Василий и полуубнял Грушу.

— На земле не опоздал вот. Сразу проснулся!

Все засмеялись, выходя из будки на песок, к реке.

— Ладно, ладно... — пробормотал Василий и, подпрыгивая, ловко, молодцевато вымахнул на седло, тронул бока лошади ногами.

...Старый тополь покрывал свисающими мокрыми ветвями крышу просторного дома, в котором находилось правление колхоза и клуб. Нинка подошла к

крыльцу и постояла немного. У крыльца молчал грузовик, груженный бочками с солидолом, накрепко перевязанными канатами. Под тополем кто-то спал в комбинезоне, разметав по траве руки. Наверное, шошевф. Рядом сидела толстая и рябая в платках баба и баюкала орущего малайку, раскрывая рот, как рыба, которой не хватает воздуха. Не здешняя... Вот едет в такую жару куда-то, к себе домой. В тени под навесом, как глыба синего неба, стояла сверкающая, красивая, словно большая игрушка, легковая машина. Нинка полюбовалась ею и со вздохом пожалела, что ни разу в жизни на такой игрушке не каталась.

Из раскрытых окон тянулся голубой табачный дым и на всю пустынную деревню раздавался басовый резкий крик председателя. Значит, он дома, на месте. Нинка почистила тапочки, оправила и застегнула жакетик и быстро вбежала по сухим поющим ступенькам крыльца.

Дубинин, бритоголовый, весь красный, в широкой клетчатой рубахе с раскрытым воротом, ругал кого-то по телефону. Не отрываясь от телефона, он поднял на Нинку глаза, прищурился, указал кивком на стул у окна, где за столом, отвернувшись к окну, молча сидел длинный худой бухгалтер и раскуривал трубку, зажав ее в кулак.

Нинка не стала садиться рядом с бухгалтером. Она не любила глухонемого. От него никогда ничего не добьешься, и нужно писать записки, чтобы он понял, что нужно. На нее бухгалтер даже не обернулся. Дубинин крикнул в трубку: «Все!» — подержал ее задумчиво и осторожно опустил на рычаг.

— Ну, здравствуй, Нина Хабирова, здравствуй! Да-вай присаживайся ко мне поближе. Знаю, знаю, зачем пришла.

«Все ему скажу. Все! Опять начнет хвалить, обещать, снова проводит до двери и скажет на прощанье: заходи всегда, в случае чего. Ну как на него обидишься?»

Нинка не стала садиться рядом с председателем, зло проговорила глухим голосом:

— Я заявление написала.

Дубинин поднялся, громадный и веселый, словно собирался обрадовать и осчастливить ее сразу.

— Да погоди ты с заявлением! — отмахнулся он. — Рассказывай, как живешь, как работается...

— Зачем «погоди». Я и так ждала-ждала. Терпенье лопнуло. Зачем долго молчишь?

Нинка волновалась, ей стало вдруг жалко самое себя, и она боялась, что от волнения заговорит и заругается по-татарски. Это бывало с ней, когда она сильно волновалась или была очень рада, или кем-то несправедливо обижена.

— Вот сама пришла. Давай решай... Справедливость... чтоб...

Дубинин вышел из-за стола, он заметил, что она волнуется, посупровел и чуть побледнел, — видно, ругал себя за то, что виноват перед нею. Так Нинке показалось.

— Ну что ж! Прочитали мы твое заявление, — произнес он мягко извиняющимся тоном. — Прочитали. Все правильно. Ерофей Кузьмич! — обратился он к бухгалтеру. — Как у нас на балансе Хабирова?

Тот курил трубку, пускал в окно дым и ничего не слышал.

Дубинин написал бумажку и подал Ерофею Кузьмичу. Бухгалтер будто ждал эту бумажку, цепко схватил ее длинными прокуренными пальцами и, припечатав ладонью к столу, заглянул в свои толстые книги, играючи пощелкал на счетах, почеркал что-то авторучкой на чистом белом листе бумаги, молча и аккуратно протянул председателю и, покашляв, снова отвернулся к окну. Дубинин прочел лист.

— Так-так... Многовато. Вот ты в заявлении пишешь, что за работу тебе положено...

Нинка перебила его:

— Я выходила сто штук телят. Это четыре выпуска. Закон эта правильный есть! Двадцать пять теленка тебе колхоз даем, один мне... Вот давай мне четыре теленка!

Дубинин покивал, улыбнулся:

— Зачем так много?

— Как зачем? Как зачем? Я теленка отдам — себе дом сменяю. Одежда куплю. Кой-чего нужно. Терпенье лопнуло!

— Не можем мы сейчас, Хабирова, сразу с тобой рассчитаться. Подождать нужно. Ты ведь одна? Одна.

Много ли тебе нужно. Вот побогаче колхоз станет, и дом тебе построим, и корову выделим. А сейчас у нас с животноводством не важно дела обстоят. Строгий учет скота... Да!

Нинка чуть не заплакала. Ей было обидно и стыдно от того, что пришла сюда просить, а нужно требовать. Требовать и не отступать. И она рассердилась:

— И-и... Обещалкин ты! Жулик твоя! Нехороший человек. Учет людям делай! Их жизнь лучше делай. Правильно чтоб. Честно! Твоя закон выполнит, миная радост будет.

Дубинин зашел за стол и сел, задумчиво бормоча: «Ну, вот что... Ну, вот что...» — замолчал. Над его большой бритой головой на стене искрилась черная стеклянная табличка с надписью «Председатель». По стеклу качался, плыл и пропадал солнечный зайчик.

Нинка не уходила. Стояла. Смотрела на зайчика, в окно на зеленые плотные листья тополя, на синюю машину под навесом и говорила, обращаясь то к Дубинину, то к Ерофею Кузьмичу.

— Я хороший доярка. Честный. Чем все, я четыре раза лучше. Пятнадцать коров доим, ходим, как за ребенком. Сто литров молока день даем. Лето плохой, корова мало кушает — все равно, как игрушка-картинка чистый. Сам знаешь!

Ерофей Кузьмич встал и, покачивая свое длинное тело, прошелся к столу председателя, положил бумагу рядом с телефоном. Дубинин прочел, вскинул глаза на бухгалтера. Тот покивал.

— Да? Ты так думаешь? Ну что ж...

Дубинин улыбнулся и хитро прищурился на Нинку. Поднялся опять, громадный и веселый, собрался обрадовать и осчастливить наверняка.

— Ах, Нина Хабирова, Нина Хабирова... Четыре раза лучше. Ну что с тобой поделаешь. Дадим тебе бычка. — Он подул на печать, шлепнул по бумаге и протянул ей.

— Ступай — получи! За остальных деньгами получишь. Не отчаивайся — жить хорошо будем. Это ты правильно сказала: нужно и людям учет делать.

Дубинин даже по плечу ее похлопал. Пусть хлопает. Она свое дело сделала. Теперь обещать не будет. Нечего обещать!

— Мурат не вернулся еще? Ну-ну... Иди. Иди, Нина Хабирова, дои и корми коров, а мне народ кормить надо.

Нинка кивнула, сказала «рахмат!» и вышла. Грузовика у крыльца уже не было, уехала и баба в платках с ребенком, уехала в свою степь... На душе стало хорошо и немного весело.

Нинка пошла за луга на взгорье, где за жердевыми белыми загонами стояло несколько длинных скотных дворов с маленькими окнами, а рядом пришлые плотники строили круглое, похожее на цирк здание, в котором будет монтироваться карусельная установка. Зоотехник объяснил дояркам, что это будет первоклассная ферма. Здесь уже выводили стада и пастухи направляли ревущий скот в степные далекие долины на предвечерний откорм по намокшим переливающимся от солнца ковылем.

Отсюда была хорошо видна вся их деревня, привившаяся к речке, и Нинка разглядывала ее будто впервые. Ей представилась она совсем другой через несколько лет, когда придет это время — светлое, большое и хорошее для всех, не такой маленькой, серой и тихой, а большой и красивой, как районное село Янгелька, в которой не будет ни одной саманной развалюхи, вроде той, Муратовой. А потом опять, через несколько лет, придет время еще светлее, еще больше и лучше, и к этому времени у всех, наверно, народится много детей и станет их деревня городом...

Вдруг она почувствовала, что ей стало грустно и одиноко, и она подумала о том, что ей хочется, чтобы то, что будет потом, стало не потом, а сейчас, не в мечтах и снах, а на земле, здесь, у нее, рядом с нею и каждый день, потому что очень уж это обидно: все время только и думать, и надеяться, и ждать, а дни проходят и проходят, а у нее даже того, что она задумала, нету.

Ей не понравились эти мысли о себе и эта обида. С чего это вдруг на нее нашло?! Она выругала себя, назвала жадной и нетерпеливой и рассмеялась. Ей-то что — и легко и свободно живется, и не такие уж у нее трудные заботы, как у других, а только вот подумалось о лучшем. Ей бы только Муратку, чтобы он вернулся, вот тогда у них каждый день была бы радость.

Через час, отдав хозяевам Муратова саманного домика четырехмесячного бычка, которого ей вручили в колхозе, она неистово стала приводить уже свой дом в порядок.

Ну вот... теперь и у нее есть свой дом на земле, личный, навсегда, в котором можно спрятаться от грозы, зноя и холода и жить и радоваться. Только вот нужно еще вставить стекла, сменить дверь и укрепить крышу.

Днем она долго и молча обмазывала его глиной, отбегала в сторонку и оглядывала, будто оценивая, а потом входила внутрь, в темноту, и всматриваясь в стены, замечала кое-где щели, в которые проваливались лохматые золотые полоски дневного света, ахала и снова принималась нашлепывать глину.

Перепачканная, веселая и суетливая, она проворными маленькими руками залепила дыры, с ласковым бормотанием гладила стены, будто успокаивала живое капризное существо, корову Машку с белой звездой на лбу, например. Ей радостно казалось, что она отвоевала-таки себе кусочек вселенной и что раз уж у нее есть свой дом, то теперь Мурат непременно вернется, и она снова оглядывала дом и с огорчением замечала, что чего-то в нем не хватает. Не хватало трубы, и чтоб из трубы шел веселый дым. А так он, пожалуй, не хуже, чем у других. Хозяева подарили ей старую кровать, которую она застелила купленными в магазине матрасом, простынями и теплым верблюжьим одеялом. В углу, там, где они спали когда-то с Муратом, раскинула кошму. На стол поставила новую керосиновую лампу. К осени в их деревне обещали провести электричество.

Над кроватью она повесила для красоты свое праздничное платье с монистами и прибила газету «Сельский день», в которой был напечатан ее большой портрет.

Она была рада как девчонка, и душа ее ликовала, и хотелось всех пригласить к себе в гости. Да и как ей было не гордиться, раз теперь она начала жить самостоятельно.

Сиреневое вечернее небо заглядывало в проем окна, Нинка зажгла лампу — в домике стало светло и празднично, бросилась на кошму, разметалась, прижимая к груди руки со скжатыми кулаками, как в детстве.

Она закрыла глаза и сразу вспомнила первую ночь

с Муратом, когда они поужинали, улыбнулись друг другу и заговорили, как после долгой разлуки. Ночь она не спала. А он уснул на кошме в углу, оставив ей топчан. Утром Мурат не встал, метался в жару, заболел. Она окликнула его, испугалась и заплакала, думала, что он умрет. Потом она сходила в магазин, купила водки, растерла ему грудь и весь день просидела около него. Вечером он узнал ее, слабо улыбнулся, сказал, что ему очень холодно, дрожал и виновато смотрел на нее.

Она налила водку в кружку, помешала ее с перцем и заставила его выпить, хотя он и отказывался.

Потом она разделилась в темноте, накрыла Мурата одеялом, прижалась к нему и обняла и лежала так, не двигаясь, согревая его своим телом. Было стыдно. И было тепло и сладко чувствовать грудями и коленями его горячее, жилистое, крепкое тело, но это было только заботой, жалостью с ее стороны, и он понял и погладил по щеке, благодарный за это ее тепло. И так они лежали долго, всю ночь, пока он не согрелся, и они не уснули вдвоем.

А утром он положил ее голову к себе на грудь и, глядя по затылку, сказал, чтоб она не уходила, а оставалась с ним навсегда и что он возьмет ее в жены, если она согласится. Она, конечно, согласилась быть его женой и никуда не уходить, потому что он был еще слаб, ее Муратка, ее батыр, ее будущий муж. Так им было хорошо вдвоем в этом саманном доме с камышовой крышей на краю деревни, рядом с дорогой и степью и речкой. Он не трогал ее, и так же она раздевалась ночью и, закрыв себя и его до подбородка одеялом, чтобы ничего не было видно, согревала, пока он не выздоровел и не поднялся.

И была у них одна особая ночь, такая хорошая, сладкая, смешная, ночь без стыда, когда она стала его женой.

Он вернулся веселый из района верхом на лошади и привез ей подарки: хромовые сапожки, белую шелковую шаль, три платья и жакет, и ножницы, и нитки, и зеркало, как своей невесте. Она радовалась, примеряя на себя платья, и смотрела в зеркало и тихо смеялась, и он смотрел на нее и тоже радовался...

...Нинка задула лампу, косматые желтые тени ухну-

ли и погасли, словно вылетели в проем окна и растаяли в сиреневом небе, которое погустело, стало плотным и синим, и там, в сини, уже проклонулась и задрожала маленькая белая звездочка. Теперь наступила полная ночь, и нужно было спать, а сон не шел сразу, дразнил бывшими видениями, заполнил все тело сладким теплом, разливая его от ног к животу, в жаркие груди, и это было острее и томительнее сейчас, в однокую ночь, чем тогда, в ту хорошую и веселую ночь, когда они с Муратом стали мужем и женой.

Так же она лежала на кошме, лежала просто так, отдыхая, а Мурат сидел рядом, скрестив ноги около лампы, чинил седло своими умными узловатыми руками и иногда поглядывал в ее сторону. И такое же сладкое волнение и тепло, как сейчас, охватывало ее всю, и было немножко боязно и интересно ждать, когда он закончит свою работу и можно будет потушить лампу и лечь спать.

Он не смотрел на нее, увлеченный седлом, и, приподнявшись, она стала быстро раздеваться, и когда она осталась совсем голой и стояла стройная и маленькая как девочка, ей захотелось, чтобы он взглянул на нее.

И он обернулся, вздрогнул, увидев ее такой, и поднял руку, словно сказал: «Не двигайся». Она не двигалась, а стояла перед ним, чуть покраснев, успокаивая себя тем, что когда-нибудь должен же он увидеть ее всю. И он осматривал ее и любовался, да, любовался, это она заметила по улыбке на его губах, по искоркам в задумчивых милых глазах. И когда он тихо отложил седло в сторону и встал, она протянула ему руки на встречу, он подошел к ней и обнял и поцеловал в губы. Первый раз. И она заплакала легко и спокойно и прижалась к его груди, и ей было приятно, что он ласково гладит ее по всему телу горячими сильными руками и целует и целует в губы. Никого нет, ей не стыдно, а только радостно.

Ей было радостно и тепло, и она смеялась от счастья, как пела, той ночью, когда они потушили лампу, не эту лампу, а другую: та была больше и светлей, и муж был ласковый и сладкий, и она боялась только, что он ее задушит, такой он был ласковый. И так много-много ночных...

Дни проходили быстро, она ждала, когда день закончится, ждала, когда возвратится с пастбища ее Мурат, когда он потушит лампу и скажет, что у них будет человек, и станет гладить ее по животу.

И так много-много таких дней и ночей заполняли их молодую согласную жизнь до тех пор, пока не нахрянул в деревню отец со всадниками. Он отхлестал ее кнутом на виду у всех. Мурат был в степи и не видел, как подхватили ее на лошадь и привязали и увезли далеко, к старому противному Мирхайдару.

Сколько раз ее привязывали, чтобы не выпала и не потерялась, а теперь вот — чтобы не сбежала...

Она не сбежала, а просто ушла. Отец махнул рукой, узнав, что она беременна, да и Мирхайдар отступил от нее. Кому она нужна, порченая?!

И через месяц она вернулась обратно, к Мурату, но его уже не было на месте. И вот теперь она здесь одна, лампа потушена, и в окно смотрит белая дрожащая звездочка, смотрит на Нинкин дом, в котором есть хозяйка, но не хватает хозяина, смотрит в ее грустные глаза, и отражается в них, и расплывается влажными солеными каплями.

Где-то под грудью толкается и бьется или ребенок, или сердце, не понять, и хочется Нинке завтра же пойти на далекую станцию, сесть в поезд, и ехать по всей степи, и спрашивать на каждой остановке про Мурата, и где-нибудь она его найдет или скажут ей, где он. И она уже едет, едет по широкой степи и всматривается в синий горизонт, над которым висит круглое желтое солнце и гремят ветра, грома и дожди, как колеса.

Ей приснилось, что едет она в поезде далеко-далеко по земле, как по небу, и смотрит в окна, и видит, как бегут рядом наперегонки быки и коровы с телятами, и мычат, и трясут рогами, а сзади сидит на коне пастух Василий в обнимку с Грушей и похлестывает отстающих телят длинным кнутом. А за ними на телегах избы и саманные дома везут, и все правление колхоза, и магазин, и все сарайки. Только развалюху Нинкину оставили в степи рядом с пустынной дорогой и речкой.

Тронулась за нею в путь вся деревня, переезжают жители. Куда Нинка — туда и они. Видно, не могут жить без нее, словно везет она с собою жизнь и все. Теперь от нее зависит: там, где найдет Муратку, там и

стадо остановится и деревня, избы расставят по порядку, все как было.

Долго она ехала и все высматривала своего Муратку, но его не было, и долго перед глазами катилось стадо наперегонки с поездом, и, сверкая белками глаз, хотел верхом на коне и щелкал кнутом Василий. И она проснулась, по-детски всхлипывая, проснулась от щемящей тоски в сердце, которую нельзя перенести и во сне.

В проем окна ударял сверкающий солнечный луч, будто золотой меч застрял в полу и дрожал. Нинка услышала охрипшие крики пастухов, потянулась в теплой истоме и откинула одеяло, засуетилась, разговаривая сама с собой. Конечно, если она сядет на поезд и поедет далеко-далеко искать Муратку, никто не побежит за нею, ни коровы, ни деревня, все останется здесь, у речки и у дороги... И все-таки сон ей понравился, да и все другие сны у нее были только приятными.

И опять начался новый такой же день, как и вчера. Только теперь она была уже хозяйкой. Ей казалось, что остальное не так уже важно. Сегодня, во всяком случае.

После утренней дойки и до полдня она бегала по деревне и окрест в поисках дерева. Ей хотелось обшить мазанку дранкой, или фанерой, или еще чем, чтоб не обваливалась глина.

Она опять поднялась на взгорье, что за лугами, где плотники все строили и строили свою круглую ферму.

Она ходила около них, посматривая по сторонам, видела много бревен и досок, стружки и чурбаки и все не решалась взять или попросить что-либо, потому что плотники были молча заняты своей важной работой и строго, как ей показалось, визжали пилой и колотили по дереву топорами.

Она долго еще вертелась около них, а они совсем не замечали, и когда она увидела много маленьких желтых прямых досок, то решилась взять несколько. Взяла одну, еще одну и еще две и, прижав к груди, хотела было идти, и когда взглянула на плотников, один из них не стучал топором, и смотрел на нее, и улыбался, а когда она пошла, он вдруг перестал улыбаться и крикнул громким басом так, что она испугалась:

— Эй, гражданка! Гражданка! Не трог. Положи планки на место.

Он покачал головой и с укором еще раз повторил:  
«Эх, гражданка, гражданка...»

Нинка обрадовалась этому слову, как подарку, и положила планки на место. Он глазами указал ей на большие угловатые щепы, что лежали рядом, и разрешил набрать их сколько угодно.

Сколько угодно ей не нужно было, ей нужно было несколько, чтобы не обваливалась глина.

Возвращаясь к себе, она чувствовала, что будет радоваться весь день, но не потому, что достала дерева, а потому, что ее уважительно называли гражданкой.

Она кое-как все-таки приколотила по стенам эти чурочки. А потом забеспокоилась о подруге.

Груша сама откуда-то пришла к ней и устало опустила руки. Во всей ее фигуре не было той статности и пышности, которым Нинка завидовала. Тихая и невыспавшаяся, с подойником в руках, Груша тяжело шагнула ей навстречу и нарочито весело поздоровалась:

— Здравствуй, хозяйка! Как спалось в новом доме? — Потом присела у двери на чурбачок и пригладила волосы. Красные сережки на ушах затрепетали, на белой круглой щеке прилип зеленый листочек.

Нинка увидела в ее глазах тоску, и отчаяние, и радость и тревожно подошла к подруге. Такой Нинка ее еще не видела.

— Эх, Нинка, Нинка...

Груша глухо зарыдала.

Нинка напугалась от мысли, что так может плакать человек, ей близкий. Подруга прятала лицо в ладонях и покачивалась из стороны в сторону, как от зубной боли, а потом откидывала голову назад и, открыв свои синие глаза, снова закрывала их и снова опускала свою голову на ладони. Зеленый листочек упал с белой круглой щеки и застяжал на шее, в вырезе кофты. Нинка осторожно положила свою руку на плечо подруги и, неуклюже шутя, нежно попросила:

— Не плачь. Красоту смоешь.

Груша чуть опомнилась и снова пригладила волосы.

Нинка спросила:

— Кто обидел?

Груша усмехнулась.

Нинке не было понятно, почему та усмехнулась, и они одновременно посмотрели друг другу в глаза.

Груша отрешенно произнесла:

— И никакая я не красивая. Несчастная я.

— Ну конечно! Не так родилась, скажи.

Нинка потрепала своею маленькой рукой ее щеку и ласково повторила вопрос:

— Кто обидел?

Груша облегченно вздохнула и сказала:

— Он... теперь мой муж.

Нинка поняла, о ком идет речь, и засмеялась:

— Ну, как человек он тоже не подарок!

У подруги синие глаза стали гуще, темнее, брови ее поднялись недоуменно, и она удивленно спросила:

— Да? — Лицо у Груши сделалось строгим. — Говорю ему — сделаю аборт. Так он меня побил.

Нинка растерялась сначала, а потом рассердилась:

— Мало еще бил!

Когда Нинка сердилась, она переходила на татарский акцент и на возглас подруги: «Ой, Нинка! А вдруг он меня бросит?!» ответила жестоко:

— А ты ему еще малайка таскай, таскай — больше денег платить будет.

— Не будет. Не расписаны мы, — устало выдохнула Груша.

Нинка возмутилась:

— Как не будет? Как не будет? Живот твой — малайка его!

— Он сказал, что мы поженимся и будем жить как все люди.

— Правильно! Ха! Аборт... Мало еще бил!

Нинка обрадовалась чужой радости и увидела, как засветились глаза у подруги, и подумала о том, что Груша ревела от боязни рожать в первый раз, от тревоги за себя и Василия. Она мысленно обозвала Грушу «счастливой дурой» и пошла надевать халат, чтобы во время успеть к дневной дойке.

После дойки, когда сыто мыкнула, напившись воды, последняя корова, начался полдень.

Доярки разбрелись по селу со своими заботами, главной из которых была: дети. На берегу со стадом остались только Нинка и Груша. Груша скинула кофты, расстелила их на траве, взглянула на задумавшуюся

Нинку, словно приглашая прилечь, но потом махнула рукой и рухнула как подкошенная, вытерев глаза.

Плынет и качается по степи зной, все звуки глохнут, небо спит, и солнце, дыша жаром, тоже тяжело и равнодушно смотрит на весь этот задремавший ковыльный мир. Только тонкая синенькая речка торопливо катит свою холодную водичку сквозь камыш — боится обмельеть.

На песке, поросшем осокой и лопухами, недвижно покоятся мудрые коровы. Они лежат кто где, рыжими глыбами, большей частью поближе к пойме, где река около глиняного обрыва течет не течет и вся усыпана желтыми солнечными лучами. Вьются над камышом комариные грязные облачка. Нинка одиноко стоит на горячем белом песочке около тальниковых прутьев, трогает повядшие стручковатые листья и сонно взглядывает в даль. Ее тоскливыи взор теряется далеко-далеко, на низком горизонте, там, где поблескивают, и колышутся, и струятся в мареве серебряные рельсы, которые словно плавятся в душном воздухе.

Ее успокаивает какая-то приятная, промелькнувшая, еще неясная мысль, и ей нравится этот полдень с его бледным небом, дымками, сухой травой, нравится и то, что солнца почти не видно и небо словно сгорело, и то, что зной придавил ковыли.

Тихо. Время будто остановилось, улеглась пыль, не бродят куры, по дворам попрятались собаки, и только где-то на краю деревни жалобно поскрипывает колодезный журавль.

Ей нравится отмечать и слушать это. Она залюбовалась, как из-за горизонта небо начали опоясывать голубые полосы, быстро расти и пропадать где-то у нее за спиной и оставаться в небе долго-долго, а потом незаметно таять. «Летчики играют», — сказала ей однажды Груша, когда она испугалась гулкого грома на пустом синем небе.

Вот и теперь летчики играли, и гром, прокатившийся по небу, ее обрадовал. Нинка как бы вбирала в себя горячий воздух, в котором звонко долбят кузнечики, и ей хотелось вот так, стоя, уснуть, закинув руки за голову, отиться этому тихому летнему полдню и раствориться в нем.

Она прищуренно скользит сонным взглядом по сте-

пи и небу, и шевелит губами какие-то ласковые слова, и успокоенно, свободно дышит.

Все остановилось, оцепенело, затихло, только она одна не затихла, и ее все тянет какая-то неведомая, светлая сила в полет, в небо, пролететь над степью. Она видит, что вокруг нее все золотое, и во всем этом она ясно различает родные черты улыбающегося лица Мурата — мужа своего. И она все шевелит губами свои какие-то ласковые слова, и теперь часто дышит и дышит, и вот наконец выдохнула из груди плавный звук, похожий на стон, и испугалась, а потом поняла, что это не стон, а просто это она запела, запела тонко и чуть звенящие, и, очарованная этим своим голосом, вслушивается в знойную тишину, в которой тоже звенит плавный звук, похожий на ее голос, и теперь она уже чутко слушает эту знойную тишину, в песне которой можно услышать отдаленный стрекот мотора, звяканье уздачек, перезвон кузнечиков и слабое гудение комаров, и вот уже их голоса, ее и тишины, как бы слились, и эта тишина повела свой и ее голос куда-то далеко, за речку, в темное марево, ей радостно от того, что она услышала и уловила ту невидимую ноту, на которой звенит зной, на которой поет вся степь, и еще от того, что такое удается только ей. И она поет самозабвенно, очаровываясь и вздрагивая от радости, поет, сливаясь со всем небом, солнцем и степью, так поет, словно хочет, чтобы все люди на земле услышали ее, Нинкин, голос, и когда все на земле услышат, то где-нибудь, на другом конце земли, услышит ее голос и Муратка, услышит и непременно откликнется.

...На желтом небе, на узкой степной полоске земли маленький человечек пел свою большую печальную песню, и не было ей конца, как нет конца у земли и неба.

## Эти двое в метель...

С утра ему не давала покоя где-то слышанная фраза: «Я иду по земному шару...» Он повторял ее с удивлением и гордостью и пристукивал ногами, словно проверяя землю на прочность, ощущая ее окружность, покатость и шероховатость.

Теперь, когда можно запросто слетать «в гости к богу» и в небесах летают корабли, спутники, ракеты, как-то обыденно и неточно звучали бы слова: «Я иду по земле...» Нет, именно: «Я иду по земному шару...»

Он, Андрей Местечкин, заводской художник-оформитель, шел по земному шару, перешагивая через сугробы и голубые холодные трамвайные рельсы, усталый после заводской рабочей толчей, шел к Елене, восторженный от любви к ней, и впервые боялся за сердце. Эх, жаль, что любимой «Примы» он так и не нашел в магазинах. Он-то к махорке привык очень давно, еще будучи студентом Академии художеств, из которой он ушел с третьего курса, поняв, что большого художника из него не получится. Особенно он пристрастился к махорочке в армии, служа на Северном флоте.

Досадно только, что сегодня придется курить махру в доме Елены: она терпеть не может густого и острого дыма. А ведь именно сегодня он скажет ей все, и разговор, наверное, получится нелегкий. И потому было бы неплохо покурить что-нибудь поароматнее, да и хорошее вино не помешало бы.

Все должно быть до предела ясным: и то, что он скажет ей, и то, о чем она будет говорить, и то, что последует потом. Короче, он ее любит и сегодня предложит ей стать его женой. Сегодня он станет «в полную

меру человеком на земле», как говорит мастер Бочкарев. Его мастер по разливке стали намекал на это потому, что Андрей с его дочерью дружит уже два года...

А сватать идет все-таки другую...

Елена, конечно, в зеленом платье, с небрежно распущенными золотыми волосами. У нее красивые волосы, особенно в полутьме, когда она с ногами на диване слушает радио и ждет его. Да, ждет, он звонил ей из цеха. «Непременно приходи!» — вот как она ему сказала.

И ему думалось: на земле все хорошо, и падает пушистый снег, и уходят от остановок трамваи, и где-то в стороне от него, в милой жизни, какой-то чудак, городской архитектор, вознес над жилым домом башню с колоннами и шпилем, откуда можно наблюдать звезды, и мечтать, и говорить о чем-нибудь хорошем.

...Да, он вернулся в родной город с флота. Грипп и ангина его не брали. Закалился! Вот раскроет воротник снегу навстречу или метели какой — все нипочем!

Вернулся в мартеновский цех. Мастер Бочкарев сразу как-то отметил его. Бочкарев — хитрый мужик, солидный, степенный, быстро увидел моряка, его силу и любовь к стали, да, любовь... А когда в третьем мартеновском цехе старая печь, на которую кое-кто уже махнул рукой, вдруг выдала сверхплановую сталь, Бочкарев, любимый сталеварами мастер, ну прямо расчувствовался и сказал всем и Андрею: «Вы того, ребята, приходите ко мне домой в гости. Помидоры есть у старухи, вкусные...»

Вот там и с дочерью его, Оленькой, подружился.

Работал. Получал зарплату. Деньги честные, большие — можно жить. Думал: хорошо бы жениться на Оленьке. Нежная, умненькая, грамотная... Педагогический институт кончает. Учительницей будет.

И надо же — все к черту! Пришла такая напасть. Узнал Арнольд Гавrilovich, председатель заводского комитета, от начальника отдела кадров, что он, Андрей Местечкин, учился в Академии художеств...

Пришел председатель завкома прямо в цех, посмотрел на Андрея в работе и сказал: «Это вы товарищ Местечкин?» И, отведя его от печи в сторону, доверительно добавил: «Приезжала комиссия — выговор всему заводу. Потому что у нас нет оформления, нет плакатов

и лозунгов... Идем-ка к нам, в завком! Четыре ученика будут у тебя в команде...»

Андрей подумал тогда: ему и у печи хорошо.

В то же время он вдруг почувствовал, что слова председателя завкома вызвали острое желание снова вернуться к искусству, и понял тогда, что желание это никогда и не уходило, а только долгое время подавлялось им. И поэтому сказал честно, глядя в глаза товарищу Арнольду Гавриловичу:

— Да, конечно, я смогу. Я когда-то учился на художника. Попробую! Но ставлю условие: зарплату мне платить как сталевару.

Арнольд Гаврилович чуть подумал и радостно хлопнул Андрея по плечу:

— Да это мы сразу утрясем!

Андрей действительно старался украсить завод плакатами, портретами, и ему казалось, что рабочие, приходя на тяжелую работу, видят себя и им приятно, что кто-то о них заботится, думает...

Трудился над километровыми лозунгами. Тоже уставал. Правда, прибавилось много свободного времени. Можно подумать и о творческой работе, о своей картине, на которой виделись ему матросы, корабль — то, что успел полюбить во время службы на флоте. А тут...

А тут — встретил! Человека на земле! Женщину! Елену!

Вот как это было.

В городе впервые открылась персональная выставка скульптора — слепой женщины.

Андрей был приглашен старым художником Саловым, заслуженным деятелем искусств, седым и скромным старичком, у которого он когда-то учился в кружке. Да, он был приглашен на эту выставку. Женщина, слепой человек, скульптор, выставила на обозрение свои работы. Андрей, чувствуя холодную дрожь в ногах, смотрел эти работы.

...Бетховен, тяжелые волосы закрывают глаза, а в них — буйство... Коснулась сердца музыка...

...Птица, похожая на стрелу... В полете расправила крылья, а клюв готов попробовать зерно или готов за克莱вать врага... Человеческие лица. Вот Диоген, только что вылезший из бочки. Ему помешали мудрствовать, ему заслонили солнце...

Вот военный. Не тот, мухинский, а другой... Готовый к боям, с тремя шпалами в петлицах, кадровый советский командир. Он готов к войне, к защите Родины.

Вот мальчик. Курносый, зло прищуренные глаза. Чувствуется, подбородок дрожит. Наверное, его обидели или сказали: «Нельзя!»

Еще лица, еще образы, мысли, тревога...

Андрей все понимал и завидовал, и все гадал: как же она, слепая, видит лучше, чем тысяча зрячих, вместе взятых?!

Они, молодые художники, пришли вместе с заслуженным деятелем искусств к ней домой. Поздравили ее. Скульптор, маленькая, седенькая, слепая женщина, принялась всех угождать сдобой и замысловатыми домашними пирожками; кто-то поставил большой чайник на электроплитку, а Андрей все тянулся куда-то, где должна быть ее мастерская. Ну да, вот она — в чулане, около кухни, в котором он мельком в просвете двери увидел другие ее труды!

Они все вошли в мастерскую. Там было много оконченных скульптур, но еще больше только начатых или брошенных.

Андрей все ходил и тихо спрашивал:

— Смотрите!.. А что это?..

В грубо сколоченном из досок корыте насыпан песок, рядом — глыбами засохшая глина, над нею капающий водопроводный кран, некрепко завернутый, и в середине чулана обвязанная мокрыми тряпками грудь и голова... кто и что это?

Андрей взглянул на женщину с золотыми пышными волосами, закрученными на затылке в косы. Она была похожа на скульптора, но совсем молодая. С усмешкой раскрывала она тайны, знакомые только увлеченному художнику.

Андрей, всматриваясь в ее лицо, залюбовался ею, и, когда ее зеленые чистые глаза встретились с его взглядом, они подали друг другу руки и познакомились. Это была Елена.

Он, конечно, как и все, ел сдобу и пирожки и пил коричневый душистый краснодарский чай у нее в доме, сидел на стуле с расшатанной ножкой, как на иголках, и все время не мог понять, отгадать, чему радоваться: настоящему реалистическому искусству слепой художни-

цы-скульптора или знакомству с ее младшей сестрой, Еленой, красивой и недоступной учительницей истории в старших классах.

Она с таким волнением говорила о своей работе в школе, педагогике, о том, что ей не нравятся учебники по истории! Ведь это надо подумать, она говорит такое: «Педагоги-историки — несчастные люди... Я бы запретила до восьмого класса преподавать «Древний мир» и «Средние века». Я бы начала с истории нашей страны... А теперь, сейчас, на конкретных примерах, на сравнениях, легко убеждала бы, какой стала наша Родина. Ведь история, я имею в виду жизнь, каждый год здорово меняется. А мертвые учебники о древности мы просто зубрим сейчас на уроках, и ученики, наши граждане, зубрят... Больно все это!»

Андрей хоть и не во всем был согласен с нею, но с интересом слушал ее, когда она говорила о том, что детям, школьникам нравятся Спартак, князь Олег и коммунары... «Они это сердцем воспринимают. Многие же зубрят... А я бы хотела так хорошо и интересно преподавать, чтобы они со мною брали Бастидию».

Уже потом, когда они успели о многом поговорить, познакомиться поближе, он узнал, что Елена была замужем, что муж ее архитектор, ушел добровольцем на фронт, и что он хороший человек, хоть и старше ее, погиб в последний год войны в самом Берлине, что если она и полюбит, то только честного, боевого, талантливого, каким был ее муж, незаменимый человечище. Елена однажды сама, первая, поцеловала Андрея, когда он сказал о ее муже: «Жестоко, он был добр, талантлив, и он погиб».

Андрей понимал ее: хоть он не был на войне, но солдатом все-таки был и знал, как нелегка она, служба. И чем больше узнавал он Елену, тем больше любовался ею.

Да и то сказать, она была хороша: с чистым лицом, крепко сбитая, с умными глазами, и губы чуть припухшие, гордая белая шея с припудренной родинкой, и вся фигура ее, плотная, с тугой грудью, и походка, степенная, важная, и еще голос, грудной, насмешливый и успокаивающий, услышав который, хочется радоваться и петь, — вот какая Елена!

И он, Андрей, шел сейчас к ней.

Сегодня исполнился ровно год их дружбы, год его любви к ней.

Вот и ее дом. По проспекту понавешены абажуры; лучи света от колпачковых фонарей веерами расходятся по снегу.

Третий этаж. Нужно стучать в стену ее комнаты. Вот так: «раз-два-три».

Она увидела улыбку на его лице и сама улыбнулась ему навстречу. Положила руку ему на плечо:

— Пришел? Вот и хорошо. Садись, Андрей.

И когда он сел на диван, облокотившись на валик, и преданно стал смотреть на нее и ловить ее взгляд, она грубовато, но не больно взяла его щеки мягкими руками, всмотрелась в его глаза:

— Вот такой ты мне нужен. Ты мне нужен весь. Весь, без остатка! Ты меня понял? Вот так. Устал?

Она включила репродуктор, стоявший на спинке дивана, и поцеловала Андрея стремительно и доверчиво.

— Сейчас я сварю кофе.

Он с какой-то сладкой тревогой представил себе, как хорошо они станут жить, когда Елена будет его женой, насовсем, навсегда.

Елена ставила на стол чашечки, хлеб и масло.

Он улыбался.

И музыка, и Елена, и включенный верхний свет, и зелено-розовый свет торшеров-тюльпанов нежно успокаивали душу уютом, и это чувствовалось так, словно вдруг хорошо и красиво поешь песню.

Пили вкусный, душистый кофе и поглядывали друг на друга посмеиваясь, будто знали какую-то очень важную тайну, известную только им обоим.

Елена попросила рассказать что-нибудь, «что-нибудь очень-очень интересное!»

Андрею вспомнилось многое, и все было незабываемо, но почему-то сейчас, в тепле, уюте, рядом с Еленой, его будущей женой, больше всего вспоминалось почему-то тяжелое, тревожное время войны. Он говорил с болью, а о себе с легкой ironией:

— Знаешь, в войну после ремесленного мы работали на заводе. Я мальчишкой подручным сталевара был. Ну... голодно. Мне по карточке килограмм хлеба полагалось. А дома делили пополам, в общем...

Андрей покраснел, взял из хлебницы ломоть белого хлеба и, прищурив глаза, долго смотрел на него, а потом положил обратно.

— Однажды я потерял новые хлебные карточки. Получил на месяц и все потерял...

Елена окаменела, хмурая, сосредоточенная.

Андрей посмотрел на Елену, она слушала.

Он вздохнул:

— Прости... Не могу я дальше об этом.

Елена сказала:

— Не надо. Это жестоко. Не рассказывай.

Андрей взволнованно произнес:

— Я обязательно когда-нибудь напишу картину «В военные годы», про завод, про нас!

— Да, да! Это интересно, напишешь, милый. Но почему когда-нибудь, а не сейчас?

— Не получится.

— Сможешь!

Андрей улыбнулся и благодарно кивнул ей, а потом доверил:

— Лена, знаешь, что я тебе скажу... Я вернусь в цех. Я не хочу разукрашивать завод. Понимаешь, это плакаты, лозунги... Я один, оторвался от своих, в мартеновском цехе, только вздохнешь — жизнь, люди...

Елена прислушалась, потом, словно спохватившись, перебила:

— Нет, нет! Ты сгоришь там. У тебя теперь много свободного времени. И вот теперь-то ты сможешь подготовить себя к большому труду. К картинам! Ты художник. Не забывай этого.

— Я неуч.

Сказав это, Андрей махнул рукой. Елена откинулась на спинку стула, и голова ее с распущенными волосами, освещенная розовым светом торшера, казалась охваченной пламенем.

— Ты боишься... А твое — это картины, картины... Ну, что же, помечтай.

Ее голос стал каким-то холодным и далеким, и этот ее голос продекламировал чье-то стихи:

— Из чего твой панцирь, черепаха? —

Я спросил и получил ответ:

— Он из мной пережитого страха,

И брони надежней в мире нет.

Андрей молчал и смотрел на Елену. Обиделся, сказал со вздохом:

— Кто-то из нас не прав...

Елена заметила, как он прячет свои глаза от ее взгляда, поняла, что он обиделся, — совсем не к месту было читать это четверостишие. Она встала, подошла к нему, положила руку на плечо, другой шутливо погрозила:

— Ну, ну! Не сердиться! Сегодня ты останешься у меня. Уже поздно. — И села рядом. — Я постелю тебе на диване.

...Долго молчали. Свет был потущен, и темнота скрывала их обоих, и они не видели друг друга.

Елена сказала в темноте, что ей вставать в шесть, к восьми нужно идти на уроки, и завела будильник.

И вот сейчас будильник тикал и представлялся в темноте огромным, во всю комнату.

Андрей тоже встанет в шесть и проводит ее до школы.

Он услышал ее голос, громкий, почти у уха, словно она наклонилась над ним. Будильник будто замолк.

— Андрюша, о чем ты думаешь?

— О тебе.

Он чуть не задохнулся от того, что она здесь, рядом, в этой комнате, от того, что они вместе.

— Какие мысли тебя тревожат?

Андрей боялся пошевелиться, так было хорошо ему сейчас, и он стал говорить тоже тихо, куда-то вверх, в темноту, подыскивая слова:

— Детства жалко. Я бы рос не так. По-другому бы рос — правильней! Вчера видел плохой сон. Проснулся будто, а города нашего нет. Начисто. Только я один, в пустыне. Подумал — погиб город. Война. И долго искал тебя. Все шел и шел.

Елена произнесла медленно, жестко и звонко:

— Я понимаю тебя. Нынче многие думают об этом. О войне и мире. И многим такие сны снятся.

— Я счастливый сейчас. А ты?

— Угу... Спи, художник.

— Поговорим еще. О стране, обо всем.

Говорили долго. В темноте работал будильник, добросовестно отсчитывал время. Потом не стало слышно и его. В комнату входили добрые, милые сны. Андрей

видел во сне, как он сделал Елене предложение, она согласилась, и гости принесли на свадьбу в подарок много будильников, которые почему-то трезвонили без умолку... Жаль, что это только во сне.

Андрей не был у Елены целую неделю.

Он все-таки вернулся к огню, в сталевары, в свой мартеновский цех. Неделя была заполнена горячей и тяжелой работой у печи. С непривычки он страшно уставал, да и шутка сказать, вместо кисти всю смену орудовать лопатой, пикой и на жаре...

Может быть, он еще и не решился бы вернуться в цех, но завод запорол план по стали. Тут уж не до километровых лозунгов. Все — на прорыв! И Андрей тоже.

Когда Андрей, предварительно договорившись с мастером Бочкаревым, объявил в завкоме, что уходит в цех, разговор получился бурный.

Арнольд Гаврилович разложил на столе эскизы оформления: по всему фасаду завоудования в диаграммах и цифрах достижения и призывы: «Даешь!» Их много было этих «даешь». Большой плакат со сталеваром...

— Вот этого понаряднее на главный вход нарисуй! — сказал он, делая вид, что не принял всерьез слова Андрея.

— Разве вы не слышали? Я отказываюсь, Арнольд Гаврилович.

Предзавкома, очевидно, еще надеясь, что решение Андрея не окончательно, будто не слыша, шутя показал руками на уши. Но Андрей не принял шутку.

— Да, отказываюсь. Сейчас эти плакаты не к месту. — Андрей смешал эскизы и отшвырнул плакат на пол.

Предзавкома вдруг перешел на «ты».

— Ну как ты можешь?.. Да ты понимаешь... завод! Металлургический комбинат! Он должен быть нарядным! Как дворец! Как родной дом! И мы должны призывать людей работать лучше...

Андрею представилось бушующее расплавленное солнце в печи, строгие, чуть серые лица сталеваров и пот, пот... — и он, указывая на эскизы, зло глядя на предзавкома, сказал, почти не думая:

— Это художественное очковтирательство!

Арнольд Гаврилович устало воскликнул:

— Какое? Докажи! Если бы мы для рабочих ничего не делали, а только лозунги и плакаты развешивали, вот тогда ты был бы прав. И недооцениваешь ты значение наглядной агитации... К огню я тебя, Андрюша, не пущу. Эх ты, дурья башка! Нас много, тысячи металлургов. А вас, Репиных, всего пять душ на весь завод. Понимать должен.

Вошедший в завком мастер Бочкарев взял сторону Андрея:

— Уйдет он от вас, Арнольд Гаврилович. Уйдет, помните мое слово. — И заговорщики подмигнули художнику.

— Уйдет? Решили, значит... Но и он понять должен: цех — это одно, а весь завод — это важнее... и рабочий домой вернуться должен с хорошим настроением. Ну, как бы это сказать: из дома — в дом!

Арнольда Гавриловича все любили, знали, что болеет он душой за завод, много делает нужного и полезного, и главное, человека умеет понимать. И тогда Андрей сказал ему, что картина, над которой он работает уже второй год, подходит к концу, а покоя ему нет. Арнольд Гаврилович подумал и устало махнул рукой:

— Эх ты, солнышко... Ну, будь по-твоему...

В мартеновском цехе, у печи, выдавая огненные плавки, хоть и было очень тяжело и томила ежедневная мысль, что на такую работу нужно ставить богатырей, Андрей обрел утраченную за последнее время веру, что в жизни его все идет как надо.

Бочкарев однажды после смены сообщил: «Олюшка спрашивала о тебе».

Это нужно было понимать так: «Что, мол, не зайдешь в гости?»

Что Олюшка?.. Студенточка пединститута. Красивенькая и в меру умненькая. А он любит Елену. Елена для него — королева. Такая, если возьмет за руку, то поведет на край света...

Неделю он не приходил к ней: был у огня. Бросил кисти к чертовой матери, о картинах и думать забыл.

И вот теперь он не то чтобы боялся идти к ней или испытывал страх, а просто чувствовал неловкость, и стыд, и угрызения совести, словно он предал

друга. И он боялся, что Елена именно так и подумает.

Сейчас он возвращался с работы пешком, не любил в часы пик толкаться в трамвае; шел по бетонным холодным плитам заводского моста, и горделивая фраза «Я иду по земному шару» уже не будоражила его, как неделю назад. Он просто шел. К себе домой. Рабочий парень.

Бочкирев сказал ему вчера после смены: «Я ей, Олюшке, мол, ты к нам вернулся в цех, значит. Так у нее весь вечер душа-то петухом пела. А когда ты ушел от нас в художники, она про тебя вот так, пальцем в висок постучала: мол, у него в голове...» Андрей тогда узнал, как в душу входит холодное зло, и ответил: «Может, и так... И, если хотите знать, у нас с Олей не любовь. Мы друзья уже два года. Старший брат и младшая сестра».

В душевой Бочкирев тер ему спину и, смеясь, приговаривал: «Если бы, Андрюша, человечество состояло из таких парней, как ты, то давно капитализм загнулся и были бы на земле кругом только цветы и родильные дома, а слово «война» считалось бы последним ругательством».

Долго Бочкирев смеялся потом, одевались уже, а он все смеялся. Почему и зачем Бочкирев сказал ему так тогда? Непонятно. С подковыркой, да? Наверно, рассердился, что, видите ли, его Ольгу не любят...

Ну, не может он, Андрей, жениться на Ольге... А в гости надо сходить. Да и Олю давно не видел. Елена...

Она сказала ему прямо, не в укор, задушевно: «Ты плохо знаешь жизнь...»

Да, он плохо знает жизнь, свою страну, хотя и много думает о ней. Вот разве Север... Когда служил на Северном флоте, ходил на разные острова... Но знает он только Баренцево море. Ленинград знает, Академию художеств, Невский... А дальше — вся железная дорога, напрямую Ленинград — Урал. Страна из окна вагона...

Страна, Бочкирев, Оля, Елена, кисти, краски, беско-зырка и тельняшка в чемодане и гудящая мартеновская печь с ярким солнцем в утробе... Переполох в душе какой-то!

...Андрей остановился на заводском мосту, посередине города. Справа жилые дворцы — дома в огнях, слева — шумный завод в огнях. А здесь, на мосту, темно,

дуют ветра и морозно. За спиной натужно двигаются машины и железно лязгают трамваи, будто вот-вот наедут на него. Он это чувствует спиной, а сам думает: не наедут...

Трамваи, полные пассажиров, увозят по домам другие переполохи в душе людей, а может, и счастье, и горе, и восторги, и раздумья — всего помаленьку. Стало тепло от этой мысли.

Он любил останавливаться на этом чугунном мосту, смотреть на бетонные быки, в темные тяжелые воды реки Урал и считать в них отраженные огни города. В такие минуты что-то высокое, тайное, торжественное и сокровенное толкается в душе, и на семи ветрах непременно думается о России, о милой Родине, а также о своей судьбе.

Наверное, все так...

Тише, сердце,тише... Отсюда, с моста, можно посмотреть на страну. Завод и город — тоже страна. Твоя страна!

Здесь, у берега, река закована в ледяную броню, и на ее стеклянных плитах голубовато искрятся отраженные с неба звезды, а подо льдами чудится седая неугомонная волна, так и ходит она, так и ходит, поворачиваясь подо льдом, где ей тесно!

Ветры неистово-шальные ухают с небес и, смешав дымы и облака над пламенем заводских труб, всю ночь колышут воды. И пахнут степью, металлом, горклым запахом знойных печей, столетней уральской сосной и льдом космических глубин.

Вот такие здесь ветры на заводском мосту!

Отсюда, с берега, через завод и город, через степь поразбежались все дороги в иные, дальние края и миры...

Тише, сердце,тише... Прислушайся, что навевает Россия! Вот весной растопятся снега, сойдут со всех полей, волна взломает тугую броню льдов и сдвинет их на берег. А там! Начнется в мае веселая страда, пашни задышат урожаем, и над первой зеленью встанет молодая зорька. И начнут хлеба шагать по глобусу!.. А ведь еще в запасе есть пустыни да и тундры звонкий горизонт...

Андрей по-мужски крякнул от охватившего его волнения — он любил это состояние, когда вдруг обретал

способность думать как художник. А мысли звали его все дальше и дальше, и ему уже хотелось к океану, флоту, к кораблям и якорям, захотелось увидеть костер — жар-птицу, сказочной живой воды вдоволь попить в большом кругу вместе с богатырями, а потом обнять, как Антей, родную землю и — к горизонту, во весь рост!

Хорошее настроение, прекрасное желание... И просто народился на свет человек, Андрей Местечкин, и живет на земле, работает и любит. А рядом плечом к плечу — его страна.

Андрей вздохнул, почувствовав умиление в душе, и внезапно вспомнилось детство: зеленые яблоньки по краям пыльной дороги и деревянный мост через овраг, буйные заросли крапивы под мостом, он, босоногий, бегущий с ревом за гремучей отцовской телегой: не взял с собой; и голубой дождь помнит, и как подставлял ему ладошки, и как, накормив воробьев хлебцем, пугал их, притулившихся живыми комочками за оконной стrelкой...

Это было далекое детство, будто приснившееся, будто где-то и когда-то он видел со стороны веснушчатого карапуза в отцовском картузе с треснувшим козырьком, человечка с голым животом и пупом-пуговкой посередине.

Об этом написать картину. В его детстве все было русское, как береза. И Елена русская, как береза.

Вспомнил с грустью слова Елены: «Счастливые вы люди, художники... и вообще. Картины могут смотреть миллионы людей. Она как бы государственная ценность. Писатель напишет книгу — ее читают все. Создаст архитектор чудесный проект города — и в домах живут люди. Ты понимаешь: это для всех. Навечно! И это в себе нужно беречь и растить...»

Но он ведь еще не художник. Да, он напишет картины. Вот эту!.. Андрей оглядел все вокруг: завод — огни, город — огни, льды, небо в звездах. Прямо с заводского моста вид: в жизнь, в мир. И еще он напишет другую: лица сталеваров, их глаза, улыбки, освещенные светом плавки, лица, сосредоточенно смотрящие прямо в солнце, ворочающееся в печи. Вот так он напишет. Вот так. Только лица. И только огонь.

Но это потом.

И вдруг толкнула в сердце острую боль, жалость и восхищение: старшая сестра Елены, слепая, на кухне сейчас лепит из глины свой новый шедевр. Трудится...

А он — потом... Он пойдет не домой, а к Елене. Прямо с моста, по земле, по улицам, к дому, к ее окну, в ее комнату, к ее пытливому взгляду...

И Андрей зашагал, понес к ней весь свой душевный трепетный переполох, чтобы или извести, или обрадовать ее, Елену, тоже пока как бы закованную в броню.

Елены дома не было. Он узнал от ее старшей сестры, что она в школе, что ей нездоровилось и что она ждала его. Школа находилась рядом. Он несколько раз провожал и встречал Елену, хотя ни разу не заходил в красивое здание с большими окнами.

Сегодня он вошел туда и сел на скамеечку возле лестницы, в тени. Дежурная сказала ему: «Вот здесь ожидайте». Он ожидал. Ему казалось, что он слышит голос Елены, постукивание каблуков по бетонным ступеням, и напрягся, вслушиваясь в школьную тишину.

Вечерние часы, свет в вестибюле, глухие голоса за стеной, чистота, как в детсаду, дремлющая дежурная в пуховом оренбургском платке навеяли на Андрея какую-то безотчетную тревогу, и ему живо представилось, как он увидит Елену, поднимется со скамеек и шагнет ей навстречу, станет извиняться, а она сделает гневное лицо, накричит на него... Да, не был неделю, а в жизни его столько изменилось, и она ничего не знает...

Впрочем, кричать здесь не полагается. Просто она презрительно усмехнется и пройдет мимо, не узнает его.

И тогда ему вспомнились их сердечные разговоры в темноте, ее горячие губы и прохладные руки, обнимающие его, и ему опять живо представилось совсем другое: как они увидят друг друга, обрадуются, обнимутся крепко-крепко, не оторвешь!

Андрей кашлянул и услышал: где-то наверху, по ступенькам лестничного пролета спускались двое, беспорядочно постукивали по бетону четыре каблучка. Два голоса: Елены (он сразу узнал) и второй, незнакомый, тоже женский, который удивленно и обиженно воскликнул и воскликнул...

Остановились.

Андрею был пока непонятен смысл разговора.

— Ах! Я расстроена, я поражена... И как наша современная молодежь думает жить?!

— Да что хоть случилось, Наталья Михайловна? Это Елена спрашивает.

Второй, грустный голос отвечает:

— Ужасно... Вы были у меня на прошлом уроке, когда мы проходили тему «Сурепка»?

— Была.

— Вы видели, картина висела? Сурепка... Я им рассказывала, объясняла, по учебнику закрепляли. А сегодня спрашиваю Туричева: сколько у сурепки тычинок? А он говорит — две! Вы представляете — две!

Голос Елены:

— А сколько у сурепки этих самых тычинок?

Пауза. Удивленный и недоумевающий голос отвечает:

— Пять. Ровно пять!

— Наталья Михайловна, а вы знаете, кто такой Аменемхет I?

Пауза. Еле слышно:

— Не-е-ет!

— Ай-яй-яй! А ведь это фараон египетский, который жил четыре тысячи лет назад. Аменемхет много воевал, захватил в плен множество воинов и всех превратил в рабов. Он залил кровью пол-Египта. Знаменитый был деспот!

— Смотрите-ка!

Елена продолжала с легкой ironией:

— Вот видите, вы не знаете, кто такой Аменемхет, а я не знаю, сколько у сурепки тычинок, а вот живем же, да еще и детей учим и возмущаемся: как они будут жить!.. А зачем детям эти тычинки? По-моему, достаточно того, что дети знают: сурепка — сорняк, она мешает получать высокие урожаи, и хорошо еще, если бы знали, как с ней бороться! Мы же, к сожалению, часто забиваем головы наших детей тем, что им никогда не потребуется.

Второй голос согласился:

— Да, да! Может быть, вы и правы...

Андрей про себя засмеялся, вспомнив, что когда-то давным-давно он тоже изучал сурепки, тычинки и пестики, пищевод мух, даты царствований царей и фараонов. Это было где-то в пятом классе.

Учительницы еще постояли немного и вот появились, в свете на лестнице, как врезанные в стену.

Андрей смотрел на Елену, не отрываясь, стараясь прочесть или найти во взгляде, в улыбке, в округлости щек и блеске матового лба недовольства, или усталости, или гнева. Нет! Он обманулся.

Она шла прямо на него, чуть опередив подругу. На ней строгий черный костюм с белым воротничком, тугие косы аккуратно уложены вокруг головы в узел, и Елена сейчас была похожа на депутата или судью, какими их рисуют на плакатах. Но Елена улыбалась.

Андрей поднялся. Она молча подала ему руку и сказала: «Я сейчас оденусь». Просто, обыденно. Хорошо.

Они шли не разговаривая. Снежный ветер отодвигал их назад, но они шли ему навстречу, обнявшись. Он жалел, что слова забивала метель, и обдумывал то, что не мог сказать ей за время недельной разлуки. Но это не беда. Они шли к Елене, в тепло и свет. Главное, что они шли вместе...

Им открыла старшая сестра Елены и, дотрагиваясь до них и глядя навек остановившимися детскими добрыми глазами, сказала:

— Снег на улице. А я вам чай вскипятила. Андрюшенька, нашел Леночку? Ну вот и хорошо.

Елена молчала. Уже в комнате, не переодеваясь, присела на диван и стала отпивать горячий чай свистящими глоточками, согреваясь. Андрей грел руки, обхватив горячую чашку, и ждал, когда чай поостынет. А еще ждал, когда Елена спросит его, где он пропадал эти дни, и тогда придется говорить обо всем начистоту.

Но она не спрашивала, а только поглядывала на него и говорила всякую чепуху, и он говорил чепуху. Упомянул о заводе, о едва не проваленном плане, она — о том, что в городе скользко на тротуарах — вчера шлепнулась при народе, и было до слез стыдно.

Андрей понимал, что Елена скрывает свое раздражение; и вот сейчас, у себя дома, она совсем другая, — как чужая. Он сказал тихо, чтобы стало хоть чуть теплее:

— Я люблю твою сестру. Она светлый человек. — И вздрогнул, услышав впервые ее надтреснутый, грубо-ватый голос:

— Несчастная. Ослепла десяти лет — перенесла менингит. И... не узнает, что такое дети. Так жить — ужасно.

— Какая ты злая сегодня!

— Ну-ну, жалостливый...

Замолчали. Елена взяла какую-то большую книгу и равнодушно стала смотреть на страницы, перелистывая их. Страницы толстые, они скрипели и резали по сердцу. Андрей чувствовал раздражение и тоже молчал. Ему не терпелось закурить, он ерзал на стуле и все не решался закурить эти проклятые махорочные сигареты. Елена приказала глухим голосом:

— Кури!

Дым поплыл по комнате кольцами. Он не хотел кольцами, Елена может подумать, что он издевается над нею, и он, уже заметив, как у нее раздулись ноздри — почуяла запах махорки, предложил:

— Откроем форточку?

Кивнула.

— Тебя не продует?

— Я люблю сквозняки. Люблю также ходить по полу босиком. Сам поберегись...

— Я на Севере служил. Привык.

— Ну-ну...

И в этом «ну-ну» Андрей мучительно остро почувствовал ее настороженность и отчужденность.

Молчали долго. Елена смотрела репродукции картин академика Савицкого в книге, купленной ею недавно, исподлобья бросала на Андрея короткие взгляды, замечая, как он, нахмурив лоб, сидит за столом и теребит скатерть, большой, лохматый и какой-то потерянный.

Что он говорит?

— Почему к тебе перестали ходить, и ты вечерами одна и одна? Раньше у тебя было шумно.

— Я всех прогнала. Молчальники. Рассказывают анекдоты, пьют чай. Когда нет разговора, теребят скатерть. Дешево проходит время. Пустота!

И в этом Андрей почувствовал: «И тебя прогоню, если будешь молчать, курить свою дурацкую махорку и мучить меня, не приходя по неделе».

У Елены перед глазами мелькали кони академика Савицкого. Они то неслись на нее с репродукции, то

скакали мимо, а от картины «Бой быков» больно защемило сердце: в ней тореадоры, один на коне, другой со шпагой и красной скатертью, добивали под ликование толпы быка -- уставшее и гордое животное.

Елена быстро перевернула страницы и незряче уставилась в карандашную иллюстрацию к некрасовской «Железной дороге». Там изображен быкоподобный подрядчик, его везут, как худые лошади, русские крестьяне, а он обнимает бочку с водкой и орет.

Она захлопнула книгу, застонав от острой тоски.

И тогда Андрей сказал ей самое главное, что мучило его и радовало все эти дни:

— Я ушел к сталеварам и плавлю сталь. И на душе у меня хорошо.

«Так вот что получается у нас. Работать у огня ему легче, чем действительно стать художником. Но я не хочу быть женой никудышника. Мечтала не об этом. Муж был талантливым архитектором, но он погиб на войне. А этот, пока неизвестно, будет ли художником. А вдруг он в искусстве просто банкрот?» А вслух задумчиво протянула:

— Хорошо. Работай. Будешь спокойней.

— Я не хочу, чтобы меня спрашивали: «Из чего твой панцирь, черепаха?» — Андрей закричал и испугался этого.

Тогда она вскочила и, сама не понимая почему, тоже стала кричать на него с болью и возмущением:

— Трус! Трус! Талантливый трус! А картины? А твои большие мечты? Чтобы трудиться, чтобы солнце на полотнах, березы, улыбки людей? Чтобы сердце сгорало для всех?!

Андрей остановил ее:

— Это потом.

Она отмахнулась, как от боли:

— Когда это потом? Говори! — И ее темные глаза округлились, в них забегали блики, сделали глаза карими, пронзительными; на гордой белой шее точкой красовалась припудренная родинка, на щеках ярко пропустил румянец.

Елена сейчас была чужой, далекой, и Андрей не стал ничего говорить. Он вспомнил, как сказал ей однажды: «Кто-то из нас не прав». Так было и сейчас, и он понял, что, в сущности, такие встречи, такие разго-

воры могут вестись бесконечно — это жизнь, но в жизни все-таки надо не только разговаривать, что-то надо и делать, и ему захотелось уйти домой.

— Я пойду.

Елена встала перед ним, тревожная и строгая, и она действительно была похожа на народного судью, без улыбки, как рисуют на плакатах.

Он хотел подойти и обнять ее, но она заметила его движение и предупредила:

— Нет. Иди. Ты еще сам не знаешь, чего хочешь. Может быть, ты станешь лучше и сильнее. И тогда я сама приду к тебе. А теперь иди. Сейчас у нас ничего хорошего не получится.

Проходя мимо кухни и ванной, он увидел в просвете дверей старшую сестру Елены, шлепающую по глиняной глыбе нервными торопливыми пальцами. Он хотел попрощаться с нею, но постеснялся...

По городу кружилась шумная плотная метель. Андрей постоял немного в подъезде, с удовольствием раскуривая пахучую крепкую махорочную сигарету, думая о том, что вот там, за снежной завесой, где сейчас стоит завод и гремит, мигая белесыми огнями, там, наверное, горячи бока земли.

Андрей навалился на ветер и вошел в метель.

Он шел, наклоняясь, крепко ставя ноги в снег, шел лицом навстречу ветру, унося с собой удивительное светлое спокойствие от ссоры с Еленой. Что же, и он думает так тоже — нужно начинать делать что-то стоящее. Нужно раскрыть душу навстречу жизни, в которой дуют снежные ветры, грохочут поезда, рождаются дети, торопят время будильники, снятся космонавтам далекие планеты, а по весне выстреливается из-под земли зелень, громко ухает о берег тяжелая морская волна, молодым входит в сердце любовь, люди добреют, возникает в труде упоенная рабочая хватка, и светлеют глаза матерей, радующихся за своих детей...

Да, нужно навстречу этому и многому другому раскрыть душу и сердце, обять думою, чтобы рождался отклик художника — его картина! Иначе все мелко, серо, комнатно! И неважно, что за спиной пока еще не так уж много впечатлений, лишь робкое начало; впереди время, впереди тяжелей, но зато интересней и прекрасней. Впереди жизнь по большому счету, в которой не

свернуть в сторону, не отстать, не погаснуть, а только вперед и — победитель!

Андрей свободно и легко засмеялся и с нежностью прошептал метели: «Елена...» — будто Елена двигалась с ним рядом. Он шел по земному шару, словно пробуя его прочность. Шел лицом на ветер.

...Елена стояла на крыльце подъезда, укутавшись платком, сцепив концы платка в кулак, и устало смотрела ему вслед, и, когда Андрей смешался с метелью и пропал в ней, она тихо по-детски заплакала.

## Сугробы на земле, как облака

Большая желтая лампа будто плыла в комнатной полутиме, рассеивая иглы света на углы чертежного стола, зажигая кнопки.

Федор любил только настольный свет. Он говорил: полный свет отвлекает. С некоторых пор он говорил Кате:

— Уйди. Ты мне мешаешь.

На ее вопрос: «Почему, ведь я сижу тихо рядом?» — он сконфуженно объяснял:

— Ты меня отвлекаешь. Сидишь рядом, и я думаю о тебе, а не о работе. Жаль, что у меня только одна комната.

Катя всегда уходит на кухню, и, чтобы не заплакать от обиды, снова перемывает посуду или долго смотрится в зеркало, придумывая новую прическу, или просто тупо смотрит в окно.

Сегодня Федору было не до нее. Он пришел с завода шумный, веселый, сбросил пальто, шапку прямо в прихожей, поцеловал Катю в обе щеки и, махнув рукой на ее слова: «Котлеты остынут», сразу же сел за свой широкий рабочий стол, достав из футляра чертежи.

Катя полулежала в кресле и читала местную газету, изредка наблюдая за Федей и слушая его бормотание.

На этажерке в углу строчил, как кузнецник, пузатый самодовольный будильник, а рядом чугунная статуэтка балерины, раскинув руки, как черная птичка, безнадежно старалась взлететь.

— Понимаешь, к нам на завод приехала из Тагила делегация... И надо кое-что посмотреть, продумать. В мартеновском цехе шум... Надо подготовиться.

Все это он говорил, не обворачиваясь в ее сторону, говорил как бы самому себе.

Она согласно кивала: «Понимаю, понимаю» и ждала, что он вовлечет ее в разговор и расскажет подробно, что это у них в цехе за шум и почему он сегодня как одержимый, может быть, потому, что делегации приезжают не каждый день, что у них соревнование и теперь Федору нужно что-то вспомнить, уточнить, подготовиться?!

Но Федор читал чертежи, чертил что-то под линейку, сверял цифры, карандаш ломался, он брал другой и, казалось, совсем не замечал ее.

— Почему ты не спиши?

Катя засмеялась, взглянув на будильник: девять вечера.

За окнами мела поземка; ветер хлопал форточкой; натужно фырча моторами, шли машины, и цепи на скатах гулко били землю. Яркие полосы от фар нашупывали дорогу, и в лучах сыпался и кружился желтый снег. Федор, чем-то недовольный, откинулся на стуле, затормошил пятерней волосы. Это опять сломался карандаш. Или опять ищет какую-нибудь бумажку.

Крупный и лобастый, он почти загораживал собою стол, тень от него, размашистая и лохматая, на полстены закрывала васнецовых трех богатырей, а заодно и балерину, готовую взлететь. Стараясь не шелестеть газетой, Катя уже несколько раз перечитывала заголовки и информации о том, что селу нужно больше отличной техники, что весна не ждет и необходимо заранее подготовиться к весеннему севу, что на особо важной стройке готовят к пуску новую мощную электросталеплавильную печь, а работы по устройству автоматической сигнализации затянулись и медлить больше нельзя. В Конго опять неспокойно, и не поймешь все хитросплетения, будто набросились серые волки на Красную Шапочку. На Кубе Фидель Кастро вновь разоблачает прописки американских империалистов, проводит закон о всеобщей грамотности.

Но все это там, за окном, за городом, за степью, горами, морями — и в большом мире, а здесь ее, Катин, Федор, еще не муж — ее любимый человек. Он тоже неспокоен, варит сталь, встревожен — ведь приехала какая-то делегация к ним на завод... Вот бы все милли-

оны безработных на земном шаре устроить на работу по заводам нашей страны!

Катя стало приятно от этой мысли — не часто они такие приходят в голову. Она ведь тоже хоть и при любимом человеке, но как безработная, потерянная и, что страшно, никчемная.

А когда-то все было другим. И Федор тоже. Это тогда, когда она была девчонкой и ни черта не понимала, просто восторгалась и думала, что все люди на свете будут самыми счастливыми, а уж она наверняка! Росла красивой, жизнерадостной. Еще учась в девятом классе, играла в любовь, но отвергала слишком настойчивые ухаживания. Подруги загадывали будущее, беспорядочно выбирали институты, шушукались о сердечных тайнах.

Катя подсмеивалась над ними, а сама втихомолку грустила, что у нее даже нет радостных воспоминаний, кроме школьных лет, экзаменов на аттестат зрелости, лета...

Она никого не отметила среди своих ребят по школе, среди знакомых, все ждала: однажды встретится ей особенный человек, увлечет ее, увезет в другой, радужный мир. Уж она-то сумеет полюбить. Она станет знаменитой актрисой, ну чтоб на весь мир, как Татьяна Самойлова, и ее имя будет у всех на устах.

Во Дворце культуры руководитель кружка художественного слова Чуприн хвалил ее, когда она читала стихи и отрывки, говорил, что у нее огромные способности драматической актрисы, и странно моргал глазами, когда смотрел на нее, учил, показывал, как надо при чтении стоять, двигаться, жестикулировать, а сам брал ее за руки, за плечи, за подбородок...

И вот укатила в Москву, в театральный институт, с уверенностью, что только ее там и ждут, такую талантливую. Сама не знает, как жила: укради чемодан. Махнула рукой, мол, чепуха, она ведь будет актрисой, хоть и жалко ей было нового платья с белым воротником и маминых денег. Она читала Островского на этих проклятых экзаменах. Читала монолог Липы: «Хорошо бы дом зажечь!..» И еще Толстого про Анну Каренину, когда та бросилась под поезд, а еще по-глупому басню Крылова «Троеженец». Она сразу поняла, что провалилась: известный народный артист в комиссии отвернулся

ся, когда она, Каренина, так громко хотела броситься под поезд. Поняла, и ей действительно захотелось броситься под поезд.

Под поезд она, конечно, не бросилась, он увез ее обратно в родной город, хоть и было стыдно: казалось, что весь город будет на нее показывать пальцем и называть дурой. Матери она сказала, что очень жестокий конкурс, и это было действительно так, а сама решила подыскать какую-нибудь работу, переждать год, чтобы потом попасть в актрисы наверняка, без дураков.

А тут — Федор! Сразу влюбилась, когда встретила подругу Люську вместе с ним. Катя сразу отметила, что он какой-то особенный, не похожий на других, и что Люське он, ну, совсем не пара, хотя та и хвастается своей самостоятельностью, работая лаборанткой на заводе.

Она ревновала Люську к нему, стараясь не подавать виду, и тоже хотела подкрашивать губы, как подруга, но потом раздумала: она и так красива!

Федор в голубой рубашке, белобрысый, могучий, как борец, сажал на ладони по малышу и, вытянув руки, качал их, а они визжали от восторга...

— Дядя Федя, меня, меня!..

Летом было знойно. Пили пиво под навесом, шли за город в степь, к подсолнухам, к реке. Люська пряталась в высоких подсолнухах и кричала призывно: «Федя, ау!..» — он находил почему-то ее, Катю, брал за руку, а однажды обнял. Она покраснела, погрозила ему пальцем: «Федор Николаевич, ау».

С Люськой они окончательно рассорились. Та шипела: я, мол, не отдам тебе моего инженера. У нас, мол, грандиозная любовь!

Черта с два, любовь!

Катя смеялась и пожимала плечами: ну, чем она-то виновата, раз Федор только на нее и обращает внимание. Или ей так кажется?!

Любовь, кто ее знает, какая она и что это такое, только вот... сумасшедшие сны, в которых Федор целует и несет ее на руках на край света, без остановки. И только во сне, вот что жалко!

Она знала от Люськи, что Федор на отлично окончил metallurgical institute и уже работает мастером в маркеновском цехе, что он большой выдумщик-

изобретатель, что живет он один, без родных, которые где-то в Башкирии.

Видела его шедшим с работы мимо дома, в котором она жила рядом с Люськой. Ей было обидно и завидно, когда он стучал в Люськино окно, а не в ее окно:

— Люся, готовься на «Графа Монте-Кристо»! Вот билеты. Две серии.

И ей тоже хотелось в кино на «Графа Монте-Кристо» и тоже на две серии.

Однажды она поехала к заводу на площадь. Долго ждала его у проходной. Дождалась. Он увидел ее, удивился, и она будто оказалось здесь случайно, удивилась: «А, Федор Николаевич...» И целый теплый вечер вместешли пешком через весь город. Наверное, у нее было блаженно-восторженное или счастливое выражение лица; прохожие оглядывались на них, а парни и девушки расступались. Федор вел ее под руку, и она сияла. Бродили до ночи, не разнимая рук. Он проводил ее домой, и долго еще прощались в подъезде, и тут они поцеловались. Случайно, конечно. Так она подумала.

И начались счастливые суматошные дни первой все-поглощающей любви и того особого, радужного мира, о котором она когда-то мечтала.

Однажды к дому подкатила «Волга», блестяще-зеленая, на крыше которой были закреплены удочки, палатка и сумки. В машине сидел кто-то.

Федор постучал в окно: «Катя, живо собирайся, едем далеко, с ночевкой, на три дня». Она сначала отказывалась, заглядывала в машину: Люськи не было, и, не ответив на вопрос матери: «Куда ты?», села рядом с Федором. Всю дорогу пели песни. Катя так была весела и счастлива, что пела громче всех и, как ей казалось, очень красиво. Ах, эти несколько дней и ночей в Башкирии, в горах, в почти таежном лесу, в черемуховых речных долинах!

Жгли костры на берегу. Пили вино. Ночью звезды опрокидывались в воду... Ловили рыбу под солнцем. Федор с удочкой как великан стоял по колено в воде, без промаха прилепывал на своем теле слепней, мучился от укусов: старался поймать для нее, Кати, царскую рыбку — форель. И уходили с Федором далеко в черемуховые заросли. И ей хотелось там остаться навсегда, чтоб был свой костер и никого, кроме Федора. И не забыть,

как они купались на рассвете, ныряли в холодную глубину, бездумно лежали... Она входила в воду, не стесняясь его, а он сначала отворачивался, милый и смешной, а ей хотелось, чтобы он смотрел и смотрел на нее. Тогда, тогда он сказал ей это «люблю!». Как обещание, как клятву быть всегда, всю жизнь вместе.

...Но это было только одно такое лето в ее жизни, только одно. А потом осень, огненные, грустно шуршащие деревья, холодные голубые дожди, пасмурные небеса над голой степью и первый холодный снег, как с другой планеты.

Да, много было радостей у Федора в доме. Особенно ей нравилось, когда Федор, уходя на работу, оставлял ей ключи, если она была у него, или, если она была у матери, стучал в окно: «Катя! Катенька! Ключи!» Она чувствовала себя хозяйкой в его доме.

Но вскоре теплую домашнюю тишину, ожидания Федора с работы сменили растущая отчужденность, ее неуверенность в будущем, неясная тревога в думах о себе и Федоре, когда возникает вопрос: кто они, в сущности, друг для друга? Тянулось длинное время, которое нечем заполнить, пришли недовольство собой и долгие нудные размышления о себе, о том, кто она такая вообще на земле...

Сейчас Федор дома. И Кате так хочется подойти, обнять его, но нельзя: он работает! Федор обернулся и проговорил, глядя ей в глаза:

— Катя, Катя! Эти чертовы простой печей, вот когда наваривают подины... Как бы их снизить, сократить, эти чертовы простой? Нужно сжать время при капитальных ремонтах! Да! И еще — улучшить технологию наварки! Ты понимаешь?

Катя не понимала и хлопала глазами, а он все говорил, воодушевляясь, непонятным для нее техническим языком, разъяснял, убеждал, будто сдавал экзамен или хотел сделать из нее инженера-металлурга. О, когда Федор начнет говорить, его не остановишь! Только слушай. Она согласно кивала головой, приговаривая «да-да», словно действительно понимает или хочет понять, а он говорил серьезно о профилях ванны, об улучшении ухода за сталевыпускными отверстиями, о шлаковом режиме и еще что-то о кислороде и сжатом воздухе, — и это для нее было откровением и пыткой одновременно.

Ну разве она виновата, что уродилась такой дурой? Вот ведь Феденька переживает за свою работу, даже хлопает себя по лбу, вот ведь приехала делегация из Нижнего Тагила, и он волнуется, словно он один отвечает за весь металлургический комбинат и за весь город...

Он тут же рассердился и даже накричал на нее: не нашлось, видите ли, под рукой пятого номера журнала «Металлург». Да, конечно, она виновата, записала на нем номер телефона подружки и куда-то сунула... Да, конечно, она больше не будет прикасаться к его бумагам на столе. Журнал нашли. Дождалась — погладил по голове. «Нет чтобы обнять, поцеловать».

Слезы выступили на глазах. Но он их не заметил. Он сел работать.

Он стал другим, раздражительным. Или он устает на работе, в своем мартеновском цехе. Там ведь горячие печи и, наверное, очень жарко. Целыми днями он там, а вечером только поужинает — и сразу за чертежи или читает. «Со мной и не поговорит как следует, как раньше...»

Кате стало обидно от этой мысли, тревожно от какого-то предчувствия неизбежного разрыва, разлуки, конца. А она любит ведь Федора. Он сам, наверное, ей скажет, мол, иди, откуда пришла, ты мне надоела, ты мешаешь мне.

А может быть, не скажет, не прогонит, ведь нельзя же вот так просто выбросить человека из жизни, из сердца, человека, которого любили, но который, в сущности, ничего на свете не умеет, а только любить и мечтать, который беспомощен и никому не нужен.

А ведь и она для чего-то родилась!

Вот ведь для чего-то рождаются люди, для чего-то приходят в этот мир.

Это «чего-то» для нее было туманным, необъяснимым, где-то в будущем.

Вот Федору все понятно, и это «чего-то» у него уже есть в жизни. Он работает, ночами не спит, любит свой завод, отдает себя работе и другим. А она? А она — ему нужна. Всю себя ему отдает, а он — другим. Да, конечно, утешение слабое. Если бы он ее очень-очень любил, тогда другое дело!

Однажды сказала Федору, доверила как тайну:

«Знаешь, Федя, я как будто родилась для тебя». Он удивленно вскинул брови, усмехнулся.

— Да, да, конечно, для тебя! Вот подожди, ведь не может моя жизнь пройти просто так, и ничего не оставлю в ней людям. Детей нарожаю. Актрисой буду, ведь я красивая... Или петь буду, учиться пойду в консерваторию, ведь у меня голос есть...

Он тогда обидел ее, вздохнул, сказал равнодушно:

— Спи! — Наверное, ничего не понял или не хотел помечтать вместе с нею.

Спи, и все. Мол, завтра рано вставать, тебе хорошо мечтать, а мне на работу...

...Вот и сейчас ему нет до нее дела. Сидит за столом, голова чуть не под лампой, уткнулся в журнал. Она тоже — в газету. Вот открыли Дворец бракосочетания. И почему это тут же в газете сообщают о разводах? Как о смерти, только без траурных рамок. Очень много разводов. М-да... А вот у них с Федором даже и развода не будет. Не записаны. Просто живут без свадьбы. Просто стали жить.

Катя отложила газету, рассеянно посмотрела по стенам. На вышитом коврике, который она принесла из дома, олень, встав на камень, все тянулся к веткам, чтобы ущипнуть листьев.

Пушкин на гипсовом круглом барельефе сердито смотрел в сторону Федора, и, казалось, он вот-вот заговорит громко и стихами.

Катя закрыла глаза: «Чужая я ему, чужая». В полудреме почувствовала щекой горячее дыхание и осторожное прикосновение губ.

— Ложись спать.

Это Федор говорит.

Катя обняла его, притянула к себе, шепнула:

— Потуши лампу.

Покраснела, стыдясь, будто в комнате был кто-то третий.

— Сейчас.

Оба разом вздрогнули, услышав дребезжащий звонок и стук в дверь.

В прихожую шумно вошли мужчины, Федины друзья. Некоторых она знала.

Федор засуетился:

— О-о! Вот хорошо! Проходите, раздевайтесь. — Они

стали раздеваться, а он, улучив момент, шепотом сказал ей:

— Катя, у нас будет очень важный разговор, сготовь нам что-нибудь. Сходи-ка в магазин...

Накрывая на стол, возясь на кухне, она слышала обрывки оживленного разговора. Пепельница быстро заполнилась окурками. Катя принесла им еще блюдце и открыла форточку. При ней они странно умолкали. Она делала вид, что рада их приходу, рада, что они ведут свои умные разговоры. Им должно быть уютно и хорошо у Федора в гостях, а уж она постарается не ударить в грязь лицом.

Катя и в самом деле была рада приходу его друзей по работе, только вот почему они умолкали, когда она входила в комнату, почему Федор не представил ее, или вот сейчас они пьют коньяк, а ее и не пригласили.

Федор иногда забегал на кухню, где она сидела, и требовал то «подбавить лимончику», то «побросить колбаски», то «откупорить еще бутылочку и не забыть нарезан»...

Ну, конечно, она бы мешала им там, сковывала их разговор. Пусть уж они наговорятся всласть. Так нужно. Это для дела. Их разговор, громкий, вразнобой, со смехом, был слышен на кухне. Катя не вникала в него, она слышала обрывки и ловила только голос Федора. Речь шла о том, что необходимо откликнуться на призыв партии, выжать из мартеновских печей все возможное, выполнить расчетный план семилетки и выдать сверхплановую сталь.

Федора слушали, сразу умолкая, когда он начинал говорить, да и голос был у него громкий. Он возмущался тем, что много металла уходит со шлаком, что иные молодые сталевары печь ведут неровно, увеличивают тепловые нагрузки, а это приводит к износу мартена.

Это Катя поняла и была согласна с ним.

С Федором спорили, убеждая его в необходимости каких-то скоростных плавок, рекордных и еще каких-то, а он не соглашался и все кричал, ласково, разумеется: «Черти, да поймите вы, нам надо надолго сберечь агрегаты...»

Конечно, Федя прав! Ведь он говорил ей о сокращении простоев, о затяжных ремонтах подин. Кате не терпелось вбежать туда, в комнату к ним, и тоже что-то

доказать, то, что она понимает. Ну хотя бы вот о том, что Федор прав, нужно действительно сократить чертобы прости, не увлекаться рекордами, а беречь эти миленькие агрегаты, ведь не зря же он однажды во сне, беспокойно заметавшись, выкрикнул: «Увеличить производительность печи». Она даже испугалась тогда.

Она бы сейчас сказала им кое-что или просто посидела рядом и послушала. Уж она бы различила, кто из них прав, кто виноват! Но о ней не думали, как будто ее нет совсем, о ней даже не забыли, ведь можно иногда забыть о другом человеке, когда занят, только Федор забегал на кухню за чем-нибудь, потому что, накрыв им на стол, она не появлялась там, чтобы не помешать их важному и умному разговору-спору. Катя от стыда грызла ногти, а на душе было обидно и невыносимо, хоть беги!

Она поняла, что живет около большого дела, около большого человека, только около. И, что всего обиднее, она знает Федора только по-домашнему. А все «большое» — это на заводе, в мыслях и работе Федора, в другой жизни, в которой ей нет места. Ну вот — дожила! Кто же она теперь? Жена не жена, друг не друг, любимая не любимая... Кто же? Работница. Его домашняя работница. Надомница! Женщина — для него!

Сама виновата. Зачем приходить каждый день? Сама виновата. А он привык. Это уже как должное. А почему бы не жить им, как другие живут. Как все люди, когда они муж и жена.

Тут уж она не виновата. Ведь нельзя же вдруг взять и сказать ему: «Федя, когда мы поженимся?», или «Федя, когда у нас будет свадьба?», или «Федя, когда мы оформим наши отношения в загсе?..» Надо ждать этого от него.

Сегодня она уйдет. Пусть начнется все сначала. Да, сначала, как положено, по закону, как у людей. Уйдет — и все. Пусть он сам догадается кое о чем, если, конечно, любит и если она нужна!

Вошел Федор, раскрасневшийся, ворот рубахи расстегнут, спешит.

— Слушай, ну-ка, чаю давай. Ты чего куксишься?

Катерина выдохнула: «Ах!» — и, уткнув в колени лицо, зарыдала, не сдержавшись. А когда он шутливо и растерянно похлопал ее по плечу и со смехом спросил:

«Эй, ты что?» — оттолкнула его зло, решительно. А когда он схватил ее за руки: «Не дури, у меня гости», — вырвалась, ладонью легонько шлепнула его по щеке и, накинув пальто, выбежала на улицу, где-то в глубине души надеясь, что он бросится за ней, догонит, приведет обратно. Но он не догнал.

Да, он не догнал, не бросился догонять, ведь нельзя же оставить гостей, а потом объяснить им, что она не понятно от чего вдруг раскапризничалась.

Хорошо, что никто не видел, не слышал, не заметил ни слез, ни пощечины, ни ее ухода.

Да, он не догнал, он слишком любит себя и своих гостей, и свой завод, и свою работу, и свою сверхплановую сталь, — слишком любит, чтобы броситься за ней. Кто она для него? Никто. Она даже на его внимание права не имеет, не то что на любовь.

Катя, увязая в сугробах, шла неторопливо к себе, домой. Огни в городе уже погасли, кроме витрин универмагов и магазинов, в свете которых мелькали торопливые тени запоздалых прохожих и неторопливых сторожей. Слышался приглушенный шум завода за дамбой и отчаянная ночная песня подвыпивших где-то за домами:

Шли они рука в руке,  
Весело и дружно...

И это оскорбительное сейчас «весело и дружно» провожало ее до самого дома.

Он пришел ночью. Федор сначала постучал в окно: он всегда так стучал раньше, вызывая погулять. Но стучал медленно: «раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять», а сегодня — нетерпеливо и громко. Катя уже почти спала, не отвечала. Пусть понервничает. Интересно, как он будет себя вести, что говорить... А ей что делать? Вот так лежать и все? Сейчас мама откроет ему дверь... Открыла... Надо послушать, о чем они будут говорить.

Катя встала, накинула халат и, крадучись, подошла к двери. Она знала, что Федор пьян, что он груб, что он будет беспомощен перед ее матерью. А она, Катя, босиком стоит сейчас, ночью, у двери и подслушивает.

Вот голос гордый и властный. Это мама.

— Она спит.

«Как же! Я усну!..»

— Простите... Извините... Но... Это очень важно...

Катя...

Опять голос мамы:

— Вы пьяны.

А Федор говорит:

— У нас были гости.

«Ах, какая мама! Что она говорит?! Хоть бы пригласила раздеться, сесть...»

— У вас были гости. Не пойму я, а кто вам Катя?

«Смешной, любимый Федор опешил».

— Как кто? Катя — моя невеста.

«Мама, ну зачем так?!»

— У добрых людей невесты дома сидят.

— Ну... извините меня, простите... Прошу, разбудите ее.

«Меня, значит, разбудить...»

— Не буду, молодой человек. Ночь уже.

«Ох, мама, мама, ну зачем так?!»

За дверью было слышно, как Федор кашлянул, затоптался и сказал с обидой и болью:

— Вы всегда не любили меня. Конечно, Катя ваша дочь.

Мама перебила:

— Я вас плохо знаю, Федор Николаевич.

— Да плохо. Катя на меня сердится.

Мама прогоняет его:

— Идите домой. Отдыхать.

— А как же Катя?

— Она сама решит.

— Да, конечно. Извините. До свидания. Эх!

...Кате стало так жаль Федора, что теперь ей хотелось бежать за ним, догонять его. «Попробуй догони! Положеньице... А что — я?! Я-то какой человек? Пустой, никчёмный, неприкаянный... Вот я сейчас... сяду на этот стул с поломанной ножкой и буду думать о себе. Вот мама прожила с отцом немного и родила меня. Я тоже когда-нибудь рожу...»

Катя ощупывала свой живот. Она уже знала, что беременна. Ведь не зря в последнее время ее мучили страхи. Она боялась высоты, когда человек может упасть и разбиться, но хотела летать, как птица. Боялась воды, океана, глубины, но хотела плавать, как ры-

ба. Боялась огня, тяжести, холода. Мало ли чего она боялась! Боялась и того, что вдруг остановится сердце, и она умрет.

Катя смотрела на свой халат, на рисунок в горошек и вдруг подумала, что так дальше жить нельзя!

А как жить? Думай, Катя, думай...

«Мама назвала меня пустоцветом. Ну да, конечно, я такая. Домашняя. Не у дела. Все дни у меня проходят даром, и нечем их заполнить. Я могу пойти на работу, устроиться хоть куда-нибудь».

Думай, Катя, думай...

Катя бросилась на кровать. Горошинки на халате разбежались.

Утром пришла Люська. Подруга сообщила: «Федор уезжает в Нижний Тагил. Иди».

И вот пошла, поехала. На вокзал, к Федору. Мама украдкой посмотрела и вздохнула.

Катя торопилась. «Жизнь не так уж проста... И почему это в жизни трудно? Тем особенно трудно, когда тот в ней никчемен или как гость?..»

Какой-то поэт сказал, что разлука живет на вокзale...

Этой ночью тяжело валил снег, и к железным оградам надвинулись сугробы. Они утром голубые, пахнут травой и холодом...

«Скорей бы попасть на трамвай!»

...Трамвай был полон. Катю крепко притиснули боком к кабине вожатого; об ноги больно стукались углы чемоданов; трудно было дышать, высвободиться.

На остановке «Вокзал» все сходили, и Катя не заметила, как ее вынесли спешащие пассажиры, вытолкнули прямо в белое кружение снега, в шум людских голосов, тарахтение машин и шелест шин. Снежные хлопья лениво падали, цепляясь за пальто, лепились на плечи, лицо, ресницы.

Она торопилась, беспокойно поглядывая на людей. Их было много около машин, автобусов, на стоянке такси. Сердце сжалось тревожно. Сквозь пелену снежинок увидела зеленые крыши вагонов, обрадовалась: значит, не опоздала, и где-то там, на перроне, она увидит Федора.

Ей обязательно надо его увидеть, и чтобы он обязательно увидел ее. Ведь должно на конец что-то решиться, ведь не может он просто так уехать, не увидев ее и не поговорив, не простишись. Ведь он — ее Федор! Ей казалось, что он не просто уезжает, а насовсем. А тогда он не узнает о том, о чем знает она... Он должен узнать об этом, пусть с огорчением, а может быть, с радостью. Да, хорошо бы с радостью. Тогда будет все понятно, тогда будет все чудесно, великолепно и прекрасно. А что еще?!

Еще она будет его ждать... Ждать... Нет! Она, конечно, будет ждать его приезда, но чтобы он сам первым пришел к ней, в ее дом. Она будет беречь себя... Вот как она ему скажет!

Катя увидела его на перроне, в кругу друзей. Федор стоял к ней спиной. Подошла, тронула за рукав.

Он обернулся, нахмурился.

— Ты?!

— Да, это я.

— Вот, Катерина... Я уезжаю в Нижний Тагил. Делегация.

— Знаю. Поезжай. Это необходимо. Я рада, что не опоздала.

— Ты, молодец, Катя, что приехала. Молодец.

Они отошли от друзей и зашагали по перрону. За руку не взял. Под руку тоже. Остановились у ограды. За ней навалило сугробов. Снег падал хлопьями, обильно, будто некуда этому чистому снегу было деваться на небе.

— Федя.

— Да.

— Посмотри мне в глаза.

— Смотрю. Я виноват перед тобой.

Катя стало приятно от этих слов. Она подумала: вот сейчас скажет ему о том, что теперь он будет любить не только ее одну...

Не сказала. А сказать о ребеночек ой как нужно.

Катя заплакала.

— Я не знаю. Мне показалось, что я тебе в тягость, что ты меня просто... ну, не любишь.

Федор смахнул снег с ее плеч и твердо проговорил:

— Ты, Катя, так не думай. Не плачь.

— Не буду, Федя. Я испугалась... Подумала, что ты

разлюбишь, бросишь меня, а я ведь теперь не одна. Я рожу тебе сына...

Катины глаза блестели от слез и от подтаявшего снега на ресницах, горели огнем, как воспаленные.

Федор обнял ее и поцеловал в глаза.

— Ну вот и хорошо. Ну вот и отлично. Теперь нас трое. Да, Катюша?! Ох, и дура ты, ох, и дурочка моя!..

Голос его был растерянным и дрожал. Наверное, ей показалось. И так уж она столько передумала о нем и хорошего и плохого.

— Мы... будем ждать тебя. Я, Федя, стану хорошей. Я и работать пойду и все-все буду делать!

Федор смеялся, словно счастливый, прижимался щекой к ее щеке, говорил, мурлыкал что-то ласковое, забыв о том, что нужно идти в вагон. Но идти в вагон и ехать ему, наверное, не хотелось. Или ей опять показалось.

Видно, он очень ждал ее, даже ключи держит в руке!

— Слышишь, звонок? Это тебя кличут друзья из тамбура. Поспеши. Иди, Федор.

Федор поправил у нее шарф, поцеловал прямо в губы отрывисто, горячо и побежал к вагону. На бегу он неуклюже взмахивал ключами, а потом сунул их в карман.

Вот он схватился за поручни, его подхватили руки друзей. Катя побежала вровень с отходящим поездом, вровень с его вагоном. Снег перестал падать. Колеса скрипели.

Думала, услышит: «Катерина, Катенька! Ключи». Как раньше...

Думала, Федор выбросит руку вперед. В воздухе мелькнет светлое серебряное кольцо и упадет к ее ногам. На кольце — три ключа. Один большой, тяжелый от двери, второй — от английского замка, а третий, совсем маленький, от почтового ящика, в который не умещались газеты и журналы.

Но Федор висел на подножке, обняв руками оба поручня и смотрел на Катю, прищурившись, сосредоточенно, большой, тяжелый, и она боялась, что поручни оторвутся, а еще боялась, что разрыдается.

...Она стояла одинокая, со злой, но гордой, уже материнской улыбкой, стояла долго и все смотрела вслед

уходящему поезду, который увозил Федора далеко, в степные, чистые, белые дали, в Тагил. И когда поезда уже не стало видно, только паровозный дым остался на перегоне и повис над одинокой будкой стрелочника, повис тучкой, покачиваясь, Катя пошла задумчиво, не торопясь, меж сугробов по тропе, протоптанной людьми.

Сугробы эти и сейчас пахли травой и холодом.

Около станции в покатой ложбине меж кустиков акаций прыгали красногрудые снегири, и от них на белом снегу отражались розовые пятнышки отсвета.

Катя вздохнула: что сугробы! Они растают, а впереди-то еще целая жизнь!.. Да, жизнь, в которой сугробы растают...

Разлука  
живет  
на вокзале

*М. М. Окуневой — педагогу*

1

Домашников боялся, что когда-нибудь осточертеют ему и пудовая усталость после знойной сталеварской смены, и трамвайная давка, когда кажется, что вагон еле ползет, нагруженный людьми с такими же пудовыми усталостями, как у него, и хлесткий — наотмашь по щекам — сырой весенний ветер, сдвигающий задымленные тучи с красными днищами над мартеновскими трубами, и свинцовый немой лед, коридорными глыбами припаянный к берегам заводского пруда, и сам он, прямо сказать, давно уже себе осточертел со своей сорокалетней наудавшейся жизнью, в которой до тоски надоедливое одиночество с нечищенной сальной сковородкой, холодным чаем и батареей пустых бутылок под холостяцкой кроватью.

Спасали работа, веселое густое солнечное пламя в печи, товарищи, серьезной ватагой стерегущие время плавки, личные надежды на скорые неожиданные светлые изменения в жизнеустройстве, в котором будут ему по плечу и по праву любовь, семья и мирная радость, называемая счастьем.

Дни тянулись, как провода высокого напряжения, от столба до столба, от рассвета до рассвета, до тех пор, пока не вышиблись выстрелами два коротких замыкания: до нежного страха полюбил Ниву и приехал навестить давний друг — Михаил Белозубов.

Нива...

Надо же, такое счастье ему привалило. И какой бог заставил его однажды подняться рано утром и пойти на рынок за картошкой, а по дороге заглянуть в незнакомую парикмахерскую — сбрить щетину.

Тут он и увидел ее в белом халате и пошутил, сядясь в кресло:

— Сделайте меня молодым, красивым и самым счастливым.

Провела мягкими руками по щекам, фыркнула:

— Сейчас станете ангелом.

Он ловил ее глаза, пристально вглядывался в них и словно сообщал взглядом: «Ну и симпатия же ты, деваха!» — и все смотрел и смотрел, словно гипнотизировал.

А ее глаза, черные, блестели насмешкой, и круглые белые щеки наливались румянцем.

Легонько стукнула кулаком по плечу, засмеялась:

— Окривеете, ангел.

Она ему очень понравилась, сразу как-то вошла в душу, и он волновался от того, что бритье уже подходит к концу, скоро она скажет «следующий!», руки ее, пахнущие одеколоном, мылом и еще чем-то, чистой, нежной кожей, наверное, перестанут взлетать над его лицом, трогать его щеки, подбородок, лоб, а ему хотелось, чтобы долго-долго смеялись ее глаза, румянились щеки, дули полные губы на завиток желтых волос на лбу, наливалась на его плечи тугая грудь и виднелась в рукаве халата нежно-белая, наверное, прохладная рука.

А еще хотелось узнать ее имя. После одеколона он попросил ее попудрить и, взглянув на себя в зеркало, подарил ей: «Прекрасно. Спасибо» — и, улыбаясь, решил:

— Как ваше имя?

Она просто ответила:

— Нива.

— Нива... А меня — Николай. Я буду только у вас бритьсяся, Нива!

— Спасибо. До свидания. Следующий!

Уходил на рынок бодрым, свежим, радостным и уносил в памяти рыжие конопушки поверх щек, картавину в голосе, чуть подломанный зуб под красивыми губами и все ее лицо с маслеными, словно расплавленными черными глазами, обрамленное шапкой светлых желтых волос, и всю ее, похожую на осколок солнца.

С тех пор он приходил к ней бритьсяся чуть не каждый день. Она только посмеивалась, глядя, как он старательно и серьезно трет ладонью чистые щеки, будто

зарос густо. А он, невозмутимо усаживаясь в кресло, ждал, когда ее теплые милые руки ласково прикоснутся к его лицу, и ее глаза приблизятся к его глазам, и можно будет снова неотрывно и обожающе всматриваться в ее угольные зрачки, словно гипнотизировать или, как он думал, влюблять в себя.

Он уже знал, когда она была в хорошем настроении. В этом убеждали румянец — два больших красных пятна на белых щеках, чуть картавый говорок и трепыхающийся желтый локон на круглом чистом лбу. И болтовня со смехом. В плохом настроении — поджатые губы, жесткая гладкая прическа, пустые холодные щеки, молчание, прищуренные глаза и отрывистые команды: «Прибор! Выше подбородок! Следующий!»

Однажды, в свободный день, с утра побравшись у скучной и строгой Нивы, он места себе не находил, гадая о причине ее плохого настроения. Его так и подмывало вернуться, вызвать ее в коридор и спросить об этом. До вечера он прошагивал по проспектам и бульварам из конца в конец полгорода, толокся около дверей парикмахерской до тех пор, пока уставшее солнце не село на крышу противоположного «кафе-молочное», и решил — вошел, сказал «добрый вечер» и сел в кресло.

Нива расхохоталась:

— Что-то вы зачастили!

Он тоже засмеялся:

— Зарос. В театр иду. Неудобно...

И узнал: она не в духе от того, что никак не может попасть в кино, когда кончается ее смена, билеты уже все распроданы, а фильм идет сегодня последний день.

Он спросил:

— Какой?

Она приблизила к нему потеплевшее лицо и, дыша в ухо, прошептала, будто невесть какую тайну: «Плата за страх».

Домашников сорвался с места, захлебываясь от радости, крикнул: «Билеты я сейчас же достану» — и, не обращая внимания на любопытные взгляды клиентов, чуть схиные смешки ее товарок, слова Нивы: «А как же театр?», ринулся к выходу и легко махнул рукой: мол, все остальное — че-пу-ха!

В зале кинотеатра, когда погас свет и они остались

как бы одни, рядом, когда засветился экран и фильм начал наполнять их тревогой и страхом за героев, которые погибали один за другим, Домашников по-настоящему оценил доброе и отзывчивое сердце Нивы.

Привалившись к нему плечом, она по-своему волновалась: громко слышалось ее прерывистое учащенное дыхание, короткие вскрики при самых трагических кадрах, ее руки цепко хватались за локоть, искали его руку. К концу фильма, когда машина с последним счастливым героем пошла под откос, в пропасть, Нива всхлипнула, Домашников поймал ее горячую влажную руку и не выпускал до тех пор, пока не включили свет.

При выходе он подал ей платочек.

— Ой, я так напереживалась, так напереживалась... На целый год!

Так она сказала и крепко взяла его под руку, будто и он ненароком погибнет прямо здесь, на улице.

После они долго бродили по городу среди огней и звезд и все узнали друг о друге.

Она о том, что он не женат, родом из-под Троицка, где в зеленой деревеньке в своем доме живут его старики, братья и сестра, что робит он сталеваром и зарабатывает прилично — «куры не клюют», ну а больше, пожалуй, ничего.

Он о том, что она сирота с детства, не доучилась в школе, на «отлично» сдала на курсах парикмахеров и стала мастером своего дела, живет у тетки на Крыловском поселке, была замужем немного — ушла от мужа, пьяница и драчун. Добавила, что любит скромных, уважительных и не обязательно красивых.

Последний намек относился, конечно, к Домашникову, так он понял, догадался и уверился. Рылом он, безусловно, в Стриженова не вышел, да и седина уже на висках, но имеет свою рабочую стать и гордость и по жизни не в последнем калашном ряду, хотя и с несуразно-высоким ростом, курносый.

Сколько кому из них лет, не спрашивали, и так было видно, что оба молоды, здоровы, с улыбками в губах, и вообще, пара, что надо! Если, конечно, посмотреть со стороны.

На заводском широком мосту она спросила:

— А где вы живете, Николай? Вот смотрю на дома и думаю: в каком же мой надоедливый клиент живет.

Он радостно встрепенулся и показал ей большой дворцового типа дом на берегу, стреляющий в воду светом из всех окон, кроме одного.

— Вон мое окно! Внизу, самое крайнее. Без света которое. Отсюда не видно, конечно. — И безо всяского умысла добавил: — Я живу один, Нива.

— Выходит, это я вас проводила! Ну, смотрите! Как-нибудь нагряну в гости! А теперь проводите меня.

Когда расставались под лай собак у дома ее тетки, договорились встречаться и посмотреть все фильмы, идущие в городе. И то правда, вдвоем интереснее. Словно повинуясь какому-то порыву, хотели обняться, но, покраснев оба, только стеснительно пожали друг другу руки. Нива засмеялась и ушла. Счастливый Домашников не спал ночь и долго шептал сам себе: «Жена...»

У него было такое чувство, будто он неожиданно спасся от какой-то большой грозной беды, такой беды, когда человек должен неминуемо погибнуть, но в последнюю минуту обязательно спастись благодаря чему-то. Спасти и обрадоваться, вздохнуть свободно всей грудью и залюбоваться тихим небом, светлым солнцем и громадной зеленою землей.

Так бывает, когда падаешь в пропасть, но в последнюю минуту цепляешься за куст и выбираешься на вершину. Так бывает, когда, оступившись, падаешь в ковш с расплавленным металлом, но поручни спасают тебя.

Домашников вспомнил, как однажды на широкой могучей реке он заплыл далеко, и его понесло серединным течением, и он долго боролся с ним, стараясь уйти в сторону. Два берега, две темные полоски, до которых было одинаково далеко, словно смеялись нам ним, обессиленным. Его спасла мысль: нужно нырнуть поглубже и пробиться. Во что бы то ни стало! И он пробился.

Потом, отышавшись, долго лежал неподвижно на песке, и долго смотрел в небо, и плакал от восторга, что жизнь его продолжается. Теперь же в его личном бестолковом одиночестве, когда, казалось бы, дальше некуда, когда дни, чередуясь, становились все мрачнее и душа становилась ожесточенной и пустой, спасением для него стала Нива.

Он уснул счастливо измученным, и в эту ночь ему ничего не снилось.

Вскоре Нива действительно «нагрянула».

— Здравствуйте. Вот я и пришла посмотреть, как вы тут живете. Что же вы остолбенели? Принимайте гостью! Приглашали?

Домашников невнятно пробормотал: «Садитесь», «Будьте как дома», «Я очень рад» — и продолжал стоять, выискивая глазами непорядок в своем жилище, посмотрел в окно, за которым клубилась дождевая седьнькая морося с ветром, навалившимся на грунную зелень кленов. Вороха тяжелых от мокряди веток неслышно хлопали по влажному густому воздуху и тянулись к окну.

— Сейчас я вскипячу чай! Знаете, Нива, такой букет соображу: цейлонский, грузинский, индийский, краснодарский! Мечта народов!

Домашников осторожно снял с нее плащ и залюбовался ею — сияющей и смелой. Она словно светилась вся в тишине полутемной комнаты. Он впервые видел Ниву по-домашнему, без белого халата. Говорила однажды: «Парикмахер — вечная профессия».

Веселая, с крепко сбитым телом, пылая румянцем на щеках и сверкая из-под густых ресниц прищуренными углами глаз, она прошлась-прошагала по ковровой дорожке, пристально разглядывая немудреное убранство.

Он следил за нею, словно выдерживая суровый экзамен по жизнеустройству.

— Ну что ж... Почти чисто. Почти.

И засмеялась:

— Жить можно!

Говорила когда-то еще: «Парикмахеры и врачи — самые чистые люди на свете».

— Возвращаю платочек. Я его выстирала.

И снова оглядела комнату.

Кровать с подушкой. Диван с думкой. Широкий пустой стол во весь подоконник. Маленький телевизор на штаткой подставке в углу. Шкаф с книгами и журналами, а над ним два огромных портрета — Циолковский и Пушкин, — рисованные черным карандашом на ватмане самим Домашниковым. Вот и все.

— Ну что ж... Как говорит моя тетя: из порядка сделаем беспорядок, а потом наоборот.

Нива сняла жакет, скинула туфли, попросила мокрую тряпку, тапочки и начала командовать:

— Фортину открыть. Окно протереть. Стол отодвинуть в угол — он здесь мешает. Ну, что стоишь, помогай!

Домашникова обрадовало то, что она у него как бы не в гостях и держит себя хозяйкой, а главная радость была в том, что Нива по-простому перешла на «ты», что сразу сближало и было похоже на обещание большой откровенной дружбы, а это уже кое-что значит!

Протирая все от пыли, она смеялась:

— Я здесь наведу тебе рай! Сделаю тебе Дворец культуры!

Заглянув под кровать и звеня бутылками, Нива вскрикнула:

— Ма-амочка моя! Да тут у тебя целый гастроном! Ты что, алкоголик?

Домашников крякнул, покраснел, полушепотом оправдывался:

— Это за целый год накопилось. Праздники, знаешь...

— А ну-ка, Коля, бери самую громадную сумку и тащи всю эту радость в магазин обратно.

Уходя, он предупредил, похвалившись:

— А полы, между прочим, я мою сам. Поглядывай за чаем — сбежит!

Вечером в чистой, посветлевшей, словно обновленной комнате, сидя за столом, накрытым, будто скатертью, газетами, пили из стаканов душистый терпкий венгерский ром (он все-таки достал бутылочку в соседнем ресторане), ели яичницу, а потом с чаем огромный приторно-сладкий торт, будто где в молодежном кафе, и даже музыка была, и по телевизору им долго показывали не наши — дальние страны, которые далеко-далеко где-то, за рубежом, в общем.

«Ну вот, кажется и началась моя жизнь... на все сто процентов. А ведь больше мне, пожалуй, ничего и не надо. Лишь бы Нива была рядом. Вместе. Женюсь!»

Дождь перестал моросять. Земля и зслень отдавали паром. Огни завода и городских улиц мокро, дрожаще расплывались в темноте желтыми хлопьями.

Домашников и Нива провожались долго.

Ей, наверное, понравились его уважительность, предупредительность и скромность, и то, что он не старался оставить ее, чуть опьяневшую, у себя и вообще «не

лапал», не лез целоваться. Когда прощались, Нива поцеловала его в щеку, и он решился:

— Вот тебе ключи, Нива. От нашего дома.

«Возьмет или не возьмет?!»

Она вспыхнула и с вопросительной улыбкой посмотрела ему в глаза, а он говорил торопясь, словно извинялся за что:

— Приходи всегда. Будь как у себя.

Осторожно и почтительно взял ее руку в свою и положил ключи в затрепетавшую мягкую теплую ладонь.

И она приходила к нему почти каждый день, и каждый день ее прихода был для Домашникова праздником, полетом — «мечтой народов», как он любил говорить, когда сердечно восхищался.

Через месяц, когда им обоим стало уже особенно хорошо, он решился и не отпустил ее домой.

— Мне надо с тобой серьезно поговорить. Очень серьезно!

Нива осталась.

Говорили всю ночь.

Домашников прямо ей сказал о том, что до счастья любит ее, жить одиноким, без нее, он не сможет, надо им всегда, день за днем, быть вместе — пожениться, а жить они будут хорошо — он за это головой отвечает, и еще ей сказал:

— Оставайся, Нива, со мной. Навсегда. Начнем жизнь!

Нива все смеялась, то гладила его щеки, как маленького, то грозила пальцем, то любовалась им, словно видит его впервые. Но было ясно, что она довольна, обрадована. Это было видно по счастливому блеску ее родных глаз.

— Не так скоро! Я просто буду тебя, Коленька, навещать и навещать, пока не полюблю. Ну, не сердись!

Поцеловала.

— Ведь это на всю жизнь... И потом, мне надо подумать.

Это ее «пока не полюблю» длилось уже больше года. Домашников не сердился — счастливое сердце не позволяло. Не позволяло еще и то, что ночами он блаженно ощущал ее пылающее упругое тело и доверчивую руку на своей груди.

Бриться он стал ходить в другую парикмахерскую, чтобы не смущать ее на работе. Нива недоумевала и, поджав губы, говорила: «Дурачок ты у меня».

Однажды он как об особой радости сообщил ей:

— Скоро приедет мой самый лучший друг!

Нива сначала оторопела, потом склонила голову набок и взглянула на него грустными удивленными глазами:

— Хм, а я-то думала, что лучше меня у тебя никого нет.

— Ты не так поняла. Это же Мишка Белозубов приезжает! Вместе когда-то, давным-давно, учились. А ты Нивушка-ивушка, не только друг, а... больше! Сама знаешь. Я тебе расскажу сейчас! А то ты бог весть о чем подумаешь.

Нивушка-ивушка (он впервые так назвал ее, и это ей сразу понравилось) успокоенно улыбнулась:

— А-а... Ну, если так... Смотри! Я ревнивая! У-у-ух!

Погрозила ему уже не пальцем — кулаком. Оба они рассмеялись.

— Прочти телеграмму! — сказал он.

«Еду железный дымный город юности тебе гости тчк везу вагон новостей конъяку маленькую тележку тчк встречай Белозубов».

## 2

С Мишой Белозубовым Домашников познакомился сразу же после демобилизации из армии на конкурсных экзаменах.

Обоим было по двадцать пять лет, оба держались вместе в большом наплыве желающих стать студентами горнометаллургического института. Осмотрев Домашникова с ног до головы, его новую, ладно пригнанную армейскую форму с погонами старшего сержанта, Белозубов присвистнул:

— О-о! С тобой мы возьмем эту крепость штурмом!

И они, крякнув, пошли на «штурм».

Армейская форма демобилизованного хоть и давала Домашникову некоторые преимущества перед гражданскими абитуриентами, но все-таки всякий раз охватывал страх, когда он открывал двери аудитории и шел к экзаменационному столу.

Белозубов же весь сиял, ослепительно улыбался, по-

хлопывал всех по плечу: мол, не дрейфь, но по бегающим глазам, излишней жестикуляции и срывающемуся голосу угадывалась фальшивая маска, напускная храбрость, этакая суматошная бравада. .

Их приняли.

Белозубов развернулся вовсю, на вечеринке, устроенной вскладчину «счастливцами», он много пил и пел, много хохотал и много разглагольствовал о том, что молодым везде у нас дорога и почет, что он с детства привержен был брат крепости приступом, с маху и ему в этом всегда помогали врожденные способности...

Все это преподносилось всерьез до неприличия, и, чтобы поунять, «срезать» баухальство нового друга, Домашников при всех задал ему несколько вопросов по-немецки. Тот пытался что-то ответить тоже по-немецки, пыжился, дергался, но потом как-то сразу сник, махнул рукой:

— Я, кажется, уже... — И стал по-пьяному выделять фортелья из буги-вуги и твиста...

Все дело было в том, что на экзаменах Домашников пошел ему на выручку и сдал за него немецкий язык. Помогла служба в Германии.

Таким он и остался в памяти: бесшабашным, красивым, стройным, неунывающим, с румяным лицом и прической под лорда Байрона.

Домашников проучился только два года, с каждым днем убеждаясь, что дальше не выдержит на стипендии, без помощи, обносившись так, что больше некуда, и ушел на завод, к мартенам, подручным сталевара, как и до армии.

После того как он получил комнату по заводскому ордеру, Белозубов перебрался из общежития к нему — готовился к зачетам.

Это было смешно. Он метал, как дискоболист, учебники и рулоны чертежей под кровать, вытягивал ноги на диванчике и восклицал:

— Я шаляй-валяй! Я сдам. Нажму на фантазию! Развью. Заговорю.

И сдавал. Носился с проектами. Вовремя предоставлял чертежи. После каждого сданного им зачета и утвержденного чертежа Домашников накупал бааранины, свинины и говядины, варил махан в большой кастрюле. После пиршества Белозубов доверительно кричал:

— А ты знаешь?! Ах ты не знаешь?! Я выдвину такие проблемы, которые придется решать не одному научному институту!

И Домашников верил этому. Ему было душевно легко с ним, нескучно, интересно, и он помогал Белозубову, как мог, и втайне тоже «нажимал на фантазию», обложившись журналами, чертежами и до одури щелкал арифмометром.

После института Белозубов получил назначение в Нижний Тагил, вышел там в начальники цеха, защитил диссертацию и, как сообщал в последних письмах, женился, но через два года развелся «по причине ее, стервы, бездетности».

Каким-то он будет сейчас, при встрече! Солидным и важным, степенным и только чуть-чуть улыбающимся, наверное? Как-никак — кандидат технических наук! Не баран чихал!

А он, Домашников, все эти годы варил сталь, вышел в сталевары, не носился с проектами, а просто сдавал в БРИЗ сработанные ночами чертежи. Изобретал помаленьку. Да еще, — может быть, самое главное, — привыкал к званию «кандидата в вечные холостяки». Заводские друзья и соседи, конечно, сватали ему разных невест, но он только махал рукой, посмеивался и ссылался на причины: ему — «некогда, с этим делом можно погодить, никого еще не полюбил». Не встретил такого человека, чтобы ахнуть и сказать себе: «Это — жена!» Ругал себя на чем свет стоит: «Разборчивый, гад!»

И вот он увидел Белозубова.

Встречали его с Нивой. Домашников сутился, дурачился на перроне:

— Я тебя познакомлю с таким человеком, с таким человеком!.. Мы с ним ели из одной кастрюли пять лет. Начальник цеха, инженер, ученый... Скромный, честный, всей стране известный!

Нива беззвучно посмеивалась, взгляд ее скользил по синим рельсам, улетал в даль, глаза ее заинтересованно поблескивали, словно гадая, что за чудо скоро появится перед нею.

Семафор поднял руку, и поезд ворвался в город — снова вернул Белозубова в его юность-молодость. Он медленно выходил из вагона, посматривая по сторонам,

взгляд его упирался в здание вокзала, в привокзальную площадь и новые дома по проспекту, словно он не искал глазами никого, кто бы мог его встретить. Нарядный, с открытой головой, на которой по черной шевелюре паутиной висела седина. Со спокойными глянцевыми алыми губами. А еще — располневшие, выбритые до синевы щеки и большие белые руки, тяжело ухватившие два кожаных саквояжа.

Шел прямо на Домашникова.

Узнали друг друга.

Обнялись. Похлопали друг друга по плечу.

Вздохнув, Белозубов произнес:

— Ну, вот я и приехал. Как домой. Нива? Очень приятно. А теперь, люди, проводите меня в гостиницу.

Домашников возмутился:

— Как?! А ко мне?!

Белозубов кашлянул:

— Но ты же теперь не один?!

Да, конечно, Домашников был теперь не один, и время было уже не то — молодое, студенческое, когда можно жить, не думая о сложных вопросах жизнеустройства. Теперь он с Нивой, а это значит — семья.

Белозубов в течение месяца приходил к ним каждый день и всякий раз пел в обнимку с гитарой, галантно ухаживал за Нивой, ошеломлял Домашникова новыми открытиями в мартеновском процессе, якобы отраженными в положениях его диссертации. Дом наполнялся шумом, весельем: друг гулял во всю и в гостиницу провожали его, как всегда, почти пьяным.

Все было хорошо, если бы не два «но».

Когда однажды Домашников прочел реферат белозубовской диссертации, молодцевато брошенный другом на стол, он не столь порадовался, сколько удивился. В реферате ничего нового не было, кроме обобщенного опыта, всем металлургам давно известного. А это для ученого, как говорится, ноль без палочки.

Удивило же то, что Белозубов бессовестно принял за свои некоторые предположения и догадки Домашникова о методах и возможностях сталеварения.

В обоих случаях он поступил как верхушечник и иждивенец чужого ума.

Помнится, они когда-то долго беседовали об этом. Домашников работал, варил сталь, думал, Белозубов

же учился на инженера, слушал, запоминал и, наверное, тайком записывал.

В один из «тихих» или трезвых дней Домашников высказал все это ему в глаза. И хоть тот ошеломленно, обидчиво до наивности, со смешком оправдывался: «Но ты же знаешь, что это были только разговоры, мечтания, предпосылки... Позволь мне тебе объяснить», Домашников отрубил: «Не позволю! Это непорядочно, свет Миша! Спрячь-ка от меня подальше свою бесполую работу». И кинул ему на колени реферат в тяжелой кожаной папке.

А второе — с Нивой. Ее словно подменили. Она стала необычайно оживленной, лукавой, часто хохочущей, будто заново расцвела. Домашникову то и дело приходилось слышать, когда он приходил домой после горячих, напряженных в последнее время смен:

— А мы с Михаилом ходили в театр.

— А мы с Мишой ездили смотреть Железногорское море. Было так чудесно!

— А мы с Белозубчиком просмотрели все фильмы, которые я не видела.

И когда он слышал в следующий раз: «А мы...», — он, прищурившись, перебивал:

— С Михаилом. — И удивлялся тому, что Ниве хорошо с Белозубовым.

Хоть в этом, Мишка-холера, молодец!

Однажды она сказала Домашникову:

— Знаешь, а сегодня он угождал меня вином. В гостинице. .

Домашников отвернулся и мысленно обругал себя «идиотом». Неужели и он не смог бы все это делать: театр, море, кино и вино?

Успокоила Нива:

— Ну, чего ты сердишься? Ведь он твой друг. Нельзя же гостю скучать!

Он бормотал:

— Да, да... конечно...

Особенно его резануло по сердцу, когда однажды он услышал их заливистый смех и потаенный шепот на кухне. Домашников редко приходил в гнев, но тут ему пришлось подумать: «А что же у них происходит, когда они не со мной, вместе, а «мы с Михаилом»?

Это не было пошлой ревностью, просто он беспоко-

ился о том, что Нива и он с каждым днем становятся все дальше и дальше друг от друга. Когда он обращался к ней за чем-нибудь: «Ну что ж, супруга...» — она мрачнела, гас румянец, глаза обидчиво закрывались, и она приходила в то плохое настроение, которое было знакомо ему еще по парикмахерской.

Нива и Белозубов приходить к нему стали все реже и реже.

Домашников грустил и недоумевал.

Нива не приходила целую неделю, и в парикмахерской ее не было. Ему сказали, что мастер Семенова расчиталась.

Это было непонятно и странно.

Однажды, сдав печь сменщинку, вернувшись после ночной, Домашников увидел, раскрыв дверь, на полу большой белый листок из блокнота.

На фирменном бланке под грифом «Нижне-Тагильский металлургический комбинат...» торопливой авторучкой знакомым почерком размашисто сообщалось:

«Домашник! Мы тебя ждали с Нивочкой, но, к сожалению, поезд не ждет героев труда. Это по твоему адресу. Не дрейфь — будешь Героем! Если хочешь проводить — двигай по-быстрому на вокзал. Мы с Нивой ждем тебя, дорогуша. Коньяк еще не раскупорен, томится.

Брат, старина, не обессудь, что тебе сообщу! Ты помнишь все... Все жизненные трали-вали. Иду в открытую. Должен тебя предупредить — Нива уезжает со мной. Это решено. Решено серьезно. И ты, как благоразумный человек, не помешаешь нам. Надеюсь на твою честь и совесть. В Железногорске тысячи и тысячи невест — выбирай любую. Будешь счастлив, еще и мне спасибо скажешь. Ну вот, старина, карты раскрыты. Не осуждай и прости. Так мы решили, и тут изменить ничего нельзя. Это — жизнь, а не мартены... Твой».

Домашников сначала удивился, прочитав блокнотный листок, потом, когда слова со страшным смыслом запрыгали у него перед глазами и он кое-что понял, аккуратно сложил листок вчетверо и осторожно положил в нагрудный карман пиджака, рядом с авторучкой, напротив сердца.

«Так... Значит, решено... Письмо, как и все, цинично! Да что письмо, что это наглое письмо?! Нива... Неужели

она такой бывает — не сказала ничего, не объяснила, не предупредила?! Тайком, воровски, подло... А как же я? Хм... Еще не хватало невест воровать! Абракадабра! Значит — они уедут!

Он, Домашников, вернется к себе в пустую комнату, заварит чай и опять будет корпеть над выдумкой, переложенной на чертежи... Неудачник... Нет, просто ему так долго не везет, просто нужно ежедневно работать, с радостной мучительностью думать... Думать, думать... без просвета, без милого голоса, веснушек на щеках, карточек из-под сладких горячих губ... в одиночку.

«Ну нет! Ниву я никому не отдаю! Шиш ему, Белозубу!»

Домашников проглотил залпом стакан холодного чаю, застегнулся на все пуговицы — и в путь!

### 3

К вокзалу он решил идти пешком.

Белозубова он проводит, черт с ним! Но ему хотелось наедине с самим собой решить этот проклятый вопрос — как быть с Нивой. В возможное предательство с ее стороны он не верил. Не верил в то, что она может вот так запросто его бросить и укатить куда-то там в Тагил. Ведь у них любовь, ведь они уже жили, жили как муж и жена, и на его настойчивые просьбы она наконец-то согласилась зарегистрировать брак в загсе!

Вот ветер-холера! Прет навстречу, мешает идти, да и в небе что-то вроде грозы!..

Домашников оглядел небо.

Еще недавно падали медленные снега и все вокруг было белым-белое, словно облака опрокинулись на землю, а сейчас ворвась из степи в город шатоломная уральская весна.

По мглистому небосводу метались гудящие сухие громы, разбойно раздвигали небо, проваливались вниз и больно били землю. Ветры со всех сторон сшибались на заводском пруду так, что стонали сады и выли стены, арки и подъезды домов, стреляли форточки окон и пронзительно пели чугунные прутья оград. Звенящие шуршали стеклянные ветки карагача, ледяная броня лопалась, и подскакивали круглые осколки, тюкая в железную утреннюю твердь земли, будто рассыпались люстры.

Город, оглохший, продутый ветрами насквозь, нехотя пробуждался от грома: бесшумно вспыхивали квадратные огни в окнах, начинали натужно утюжить рельсы трамваи, и в сумеречном оцепенелом воздухе взрывалось эхо от кашля. Только над рекой, на другом берегу лицом к городу, спокойно и равномерно дышал всеми трубами металлургический завод, и дымные небеса над ним сложились и дрожали в цветном ядовитом мареве.

Домашников улыбнулся, надвинул на седые виски шапку и упрямо навалился на ветер.

Домашников нашел их в купированном зеленом вагоне. Проходя мимо хлопающих по плечу оконных занавесочек, он разглядывал разноцифирные таблички, гадая, какую же дверь открыть на наверняка. Потом ясно услышал удалой голос Белозубова и неестественно рыдающий смех Нивы. Здесь!

Вошел, задвинул со щелком дверь и кашлянул:

— Купе номер двадцать один! Очко! В твою пользу, Белозубов.

И пристально посмотрел в его глаза. Они были спокойны, эти глаза, такие чистые, с невозмутимой голубизной они, эти глаза, держали свой взгляд чуть прищуренно и глядели в упор, так, наверное, астрономы смотрят на новую звезду. И все-таки Белозубов не выдержал, заморгал и, вздохнув, воскликнул:

— Пришел! Садись. Сейчас выпьем! Нива, где стакан?!

На столике стояли две бутылки коньяка.

Домашникову хотелось напиться, заглушить обиду, он ругал себя за то, что неведомо зачем притащился сюда на позор и унижение и наверняка на презрение Нивы.

Она сидела, привалившись к углу, в полутьме, и только ее белая рука оттуда подавала в руки Белозубова закуски.

Домашников, чуть опьянев, втайне уже ненавидел себя за то, что сейчас не может пресечь белозубовские самодовольные разглагольствования, погасить его ослепительную улыбку и нахальный блеск глаз и убрать хозяйскую тяжелую руку с плеча Нивы.

Но он пока сдерживался, зная, что Белозубов все-таки был у него в гостях и вот уезжает... Друг... Впрочем, друг ли? Этот «друг» давно уже переродился, войдя в

ранг начальства, вернее, в когорту таких начальников, которые покрикивают на рабочих.

Домашников убеждал себя — встать и уйти, уйти, не попрощавшись, потому что с отчаянием уверил себя в том, что он уже решительно вычеркнул их обоих, Белозубова и Ниву, из своей жизни, но сидел и слушал Белозубова и смотрел на Ниву.

Он смотрел на Ниву и ждал от нее чего-то, наверное, улыбки, участия или чуда какого, а все, что сейчас происходит, выдумка, наваждение, сон, но он знал, что это не так, это правда, и не находил себе места в этой нелепой ситуации. Ему так хотелось поверить, что недоразумение развеется, как дым, и все получится так, будто не он их, а они с Нивой пришли проводить Белозубова в его дальний путь, сказать ему на прощанье все хорошие слова: и «счастливой дороги» и «будь здоров», а потом, когда тронется поезд, они вдвоем пойдут к себе домой, веселые, с уважением к себе, с чувством исполненного долга, как и должны поступать настоящие друзья, да и все порядочные люди.

Но сейчас все было жестокой правдой, и рука Белозубова отдыхала на круглом плече Нивы.

В ушах Домашникова все еще звучала его хриплая фраза: «Хотел в мягком, да раздумал. Поиздержался...»

Домашников ринулся упрекать: «Мог бы и ко мне обратиться, наскребли бы чего-нибудь», но промолчал, помня: Белозубов еще с институтских времен был известен в кругу студентов тем, что никогда и ни у кого кроме Домашникова не брал взаймы, зато и сам никогда и никому не давал в долг.

Опять разлили коньяк. Разрезали лимон. Пили из одного стакана.

Домашников, пьянея, твердил себе: «Надо уходить. Пора, пора! Черт с ними! Счастливой дороги. Будь здоров и ты, и ты...»

Белозубов же веселился, отвлекая добродушными разговорами, будто ничего не произошло, будто все идет, как надо, а посему отчего и не подурячиться. Он с особым восторгом сообщил о том, что, когда ему было девять лет и его матушка работала счетоводом в сельской школе, он впервые приобщился к биллиардной игре.

— Я смотрел на дядечек и недоумевал — что это

они машут длинными тонкими палками?! Я дотянулся подбородком до краешка стола и увидел, как эти палки бьют шарики, а шарики бьют друг друга...

Затем ему захотелось петь, и он стал затягивать песни одну за другой, но после первых слов махал рукой: «Нет, не то».

— Слушайте, какую песню я слышал на одной станции! Какой-то пьяный мужик горланил на всю планету.

Белозубов, словно крадучись, сжал руками плечи, покачал себя из стороны в сторону и, сморщив лицо, начал паясничать:

Прощай, друзья! Я умираю.  
Не я, а люди говорят.  
Пальто и брюки оставля-а-а-ю  
И две рубашки без заплат.

Домашников тогда начал приходить в гнев:

— Ну, хватит... голову морочить! — и услышал издевательский, торжествующий голос Михаила Белозубова, бывшего друга, в ответ:

— Эх ты, рохля! Поинтересуйся дальше.  
И снова запел, натужно и безобразно:

Именье вы мое продайте,  
По приказанью моему...

Домашников сжал кулаки и заметил, что Нива дышит так, будто ей не хватает воздуха, а тот продолжал ломать комедию, выкинул руку вперед, чуть не в лицо Домашникову:

Мой долг за водку уплатите.  
Пятак Маланье за селедку,  
И...

Белозубов приподнялся, лицо словно отрезвело, и палец его, белый, толстый, ткнулся в грудь Домашникова:

И... грош Борису — кваснику!

Кашлянул:

— Во какая песня! — И сел.

Домашников стерпел это издевательство, подумал, что, если сейчас он ударит Белозубова, это будет недостаточно. Угрожающее, с расстановкой произнес:

— Ну, вот что, Белозубов... Довольно. Ты думаешь, мы здесь с тобой готовы уничтожить друг друга?! Из-за

женщины?! Ошибаешься. Был ты когда-то в моей жизни неплохим человеком... А стал... М-да! Не дай бог, если тебе доверят, слышишь меня, доверят нечто большее — человеческие души! Впрочем, здесь уж «развить фантазию», «заговорить» тебя не хватит, не удастся!

— Хватит! Удастся!

Домашников вдруг весь похолодел, увидя, как Белозубов привлек к себе Ниву и впился в ее лицо губами.

Не помня себя, закричал:

— А ну, убери свои лапы, сволочь! Чужую... мою жену!..

Белозубов отшатнулся от Нивы и присмирел:

— Позволь... позволь... Ведь Нивочка ушла от тебя... ко мне. Насовсем. У нас все обговорено. Ты читал мое письмо? У нас все обоюдно.

— Ложь! У вас все обиудно! Вот так будет правильнее.

— Но это мы ведь уезжаем! Нива, что же ты молчишь? Подтверди. .

Нива растерянно заметалась, встала, наверное, хотела выйти из купе, но потом села в угол и затихла, как провинившаяся.

Еще Домашникову хотелось крикнуть в лицо Белозубову, как кричал в запале обиженный кем-то его подручный, казах Исмагулов: «Чем ты, я четыр раз лючше!» — но он больше не кричал, он замолчал и стал жадно ловить виноватые проблески в раскаленных черных зрачках Нивы. Думал, что она, наверное, любит обоих, но предпочтение отдает удачливому, красивому и веселому Белозубову, который поманил ее в далекий Нижний Тагил, поманил, обещал три короба, счастливой семейной жизни и еще черт его знает чего.

Домашников жестоко посмотрел на нее, она покраснела, отвернулась, он услышал ее вздох, махнул рукой и встал:

— Ну, прощай, удачник! Скоро доктором станешь! Белозубов встрепенулся:

— Как так?!

— А вот так... Приезжает один друг, кандидат технических наук, к другу-сталевару, увозит его жену, а впереди у него защита докторской диссертации и солнечная жизнь!

— Почему же прощай? Мы еще сто лет и тысячу раз будем встречаться. Жизнь потому что!

— С тобой? Не имею желания. И без тебя отогрею как-нибудь сердце у огня.

Белозубов зло улыбнулся:

— Не сожги. В мартенах... температура сам знаешь какая.

— Ну хватит! Поиграли. Пойдем, Нивушка-ивушка!

Белозубов произнес тихо, со значением, приказывающе:

— Нива, между прочим, никуда не пойдет.

Домашников снова сел:

— Это правда? — И всмотрелся в ее лицо. На нем снова вспыхнул румянец и, темнея, подрагивали милые конопушки и губы. — Послушай, Белозубов! Ты... знал, что она моя невеста, ты знал, что мы любим друг друга? Ты знал! Ты поздравлял нас и называл золотой парой. Так ведь, Нива?!

Она закрыла глаза и кивнула. На ресницах дрожали капли слез.

Белозубов закричал, улыбаясь:

— Сейчас тронется поезд. Пора тебе уходить!

— Вор!

Домашников выкинул руку и, на лету сжав ее в кулак, зажмурился, и с гневом ткнул в ненавистную стену улыбающихся зубов. Белозубов опрокинулся, откинулся голову и со стуком ударился затылком об мягкую стенку купе. Оцепенел, протянул:

— Ах, вот оно что... Друг называется!

Домашников засмеялся в ответ:

— Видал я тебя в гробу в белых тапочках! Какой ты мне друг! Ты... вор! Домушник! П-по-донок...

Еще не задвинув дверь купе, он услышал за спиной испуганный голос Нивы: «Коля! Коля, подожди!», но Домашников даже не обернулся, только стиснул зубы.

И вышел.

И зашагал по проходу вагона, с ненавистью смотря на оконные занавески. «Посрывать бы их одну за другой!..»

Что-то сломалось в его душе.

На перроне он закурил и медленно двинулся вдоль вагонов, к выходу, через строй провожающих.

У выхода, в коловорти ветров, кто-то осторожно взял

его под руку. Так всегда его брал под руку только один человек — Нива.

Долго шли молча. Потом он услышал торопливое:

— Ты прости, Коля, прости меня! Как-то все получилось... Сегодня он напоил меня в гостинице, и я потеряла голову... Он говорил — будем жить, где удача.

Домашников не слушал. Вернее — слушал, но не подавал вида: если она не уехала, осталась и сейчас идет за ним, значит, совесть еще есть, значит, действительно любит. Она все говорила и говорила, а он только сжимал кулаки и скрипел зубами: «Так... Так...» — потому что любил. Горько любил ее — жар-птицу, хищницу, волчицу. «Ей — тридцать. Мне — сорок. Двадцати шести, а то и больше проживем — лады!»

Она шла за ним, еле поспевая, и всхлипывала не-притворно.

— Почему ты вернулась?

— Я и сейчас не знаю. Куда же я из города, где родилась, на чужбину?! И потом — ты... А там все неизвестно... Да и ты его не любишь. И не знаю я, какой он человек... Знала, что он твой друг. А оказывается — вы враги. Дура я — хотела уехать, сбежать...

Домашников остановился около паровоза и повернул к ней лицо:

— Это похоже на предательство.

— Я это в вагоне поняла.

— На платок. Он — вор. И вор уехал. А ты останешься, со мной.

Мрачно пообещал:

— Я из тебя сделаю балерину! Я выплавлю из твоей души весь этот шлак, эти завидущие глаза... Это я обещаю! Слово честного рабочего!

Нива заулыбалась, вытирая глаза платком, благодарно привалилась к его плечу.

— Коленька, прости. Я всегда и во всем буду тебя слушаться.

Он оглядел ее:

— А где же твои вещи?

Она тоже оглядела себя.

— А у меня ничего нет...

— Хм... Ладно. Не горюй. Все будет.

— Ладно.

— И запомни раз и навсегда — ты теперь моя жена.  
Понимаешь — жена!

Когда они вышли на площадь и окунулись в теплые весенние ветра, Нива споткнулась...

Домашников поддержал ее под руку и не отнял свою.

За спиной раздался зычный паровозный гудок, и поезд тяжеловесно и дробно двинулся по гудящим рельсам к далекому сиротливому семафору.

Но это уже было за их спиной.

Это случилось в конце лета, но об этом событии никто не знает, потому что все живущие в ковыльной стороне заняты были другим, более важным — хлебом.

— Вот я и пытаю, скоро ли свадьба в твоей жизни? А, Малина? — спросил дядя Прохор, свесив ноги с полатей и поглаживая рыжую бороду. Это первое, что он спрашивал у племянницы, просыпаясь, а потом, закурив, начинал вести обстоятельный разговор о женихах, сватах, свадьбе и о всех прелестях семейной жизни.

Малина ждала, когда он достанет кисет, завернет длинную «козью ножку» и станет громко, долго кашлять, как ночью, сторожа совхозную контору.

«Воры моего кашля боятся!» — хвалился Прохор.

Но кашлять он не стал, будто передумал, а стал чихать на всю избу, ругаясь и грозя в окно саманному дому соседа жилистым огромным кулаком.

— Опять Телегин в самосад перцу насыпал. Я по запаху чую. Вертихвост! Курительный продукт переводит!..

Он принял старательно ругать соседа, слез с полатей и, сунув ногу в калошу — вместо второй ноги деревяшка, — сердито застучал и зашлепал по крашеным доскам пола.

— На свадьбе я ему, мужицкой ведьме, в брагу дегтя подолью! — Прохор засмеялся, довольный, и даже потер ладони. — Ну так как, есть кавалер-жених на примете?

Малина смотрела в распахнутое окно на желтый от зноя дом Телегиных, видела, как клюют пыльную землю серые куры, а старый равнодушный петух сонно сидит на плетне в соседстве с красными глиняными кув-

шинами. Побурели от солнца черные кирпичи кизяков— высушились. Над крышей Телегиных проткнул небо длинный шест антенны. Все как и раньше — и это окно, и дом, и зной, и дядины разговоры о женихах, и щемящая сердце грусть, что когда-нибудь придется выходить замуж.

В словах Прохора было много заманчивого, обещающего, и Малина с замиранием сердца слушала их и соглашалась, будто стоит только ей выйти замуж, как все на свете станет прекрасным.

Она понимала, что дядя Прохор после смерти ее матери остался единственным из родных, который, может быть, без злого умысла хочет получше устроить ее в жизни, понимала и его желание поскорее выдать ее замуж, то есть сбыть с рук и самому жениться. Еще довольно не старый, он часто беседует по ночам у конторы с птичницей Семеновной, овдовевшей в войну, и тоже, наверное, пытает, скоро ли свадьба в их жизни.

— Эх, лебедь Малина... — вздыхал Прохор. — Девка ты в соках, красивая, скажем, по всем статьям, опять же повариха — людей кормить можешь, специальность видная... — он гладил свою мягкую бороду и, насупив редкие белесые брови под шишковатым лысевущим лбом, тяжело и неуклюже подбирал льстивые доказательства в пользу невесты, оглядывая стены, будто на них написано то, о чем он должен ей говорить.

— Да с такой красотой только за генерала, не меньше, или в театре играть. Недаром тебя Малиной прозвали!

Дядя Прохор разошелся.

Выходить Малина за генерала не хотела, но эта похвала еще больше польстила ей, она зарделась и, забросив тяжелую косу с шелковой лентой за плечо, озорно подмигнула себе в зеркало.

— Да никого я еще не полюбила...

— Не полюбила... — растерялся Прохор и подумал немного. — А ты полюби! Для нынешней молодежи расписаний нету! — заключил он таким тоном, будто в любви Малины была виновата вся нынешняя молодежь.

Через крышу Телегиных катилось облако, закрывая тенью выложенный каменными плитами двор. Облако было огромным, круглым и белым, как снег, и Малина воежилась в предчувствии дождя.

— Ты вот упрямишься... — не унимался Прохор, — а вникнуть ежели: у человечества одной семьей меньше! Чуешь философию! Кормишь трактористов, они люди государственные, хорошие парни-то, хлебом народ кормят, и они должны тебя уважать... Выбирай любого! К примеру, Телегины... У них это легче. Подросла дочь, раз — и в дамки: за агронома... Вторая и вовсе без отцовской помощи Степку-конюха обласкала... Правда, одноглаз, но все муж. Вот погоди, расхватывают женихов — останешься нулем.

— Как бы не так! — рассердилась Малина. — И на мою долю достанется.

Прохор закашлялся, отышался, склонил голову и, чувствуя бесполезность уговора, с сердцем произнес:

— Эх, нашелся бы герой какой да фамилию бы тебе переменил!

— Ладно, дядя Прохор, успеется. Хватит об этом.

— Дело говорю. Я тебя, девка, не задаром ростили, в женщину справную вывел... обратно же, матерью кому-другому можешь стать... Вникай!

— Вам бы поговорить... Другие вон вникали — Дашка, например, сразу двойню родила! — расхохоталась Малина. Жених, свадьба, ребенок — сколько сразу счастья, все просто и все задаром. — Уж больно вам охото на свадьбе рядом посидеть!

— Тыфу, супротивница!

Прохор надолго замолчал, обиженный тем, что до племянницы никак не доходят его мудрые советы. Малина заторопилась. Из зеркала на нее посмотрела другая Малина, прищуряла чуть дымчатые черные глаза, осмотрела украдкой блестевшие черные волосы с пробором над белым круглым лбом, пунцовые щеки с родинками у мягких губ, приподняла изломанные брови, тряхнула серьгами и закрыла косынкой загорелую крепкую шею.

«Счастливая», — позавидовала себе Малина и погрозила зеркалу пальцем.

— Ну, я на пашню...

Прохор не откликнулся, но как только Малина открыла дверь, он торопливо бросил ей вслед свой последний козырь:

— Вот Гришка по тебе обратно же сохнет.

— На здоровье!

Она вышла за плетень и зажмурилась: солнце ударило прямо в глаза; облако в небе растаяло, воздух стал горячей — близился полдень, и все вокруг потонуло в степной знойной дреме: и деревья, и двухэтажный белый дом совхозной конторы, и элеватор на краю холма, и тяжелые тополя над прудом, и дороги, убегающие лентами в степные желтые дали.

2

За совхозными овощными полями, за зеленым лесом кукурузы и подсолнуха, на дорогах не видно никого — будто безлюдье, только стадо коров спасалось от жары в тальниках на пойме речки Быстрынки.

«А вдруг я и впрямь никого не полюблю?» — испуганно подумала Малина, переходя деревянный мост, осторожно ступая по древним иссохшим бревнам, и жизнь вдруг представилась ей малой и донельзя обидной. Упоминание Прохора о Гришке ничуть не задело ее, хотя она в последнее время много думала о нем. Малина успокаивала себя тем, что пока ей ничего и никого не надо: она молода, пригожа собой, просто живет, работает. Правда, в ее возрасте подружки все повыходили замуж, но ничего. Конечно, и ей многие парни, кто в шутку, а кто и всерьез, говорили: «А что, как посватаю»... И сейчас ее почему-то немного обижало то, что Гришка никогда не говорил ей таких слов, хотя бы и в шутку. Парни же, которые говорили ей такое, тоже поженились, только вот Гришка держался пока, будто ждал какую-нибудь принцессу.

Она знала, что он недавно вернулся откуда-то из больших городов, где работал моряком торгового флота, изъездил чуть ли не весь шар земной, и даже где-то в городе Лондоне собственными глазами видел английскую королеву, и шутил среди трактористов: «Поеду свататься к королеве. Так, мол, и так. Вот я какой».

Но из торгового флота его за что-то выгнали, и он вернулся в степь к матери, сестрам и братьям. Конечно, до королевы ему еще далеко, но и среди здешних красавиц-степнячек он почему-то не ищет себе невесты.

Гришка иногда пьет, бродит с дружками по совхозу и громко поет морские песни, пропадает по воскресеньям в других деревнях, «Нет, он не по мне... такой...» —

подумала Малина и решила, что уж без любви она никогда и ни за что не согласится выйти замуж, даже за генерала.

За прудом в оврагах горел ковыль. Розовое марево, качаясь над степью, закрыло расплывшееся солнце, слышались монотонный треск, хлопанье пламени; густой белый, цвета снега, дым, клубясь, расстипался, смешиваясь с седым ковылем, и плыл далеко-далеко к горизонту. Планетная степная даль мерцает от зноя, в палевом зареве пропадают высохшие белые ленты дорог, сомлевшие от духоты березовые колки, и только на всю степь раздаются треск огня и чуть громче далекое тарахтение тракторов, поднимающих залежные земли на древних пустоشاх.

Малина шла босая, закрыв голову косынкой, ступая тяжелыми ногами по мягким и теплым ковылям, шла к горячemu горизонту, туда, где под старыми березами стоят два полевых вагона: в них живут веселые парни-трактористы, которых она сытно кормит.

Конечно, тетя Настя, стряпуха, уже высыпала в котлы вкусную гречиху и, разрезав свиное сало ломтями, деловито опускает их в кипящее месиво. Конечно, первым подойдет к столу Гришка, потому что парень он здоровый и ест много, а еще и потому, что трактор его впереди всех и землю он вскрывает первым.

В родниковом разливе стоят жбаны с квасом — охлаждаются, и Гришка опять-таки первым после обеда будет пить из ковша и насмешливо говорить: «Не квас, а скуловорот». А потом утрется рукавом, и заляжет в зеленой траве под березой в тени, и будет спать, пока не разбудят.

Малина вспоминает его толстое в веснушках лицо, белый, давно не чесанный чуб, большие навыкате глаза и красивые алые, как у нее, губы, которые, по ее мнению, никого еще не целовали... Ее берет досада, что вот парень он все-таки неплохой, видный и самостоятельный, но нет к нему той прекрасной, большой любви, о которой красиво пишут в книгах, а есть просто внимание.

Наверное, любовь когда-нибудь все-таки появится. Но нужно, чтобы он ходил за ней по пятам, говорил ей приятные слова, а по вечерам сидел с нею рядом, обнявшись, и целовал, и ласкал, и шептал о свадьбе.

Недалеко, зарываясь в землю, лязгал железами трактор-тягач, на нем двигал рычаги Гришка. Увидев Малину, он привстал на сиденье, замахал ей кепкой, и она заметила, как сверкают его белые зубы.

Гришка заглушил мотор и, устало спрыгнув на пашню, побежал ей навстречу по холодным комьям земли. Посмотрели друг другу в глаза, смутились оба от чего-то, непонятного обоим.

— Ну что, нет писем? — спросил отрывисто.

Малина отвернулась, шаря в сумке, взглянула на него из-за плеча.

— От кого?

Гришка засмеялся:

— От королевы английской.

Малина удивилась шутке и хотела сказать, что королева ночами не спит — все пишет Гришке письма.

— От королевы нет. Есть опять от Сидорова. На, радуйся...

Он распечатал конверт и пробежал глазами по письму, написанному на тетрадной страничке в клеточку.

— От приятеля. Вместе служили. Снова зовет к себе.

Малина рассматривала капельки пота на его выпуклом лбу — капельки были масляными и темными, и в каждой из них отражалось золотой точкой солнце. Гришка дочитал письмо, аккуратно вложил страничку в конверт, спрятал за комбинезон как драгоценную вещь и бесстыже стал разглядывать ее лицо. Малина отвернулась и хотела было уже идти.

— Королева... — произнес он восхищенно, вдруг приблизившись, обхватил руками за плечи и нежно поцеловал ее в подбородок сбоку. У Малины гулко застучало сердце, и потому, что Гришка не отпускал ее и все пытался найти ее губы, она высвободила руки.

— Умойся сначала.

Он отпрянул и тупо уставился в ее прищуренные глаза, не понимая, а потом неловко усмехнулся, будто хотел сказать: «Ведь это просто так, разве нельзя?!» — но сказал другое:

— Ну ладно, Малина... — и, не найдя больше оправдательных слов, закинул куртку за плечо. Она стояла гордая и довольная, и он не мог понять: довольная, что оттолкнула, или тем, что обнял ее.

— В следующий раз спрашивай разрешения, — мяг-

ко упрекнула она и добавила, — вытри лицо-то... бедный... Жарко.

— Ты как печка. Я ведь просто так... вот... — он постучал себя по груди, где билось сердце, — толкнуло.

— Знаем, знаем! Все вы так. И на других толкает? А? Молчишь. Сегодня с одной, завтра со второй...

Гришка насмешливо осмотрел ее с головы до ног и поднял руку:

— Я что ж... я веселый. Жениться ведь никому не обещаю. Тебя жду.

— Меня не дождешься.

— Посмотрим, Малина! На свадьбе поцелуемся... принародно. Пока!

Она смотрела ему вслед и вдруг представила себе, что он сидит рядом с ней за столом в новом костюме с цветком в петлице, сидит тихий и красивый и не притрагивается ни к ней, ни к вину, а кругом гости, много-много гостей, и трактористы, которых кормит она, громче всех кричат им «горько», а Григорий, стесняясь, спрашивает ее: «Можно?». У Малины стало хорошо на душе, и она пожалела, что нагрубила ему.

К вечеру стан почти опустел: трактористы спешили в совхоз посмотреть новую кинокартину «Матрос Чижик». Малина не пошла — фильм она уже видела в городе, где ей пришлось побывать недавно.

Вместе с помощницей — тетей Настей они перемыли посуду, снова раздули огонь под котлами, чтобы приготовить ужин дляочной смены. Тетя Настя все охала, что не удалось попасть в кино, и Малина принялась рассказывать старушке содержание картины, в которой главные роли играли два знаменитых артиста. Когда Малина дошла до того места, где подлый лакей Иван крадет ожерелье и подбрасывает хорошему человеку, честному матросу Чижику, старуха заохала еще сильнее и, слушая, приговаривала: «Ах он, шельмез, этот Иван... попадись он мне — уж я бы его накормила... половником!»

— Хорошо играют, интересно...

Малина очень запомнила усатого Чижика с умными грустными глазами, и особенно лицо негодяя Ивана, которое почему-то было похоже на Гришкино.

Она подумала, какой в жизни этот артист, наверное, веселый, хороший человек, живет он далеко, где-то в Москве, имеет роскошную квартиру в красивом доме, и

когда утром идет на работу — поет веселые песни, потому что только в кино он такой хитрый и так здорово играет подлецов.

Малине весь вечер было грустно, словно она осталась совсем одна и никому до нее нет никакого дела. Никто из трактористов не пригласил ее смотреть «Чижика». Только Гришка пригласил, да и то будто прося извинения за нахальный поцелуй.

— Пойдем? Вдвоем веселее!

Она ответила насмешливо:

— Интересно! Может, ты и повара взамен пришлешь.

— Ладно, не шути, пойдем.

— Еще по дороге голова закружится. Целоваться не будешь?

Засмеялся:

— Ну-нет!

Хмыкнула, поджав губы:

— Тогда зачем я пойду?! — и убежала.

Гришка, вздохнув, ушел, и опять она принялась ругать себя от досады, что не пошла с ним в кино — вдвоем, наверное, действительно веселее.

Тетя Настя дремала. Когда проснулись трактористы-ночники, Малина накормила их ужином, а потом трактора начали продвигать пашню дальше, оглашая ковыли гулом железа и шумом моторов. Малина сказала себе «все в порядке» и направилась просто так, в степь.

За родником развернулась до самого горизонта пашня. Черные и тяжелые с будыlinами трав, торчащими из-под земли как палки, борозды одна к одной рядами переваливались к небу через степные увалы и случайные островки с плешинаами ковыля, тракторы объезжали их, чтобы не затупить плуги о синелобые валуны. Древняя жирная земля дышала прохладой развороченных пластов, и легкий вечерний туман парил над просторами поднятой залежи.

Весной совхоз засеет эту землю, взойдут хлеба. Осенью созревший урожай уберут и будут возить машинами и подводами в тот полупустой и грустный элеватор, что стоит на краю холма. Еще один год прибавится в жизни Малины, и все повторится сначала, и опять она будет кормить людей, только уже не трактористов, а комбайнёров и работников совхоза, а Гришка уедет пахать новые ковыльные земли...

На сердце стало томительно от ожидания чего-то, и Малина вышла на твердую, высокую, будто мощенную камнем, дорогу и взгляделась в даль, туда, где почти у самого горизонта поблескивали голубые рельсы и виднелась станция. Там железнная дорога огибает совхоз и уходит в степь к Сибайским рудникам, на которых когда-то работал ее отец. Ей казалось, что однажды она сядет в поезд и будет ехать по всей стране долго-долго, через степи, леса и горы к самому морю, которого она ни разу не видела в своей жизни. И можно встретить в дороге много-много новых людей и среди них, может быть, где-то ходит тот хороший человек, которого она сразу полюбит.

Когда она вечерами приходила на этот полустанок, где на несколько минут останавливаются поезда, то любила смотреть, как подходит паровоз с вагонами, будто он может привезти ей этого хорошего человека или когда-нибудь обязательно привезет. Поэтому она, задумчивая, ходила мимо вагонов, всматриваясь в лица пассажиров, и всю ее заполняла светлая грусть, а люди куда-то спешили, и никто, казалось, ее не замечал... Но сегодня идти туда ей не хотелось, не хотелось потому, что придется долго ждать поезда на пыльном полустанке, а здесь сейчас в вечерней степи можно упасть в ковыли, смотреть на закат солнца, слушать тишину и думать о Гришке. Он тоже когда-то приехал в том же поезде, но она не была там в то время, поэтому увидела его впервые не на полустанке, а в бригаде... А может быть, он и есть тот человек, которого она так долго ждала?

Красный шар солнца закатывался за горизонт, расплавляя все вокруг огнем, оседал прямо на землю; на взгорьях горели розовые камни; темнели зеленые травы и оранжевые от солнца ковыли, из которых как бы струились пламенные лучи заката, — все красочное, глухое, грустное, будто на другой планете. На сердце было одиноко, и тянуло домой, в уют, к людям. Может быть, она увидит там Гришку, и он опять скажет ей: «Пойдем вместе», — а куда идти? Просто так... А просто так в жизни ничего не бывает... Ведь не просто так он поцеловал ее, а потом пригласил в кино. И не просто так люди любят друг друга, выходят замуж, и женятся, и работают, и живут семьей. ...Наверное, всему своя пора:

рождение, семья и долгие годы, как у других, а потом смерть...

Малина вздрогнула, прошептав это слово, и оно показалось ей каким-то чужим, тяжелым и мрачным и никак не вязалось с пламенным небом, красочной травой и светящимися ковылями, шумом тракторов на пашнях, стуком собственного сердца и жаром молодых пылающих щек...

Умерла только ее мать, в войну где-то далеко-далеко, в чужих странах погиб отец, а она вот живет, молодая, красивая, незамужняя, а Гришка, наверное, любит ее, потому что первый ее поцеловал, и будет она жить еще долго-долго...

Ей почему-то очень захотелось увидеть Гришку. Она повернула домой в деревню, к людям: ковыли отступали, переливаясь последними лучиками красного солнца, которое уже наполовину ушло в землю, а небо из желто-сизого уже наливалось сиреневым светом, и, когда макушка солнца скрылась, оно стало холодным, свинцовым, и в степных сумерках медленно и робко стали пропасть первые близкие звездочки-светлячки, будто развесенные в воздухе. Где-то на краю деревни кудахнула курица, и сразу зазвонило боталами двигающееся по улице стадо коров, начали лаять волкодавы, и над всей этой вечерней поющей тишиной отчетливо и громко затарахтел движок у совхозного клуба.

### 3

Привалившись к покосившемуся плетню, Малину встретил сосед Телегин, длинный и тощий мужик, который удачно выдавал своих дочерей замуж, каждую осень поочередно.

Хитровато прищурившись, он загородил ей дорогу и, раскинув руки, предупредил, подмигнув:

— Постой-ка! Дашка моя в избу вашу слетала, там гость у вас — тебя сватать пришел. Литру спирта с собой приволок. Радуйся, баба!

Малина покраснела и машинально поправила кофту.

— Кто же это?!

— Зайди. Узнаешь. Меня не позвали. Злой Прохор-то на меня — днем поругались.

Малина постояла в нерешительности и, отодвинув

Телегина, прошла во двор. Из сеней слышались пьяные выкрики и залихватская песня Гришки, в которой он громко мечтал «о море, о дальних огнях маяков...»

«Конечно, мечтает он не о море, а обо мне, раз пришел свататься, но зачем же спирт?» — с досадой подумала Малина и представила, как опять долго и привиря будет хвалить ее Прохор и пьяный лезть целоваться, а Гришка будет сидеть и ждать ее согласия. «А может, он не свататься, а просто так пришел?! Но просто так ничего на свете не бывает!»

Когда она вошла и повесила косынку, увидела их, обнявшихся за столом, они ее не заметили: Прохор наливал в стакан спирт, Гришка пел.

— Здравствуйте! Это что за праздник?! — выкрикнула Малина, они разом повернули к ней головы.

— Племяша-а-а! Лебедь моя-а! — обрадовался Прохор и, пошатываясь, вылез из-за стола. — Григорий вот в гости ко мне зашел. Разговор у нас! Садись-ка, хозяйка, отужинаем.

Гришка сидел, улыбаясь, переодетый в новый пиджак и хромовые сапоги, и смотрел на Малину пристально и нагловато, будто хотел сказать: «Жду тебя. И в кино не пошел».

— Я не хочу. Сидите пейте и пойте. Я устала, — отодвинула дядю Малина и заметила, что Прохор согласно кивнул ей. Она подумала о том, что Гришка пришел просто так, выпить. «Ладно. Посижу, послушаю их разговор. Гришка, наверное, свататься не умеет, а только пить». Она ждала, что они будут говорить о ней, о свадьбе, но меж Прохором и Гришкой происходила совсем другая непонятная для нее и, как ей казалось, мудрая беседа, причем она удивилась тому, что Прохор обращается к Гришке на «вы», чего раньше не делал, а тот к нему на «ты», наверное, потому, что о ней и о свадьбе они уже поговорили досыта и у дяди Прохора на этот счет, конечно, не было никаких возражений...

— Вот ведь лошадь моя гнедая, возрастная... а возила получше машины какой! Другой такой не съшешь, а теперь не воскресишь. За семьдесят верст гонял — только хвостом и помахивает. Царство ей небесное!

Это Прохор хвалит Сивку.

— А ведь энергия машин и измеряется лошадиной силой. А электричество, например, ваттами и киловат-

тами! — громко, оглядываясь на Малину и почему-то нажимая на «тт», говорит Гришка.

— Силы, да... Вата... — поддакивает запьяневший дядя Прохор и ласково смотрит на гостя. — Налейте, Григорий Васильевич!

Хорошие они. Мирные оба. И ей уже радостно оттого, что Гришка держится молодцом, сидит тихо, не пьет и говорит умные слова.

— Или вот, скажем обратно же, земля!.. Хм... — Прохор трет кулаком лоб — это значит, сейчас он станет подбирать культурные слова. — Она, планета, безотлагательно, работница во всех смыслах и в дружбе с человечеством. Хлеб! — он многозначительно поднимает желтый обкуренный палец к потолку и, опять потерев кулаком лоб, замолкает.

Малина закрывает глаза: видит солнечный свет меж стеблей созревшей пшеницы, слышит, как цвилькают кузнечики, и перед ней проплывают степь, леса, горы и города у моря — это где-то там, далеко, а здесь Гришка на тракторе пашет планету... Она слышит слово «атом». Это голос Гришки — и, открыв глаза, опять прислушивается к разговору. Прохор перебивает Гришку и начинает кипятиться. Малина не следит за разговором, дремлет, но пьяный Прохор кричит и стучит кулаком по столу.

— Атом это черт-те знает что выдумали. Ни к селу, ни к городу. И без него, проклятого, жили, хлеб растили. А теперь вот — бомбы!.. Войной пугают!.. — Прохор стукнул об пол деревяшкой и резко взмахнул рукой. — Вторую ноженьку никому не отдам. Я бы безотлагательно запретил бомбы. Нехорошо. Не рабочей масти дело. И у наших запретил бы, будь я генералом каким... Налейте, Григорий Васильевич!

Гришка смеется, хлопает Прохора по плечу «ты не прав» и подробно и вежливо начинает объяснять, в чем не прав дядя. Малина уже не слушает разговор, а смотрит на «Григория Васильевича», на его молодые теплые глаза, жесткие скулы и вьющийся белый чуб и думает о том, что Гришка не такой уж плохой парень, как о нем говорят многие, и что хорошо вот так было бы всегда, если б Гришка приходил к ним в гости, сначала к Прохору, а потом к ней, — уж они нашли бы о чем поговорить. Она вдруг подумала, что Гришка — ее муж,

давно живет здесь, а дядя пришел к ним в гости, чтобы «безотлагательно» поговорить с Гришкой обо всем, и на сердце ее хлынула волна нежности и защемила радостью ожидания чего-то хорошего, счастливого. Ей стало жалко Прохора, который, наверное, все-таки женится на птичнице Семеновне и, отгуляв на своей и ее, Малиной, свадьбе, опять будет сторожить ночами совхозную контору и кашлять, пугая коров.

— Нет, нет, нет! — стучит Прохор по столу кулаком. — Животных бить нельзя. Я кнут никогда не держал! А у нас еще драки меж парней. Друг дружке морды бьют — загляденье! Налейте, Григорий Васильевич!

— Не надо больше, Григорий Васильевич! — покраснев от того, что назвала Гришку по имени и отчеству, Малина останавливает руку Гришки с бутылкой и, взяв дядю за плечи, выводит из-за стола. — Иди спать. Ты... уже!

— Нельзя идти противу закона. Некоторые идут, особо в пьяном виде. К примеру, Телегин... взял у меня, значит, с плетня сапоги, как свои! Я бы мог его... а я простил. По ошибке — отдай. — Прохор улыбается и гладит Малину по щеке: — Племяша, лебедь... Ростил, ростил — вот и замуж пора. Любовь, вишь, тебе подавай! А ты полюби! Вот Григория Васильевича! Он... — Прохор подумал о чем-то и заключил: — Он!

— Ладно, полюблю. Спи.

Вместе с Гришкой они отвели Прохора в другую половину дома, и он сразу уснул. Гришка засобирался домой медленно и нерешительно, очевидно, ждал, что Малина остановит его и скажет: «Оставайся. Посиди еще». Но она молчала, ей и самой не хотелось, чтобы Гришка ушел, а хотелось, чтобы они сидели рядом и разговаривали о чем-нибудь, может быть, он сказал бы ей тогда, что любит ее, что приходил он неспроста, действительно свататься, а что ни слова не было о свадьбе, так это просто недоразумение.

— Куда же ты, Гриша... — остановила его Малина, и он покорно сел с нею рядом.

— Пора уже. Ночь.

Голос у него виноватый и сдавленный, лицо задумчивое, и ей было радостно от того, что он сидит рядом, накинув пиджак на плечи, и, наверное, думает о ней. Хорошо! Зачем эти дальние поезда на полустанке, кото-

рые приходят и уходят, какой-то другой человек, которого она ждала, если Гриша специально не пошел в кино, а явился к ним в дом и, конечно, к ней. Она вспомнила, как увидела его первый раз, на пашнях, уставшего, в измазанном мазутом комбинезоне, как он подошел к ней с протянутой чашкой, вспомнила и весь их разговор, когда он весело приказал:

- Повар, мне погуще!
- Умаялся, видно.
- Не смейся, красивая. Наливай! Как звать?
- Малина.
- Ох ты! Сладко! Замужем?
- Нет.
- Хм! Бывает...
- Пока не тороплюсь.
- Правильно.

Что «правильно», она тогда так и не поняла. Больше он с ней об этом так и не заговаривал, только сегодня, там на пашне, когда поцеловал и еще грозился повторить принародно. Что ж, пусты! Вот он рядом, такой хороший, родной и смиренный.

«Наверно, это любовь, наверно, я его полюбила или начинаю любить...» — с радостным испугом подумала Малина и поняла, что любит, любит его, а за что и сама не знает. Может быть, так и бывает всегда.

— Это я у Панфилова спирту достал... Пахать-то мы закончили. Завтра секретарь райкома приедет. Торжество. А потом не знаю куда, — как бы оправдываясь, проговорил Гришка и качнулся.

«А куда же потом?..» — подумала Малина, но не решилась спросить об этом: «Ведь уедет, может, далеко и надолго... А как же я одна? Ведь люблю...» Ей казалось, что если она не скажет об этом ему сейчас, он уйдет, уйдет навсегда — ведь все может быть. И больше она никого не сможет полюбить.

— Гриша... — грустно и как можно ласковее произнесла она и опустила голову. Большего говорить она не решалась, то ли потому, что страшновато говорить о любви в первый раз, то ли оттого, что стыдно.

Он что-то понял, смело взял ее за руку и прислонился щекой к ее щеке. Она не отодвигалась. Только сердце учащенно забилось от близости, да захватило дыхание, и стало жарко. «Скажу!»

— Знаешь... — Малина вглядилась в его глаза и скороговоркой прошептала: — Я начинаю тебя любить. Вот... — взяла руками его голову, нашла губами губы. — Вот! А теперь иди!

Она отвернулась и услышала:

— Да?! Так это ж здорово!

Гриша привлек ее к себе и больно поцеловал в губы...

— Уходи... — слабо попросила она.

— Не-ет!

— Ну, Гриша... Что же ты делаешь?

— Я? А что?

— Ты пьян!

В другой половине застонал Прохор и закашлялся, ругая кого-то во сне. А здесь в окна глядела светлая степная ночь и во всех стеклах отражалось по луне.

— Пойдем. Проводи! — вздохнул Гришка.

Малина накинула на себя плащ-дождевик, притворила дверь и быстро застучала каблучками туфель по каменным плитам двора. Ночь. Теплая, пахучая, с луной и звездами! Ковыли серебряные от лунного света. На душе радостно, вольно, светло, и степь широка-ширака, а кругом никого — все люди спят, и только они вдвоем, Малина и Гришка...

Все началось с того, что он грубо стал обнимать ее, но ей это было приятно. Пусть! Ведь никто не видит. Он шел, опершись на ее плечо. А потом начал бахвались.

— Ваш брат меня стороной не обходит.

Она даже похолодела вся от этих слов. Остановилась и убрала его руки с плеч.

— Я-то обходила! А ты... просто глуп!

Гришка разлегся в ковылях и протянул к ней руки.

— Ну, ладно!.. Не притворяйся... Иди ко мне. Здесь никто не увидит.

Она вспыхнула, поняв, что ему надо, и ей стало омерзительно.

— Только попробуй! Ты думаешь, я из тех, кто сами на шею кидаются?!

Она стояла и дерзко смотрела на него, как он растерянно достает папиросу, зажигает спичку, прикуривает и пускает колечки дыма. Колечки просвечиваются луной, и плывут они вверх белые-белые...

«Уйду! А он пусть остается. Как же так... Здесь в степи так просто и мерзко, глупо и страшно... А думала, все будет по-хорошему, как у людей, свадьбу спрavit, и матерью быть и ребеночек чтобы. Ведь я сама сказала ему о любви, и сама поцеловала его, и никто об этом не знает, только он. А он завтра будет хвалиться всем, смеяться и показывать на нее. Дура я!»

Гришка заложил руки под голову и, зевнув, потянулся.

— Мне бы только поцеловать девку, а потом она сама на шею кидается!

«Вот Гришка по тебе обратно сохнет... — так сказал дядя Прохор. И ничего он не знает!»

Ей захотелось заплакать, она сдержала себя, только закусила губу.

— Ты же сама полюбила... Ну не я, так другой... Не уходи! — Гришка встал, схватил ее за руку.

Он показался ей страшным. Внутри ее что-то оборвалось. Она поняла, что он притворялся, будто «сохнет».

А она любила, любила не просто, не затем, чтобы выйти замуж, как дочери Телегина, которым все равно. Ей захотелось ударить его, ударить больно, ударить в губы, которые она впервые поцеловала час назад, и пожалела, что она не мужчина.

Гришка схватил ее за плечи, повернул к себе. Она толкнула его в грудь, вырвалась и побежала по степи в деревню, чувствуя, как горят щеки от стыда и перехватывает горло от обиды.

Как же так получилось? Вчера была такая ночь, теплая, пахучая, с луной и звездами, а сегодня опять утро, и тяжело, и не хочется идти на пашни.

#### 4

...Утром над степью качаются туманы, дымятся ковыли, и как только солнце согреет воздух и землю, над ними колышется теплая пахучая испарина, а туман облачками плывет над прохладной речкой.

Холодный час рассвета! Уже не стучит колотушкой сторож на совхозной бахче. Одинокий грузовик, нагруженный бочками с солидолом, отъезжает от конторы, будит жителей громким сигналом и, поднимая первую

пыль, покидает деревню. Мычут коровы, к ним спешат хозяйки с дойными ведрами. Над далекими синими пашнями полыхает зорька, становится малиновым небо, и горластые петухи, соревнуясь друг с другом, возвещают о том, что день пришел. Дорог за деревней не видно — синие, они слились со степью, и резкие сквозные дали все светлеют и светлеют...

...Вокруг старой коряжистой березы степи не видно — одни пашни, сплошной круговой горизонт. Только далеко у речки раскинулась ковыльная сторона большой желтой полосой и тянется к небу, в мерцающие горящие дали.

На стане шумно, только молчат трактора с заглушенными моторами. После завтрака трактористы сели в полукруг слушать похвальную речь секретаря райкома. Малина, прислонившись к березе, слушает тоже. Секретарь называет фамилии, хвалит и благодарит, слышны громкие хлопки ладоней, они становятся громче, когда секретарь заканчивает речь словами: «Страна надеется на то, что бригада и на новых пустоشاх проявит такой же трудовой героизм. Счастливого пути!»

Малина дослушала до конца. Фамилию, имя Гришки секретарь райкома упоминал дважды иставил его в пример. А он стоял у стола, улыбался, польщенный похвалой, и, казалось, никого не замечал вокруг.

Ну что ж, трактористов перебросят за шестьдесят километров, Гришка уедет, и она забудет о нем так же быстро, как скоро полюбила!

Малина подумала об этом и услышала свою фамилию. Кто-то крикнул: «А где же наши кормилицы?» Кто-то взял тетю Настю под руки и подвел к столу, а Малина, опустив голову и кусая косынку, быстрыми шагами пошла мимо родника и скрылась за березами, за ковылями.

Она упала в ковыли и зарыдала первый раз в жизни горько и громко от досады, от обиды, что мечта ее была обманута просто и грубо человеком, которого она начала любить, от того, что первый раз в жизни пришла любовь, которая стала для нее несчастьем.

Да, закончили пахоту, перепахали новую землю — вырастут на ней хлеба... А вот Гришка... перепахал ее сердце... Что вырастет в нем? Наверное, чертополох!

Малина ужаснулась этой мысли и застонала.

...Над степью поднимались огромные белые облака, будто из-под земли. Закрывая полнеба, освещенные солнцем, они плыли по горизонту, а за ними тяжело и медленно надвигались тучи, подгоняемые ветром из далеких краев. Ветер распластал седые ковыли, прочесал их, и когда, тревожно хлопая крыльями, выпорхнули в воздух перепела и из далей чугунного цвета защелкали первые капли дождя, небо распорола стреляющая белая молния и, осветив степь, рассыпалась и погасла в тучах.

Малина лежала, не двигаясь, и смотрела в небо на облака. Ковыли пахли прелым сеном, прохладный воздух — снегом, и никуда не хотелось уходить, а просто лежать вот так в степи и думать обо всем на свете. Любовь ушла. Осталась просто жизнь, и в ней когда-нибудь настанут светлые дни для Малины, потому что она молода и умеет любить.

Оказывается, надо не просто любить, но и знать, кого любить. Нужно суметь вовремя почувствовать сердцем человека — он ли твой единственный, один из тысячи встречных. Но как это трудно!

Малина поднялась, поправила рукой волосы, гордо вскинула голову:

— Ну и пусть!

Пусть первая любовь была для слез. Вторая будет для счастья!

Погонщики отчаянно ругались, кляня погоду. Двое суток бушевала метель, застилала путь. Снега навалились на скалы, рассыпались в ложбинах, укутали кустарники. Буйный мартовский ветер подымал снег и бросал, разбивал о гудевшие стволы сосен и кедров. Снежные хлопья хлестали лицо, били в грудь, останавливали дыхание. Шумели, раскачиваясь, верхушки сосен, стряхивая на погонщиков и оленей пласти затвердевшего слоеного снега. Трещали ветви, ломаемые рогами. Гремели камни, скатываясь по гулким бокам скал.

На последнем перевале олени остановились, сгрудились, нюхая воздух. Кончался спуск с Уральских гор в низину. За перевалом, в широком логу, по мелкому перелеску тонко свистел ветер, полируя сугробы. Темная лавина оленей нырнула в ложбину.

Зашуршали лыжи оленегонов, залаяли клыкастые псы, защелкали карабины. Окрики погонщиков: «Хэгэй! Охо-хо! Эмас!» — тонули в шуме и звоне. Остановившись от выстрела бригадира Колотонова, олени стада сбились в кучу, полегли на снег, закрыли тушами широкий лог. Мычали пугливые важенки; трубили, подняв морды, сильные племенные быки. Шустрые олешки, наклонив рога и сцепившись ими, били друг друга передними копытами. Собаки покусывали отбившихся оленей за ноги, сгоняя их в стадо.

Слышался знакомый зычный окрик бригадира: Колотонов объезжал стада. Сдвинув редкие седые брови и прищурив белесые колючие глаза, всматривался в даль.

Надо было проверить, нельзя ли сократить путь, разгадать — не готовит ли равнодушное, сумрачное небо

еще более шальную погоду, отдать распоряжение бригаде — разбить небольшое стойбище в два-три складных дорожных чума и обязательно почистить карабины. Привести оленей в целости на стоянку — самое главное.

Горы прошли. Теперь будет легче. Вот только Тайбо... Ну какой из него погонщик! Мальчишка! Старый Бетык и то быстрее на лыжах ходят. И видит зорче... Тайбо такой неуклюжий и толстый! Всю дорогу отставал. То у него лыжи застрянут, и он падает в снег, то засматривается на скалы или могучие кедры. В горах, когда на оленей обрушилась метель, он вдруг запел песню, чуть было не провалился в овраг, упустил оленей. Хорошо, что Бетык помог!

Походный складной чум из жердей и оленых шкур дрожал от порыва ветра. Внутри чума на утоптанном снегу расстелены пушистые медвежьи шкуры; на них обычно спит погонщик, старый молчаливый Бетык.

Перед тем как лечь, он молится своим бесчисленным богам, вставая на колени, вперив сухие зоркие глаза в открытый полог чума и бормоча заклинания:

— Ты, мой небесный брат и бог оленей, покровитель людей, я молюсь тебе и говорю с тобой перед отдыхом после трудного и долгого пути. Я стар и одинок. У меня нет семьи. Но мне хорошо, когда я веду оленей по земле с моими братьями, которые меня любят и почитают мою старость...

Тайбо сидит в стороне, наблюдает за стариком, боясь нарушить его священную молитву.

— Я говорю с тобой на дорогах, на пастбищах и в поселках, где живут мои братья, молодые и старые... И ты слышишь меня, и мне и моим братьям хорошо...

Тайбо усмехается, наблюдая за Бетыком.

«Колотонов говорит: «Не надо мешать старику, пусть разговаривает сам с собой». А разве он разговаривает?! Он молится. — Тайбо махнул рукой: — Пустое занятие! Лучше бы песни пел! Вот, как я! — Тайбо хотел запеть, но, помедлив, раздумал. — Колотонов говорит: «Бога нет никакого!» А у Бетыка — не один, а много-много богов. Почему не один, а много? И зачем они ему? Он разговаривает с ними. А почему с ними, а не с человеком? С нами?!»

Тайбо взял карабин, стал разбирать его: «С нами

нужно разговаривать Бетыку. Чем мы не боги? На земле... — ткнул кулаком себя в грудь: — Я бог!» — и за-смеялся, довольный.

А сейчас Бетык спит крепко и даже во сне бормочет что-то. Тайбо услышал отдельные слова: «путь», «олени», «небо» и понял, что Бетык болеет душой за колхозные стада.

Тайбо относится к старику с уважением и думает пригласить его на свою свадьбу. Колотонову еще на зимних кочевьях рассказал о невесте. Она приехала из большого города, училась там три года в педагогическом училище. Тайбо дружил с ней еще до ее отъезда на учебу и так долго ждал, когда она вернется в поселок. А сейчас она работает в школе совхоза учительницей. И любит Тайбо, и согласна стать его женой.

Вошел Колотонов, сел на пустой ящик и стал что-то чертить химическим карандашом на карте. Тайбо посмотрел на хмурого бригадира, представил себе, каким будет веселым Колотонов на свадьбе, и тихо засмеялся. Приближение к дому, скорое свидание с невестой не дают ему покоя. Он насухо протирает карабин, напевая веселую песенку собственного сочинения:

Мы в пути, мы в пути.  
Далеко еще идти;  
А дорога... а дорога  
Не бывает без тревоги.  
Та-ра-ра, там-ра-ра!  
Ай-ай-ай-ай!

Он двигает локтями, покачивает головой и притопывает ногами в такт ритму.

Колотонов дымит трубкой, посматривая на Тайбо, удивляясь, откуда у этого толстого, скуластого парня столько энергии после трудного пути? Колотонову очень хочется спать. Но нужно наметить кратчайший путь до последней стоянки. Тайбо перестал петь и, отложив в сторону карабин, задумался. Колотонов понимает настроение Тайбо. «Скучет парень. Ждет его невеста. Скоро придем в поселок — свадьба будет».

Ветер утих. Похолодало. В открытый полог чума были видны мирно дремавшие олени. Проснулся Бетык и со словами «долго я спал — нехорошо» — отвернулся к стене, закрыв глаза.

Колотонов отложил в сторону карту.

— О чём задумался, Тайбо? Грустишь?

Тайбо поднял голову, посмотрел на Колотонова, усмехнулся и, вздохнув, потер щеки ладонями.

— Бригадир хочет спросить, не скучно ли Тайбо в пути? Нет, Колотонов! Я думаю вот о чём: земля большая. Я один. Сколько людей на земле живёт, обо мне не знают. Так жизнь пройдет!

Колотонов прищурил глаза, потер ладонью губы и кивнул Тайбо, подумав: «Молод еще. Рано думать об этом».

Тайбо продолжал:

— Вот я вырос. Работаю. Невеста есть — хорошо. Приведем оленей в совхоз — свадьба будет. Жизнь дальше пойдет... — опять помолчал, раздумывая: — Этого мало! А мне все увидеть надо. Много знать, слышать. Всех людей на земле увидеть надо. Посмотреть, как они живут! Ничего я еще не сделал. Нигде не был. Работа и дети — это мало!

Колотонов пошутил над Тайбо:

— Бросай невесту. Иди в город. Работы много везде. Невесту не жаль? — И, не дождавшись ответа, добавил серьезно: — Ты, Тайбо, мало в школе учился.

Тайбо согласился с Колотоновым:

— Да, не пришлось мне. Школа была очень далеко от нас — триста верст! Это плохо. Читать я умею. Невеста моя умница. Она все знает, она научила. Мы читаем вместе книги, которые большие люди писали.

Бетык открыл глаза, замотал головой:

— Свадьба — хорошо! Праздник будет. Приведем оленей — второй праздник будет. Хорошо! — и умолк.

Вдали послышался лай. В чум быстро вошел Тохчо, щуплый, маленький, юркий погонщик:

— Уф, бежал без лыж, торопился. Бригадир!

Тохчо взял Колотонова за руку и потянул к выходу.

— Туман будет. Смотри в небо!

За ними вышли Тайбо и Бетык.

— Там! — Тохчо показал рукой вдаль на узкую лазоревую полоску, поднимавшуюся над снегами. — Сюда идет большой туман. День идти нужно в тумане! — Тохчо заулыбался, открыв в улыбке белые зубы. — Я угадал? Почет мне! — И наклонил голову набок, заглядывая Колотонову в глаза, ожидая похвалы.

Колотонов развернул карту дорог и пастбищ района. Намеченные химическим карандашом линии кружились

по карте, обходя незнакомые места — белые пятна, и шли прямо к поселку, сокращая путь оленям.

— Туман... туман... — бормотал Бетык, всматриваясь в даль.

— Обойти его нельзя, бригадир. Нужно в тумане пройти старой дорогой. Олени целы будут.

— Да! В тумане легче вести оленей, чем в метель по горам, — вставил Тайбо, посматривая на Колотонова.

— Бригадир! Пойдем через урочище Гнилой Угол! Вот здесь! — наклоняясь к карте, торопливо проговорил Тохчо.

Бетык прищурил глаза; хочет что-то сказать, открыв рот; но промолчал, поглаживая бородку.

— Там можно пройти! Я всегда хожу туда охотиться на песцов. Новые места! Новые пастбища! Новый путь!

Колотонов ободряюще кивнул Тохчо. И тогда неожиданно громко воскликнул Бетык, замахав руками на Тохчо:

— «Новый путь!» «Новый путь!» Это место злых духов! Там камни и волки! Можно погубить оленей... Пусть себе Тохчо стреляет там песцов!..

По преданию в урочище Гнилой Угол малодушный кочевник, рассердившись на неудачу во время охоты на диких оленей, сжег свой аркан — тынchan и выстрелил в дикого оленя. Олень — священное животное. В него нельзя стрелять, его нельзя резать. Только охота с арканом не вызывает гнева богов. Боги разгневались на человека и увели оленей с этих богатых пастбищ; а здесь поселились злые духи — подобие волков...

— Зачем новый путь?! Разве мало дорог, по которым еще наши отцы ходили, а сейчас мы ходим?

Тайбо с уважением смотрел на Бетыка, восхищаясь его мудростью: камни и волки! Рисковать нельзя...

Колотонов усмехнулся и заговорил, обращаясь ко всем:

— Бетык прав и не прав. На урочище — нехоженные, валунные места. Но если мы пройдем там, путь сократим вдвое. Да, волки могут появиться... Они рыскают в тумане. Зверь чует живое по ветру. Волки голодные, воют, лижут снега. — И решительно заключил: — Пройдем новой дорогой! Посмотрим места вокруг. Отметим на карте новые пастбища!

Положил руку на плечо Тохчо.

— Бери лыжи. Скажи всей бригаде: навстречу туману пойдем. Ждать долго; обойти нельзя. Большой туман идет! Насквозь пройдем! Лучше дело будет! Предупреди всех о волках.

Тохко сорвался с места и побежал к чуму, стоявшему рядом. Подъехали нарты. Погонщики принялись разбирать чум. Колотонов поднял карабин и выпалил заряд в равнодушное, серое небо. Выстрел, цокнув, умолк. Немного погодя на той стороне, откуда надвигался туман, гулко отозвалось эхо. Тайбо вздохнул и посмотрел на небо.

— Пуля вверх ушла, к звездам!.. Там, в небе, много-много звезд. Днем их не видно. Которые маленькие — звезды. А большие звезды — планеты. Невеста говорит: «Люди там тоже живут!»

Бетык пошевелил губами и недовольно пробормотал:

— Нельзя в небо стрелять. Боги там... Ай-ай-ай! — и, покачав головой, зашептал молитвы.

Колотонов оглядел Тайбо с ног до головы, встретился взглядом с его черными, весело прищуренными глазами.

— Там... — он показал рукой на небо, — говоришь, люди есть? Живут?! Интересно! Я не слышал.

Тайбо весело, но неудобно за бригадира: «Колотонов столько жил и не знает об этом. А я — знаю», — и вслух произнес шутливо:

— Бригадир, ты хотел бы там на небе жить?

Колотонов прищурился: «Умный парень, однако хитрый», похлопал Тайбо по плечу:

— На земле, парень, лучше!

Тайбо согласился:

— Да, на земле у нас лучше...

Бетык слушал разговор, пощипывая бородку.

Разбуженные выстрелом, олени вскакивали на тонкие упругие ноги. Гарцуя, выходили вперед гривастые вожаки, красуясь гордой осанкой, железным сплетением рогов; били копытами в упругий наст. Из мохнатых ноздрей вились струйки пара.

Стада двинулись навстречу туману медленно, часто останавливаясь.

Туман надвигался большим облаком. Он закрыл собой полнеба, клубился по земле, полосами качался над оленями.

— Правей, правей! Не гнать оленей! Идти тихо будем, — кричал невидимый в тумане Колотонов.

Колотонов направлял стада, круто сворачивая в сторону. Тайбо еле поспевал. Свист Колотонова служил ему ориентиром.

Бригадир думал о Тайбо — жалел парня: «Ладно, пусть так идет. Гуртоправы молодые спешат в пути. Олена гнать нельзя ни в горах, ни на равнине! Если силы лишние есть, он сам поторопит свой бег. Смирное, неглупое животное! Сын говорит: «Олень — парнокопытный отряд». Молодец, парнишка! Читал в книге по естествознанию».

Поглядывая на притихших оленей, заметил: рога начинают обтягиваться нежной, матовой, коричневой кожей, похожей на замшу. «Весна скоро! Туман весну гонит! Тепло в кисах. Ноют ноги. Стар стал. Устал почему-то. Лыжи плохо скользят... Хэ-гэй!»

Сзади вскрикнул Тайбо:

— Куда?! Вот так!

Серый безрогий олень споткнулся о камень-валун, засыпанный снегом; навалился грудью, издав трубное скорбное мычание; вскинул копыта, встал, судорогой мышц стряхнул с себя снег и отскочил от камня. Косяк оленей метнулся в сторону. Послышался сухой треск рогов.

Тайбо решил опередить потерявших направление оленей. Закружился в тумане, петляя вокруг косяка. Олени остановились, подняв кверху морды. Тайбо врезался в косяк, упал в снег на спину, выставив ноги с лыжами вверх. Безрогий олень наклонился к самому лицу Тайбо и, обнюхав, обдал запахом парного молока. Подъехали Колотонов и Бетык. Тайбо поднялся, присвистнул на оленя: «Фью-ты!» Безрогий повернулся в сторону, догоняя стада. Колотонову смешно: «Упал!.. Эх! Я бы не упал. Не надо торопиться, однако».

Он поправил у Тайбо сползающий с плеча карабин.

Бетык смеялся старческим, надтреснутым смехом. Опершись на палку, он покачивался из стороны в сторону, кланяясь земле.

— Ох, жалко тебя стало, Тайбо!

Тайбо поправил ремни на лыжах и, успокаивая сам себя, сказал:

— Все хорошо, бригадир. Вот смешная история получилась!

Колотонов широко взмахнул руками.

— А сейчас смотри, Тайбо, вперед. По тундре идем. Смотри вперед, там камни. Держись ближе ко мне и к Бетыку!

Туман начинал редеть. Колотонов отъехал в сторону, приложил ладонь ко лбу и, всматриваясь, различил вдали едва заметный просвет: узкую полоску синего дневного света. Облака переделого тумана катились по спинам оленей, застревали в рогах густыми охапками. «Розовый цвет у тумана! Здесь пошли глубокие снега — теплые снега, нагретые солнцем. Весна, весна», — шептал Колотонов, снимая меховой малахай и утирая пот на крутом лбу.

Колотонова догнал Тохчо. Засуетился, выезжая вперед, поглядывая на бригадира.

— Бригадир! Бетык о волках говорит. Что, верить ему?

Колотонов молчал; к чему-то прислушиваясь, останавливался. Шли рядом — высокий, кряжистый, энергично двигавшийся Колотонов и щуплый, маленький, торопившийся Тохчо.

— Чуешь?

— Что? Что?

Тохчо посмотрел себе под ноги, огляделся вокруг, не понимая.

Послышался первый тосклиwyй вой; метнулись первые серые тени и где-то в рытвицах пропали.

— Волки, да? — Тохчо оглянулся, посмотрел на косяк, подогнал хореем отставших оленей и растерянно поспешил вперед к стаду.

Колотонов зычно крикнул:

— Не туда смотришь, Тохчо! По сторонам смотри!

Тохчо вскинул карабин. Подъехали Бетык и Тайбо.

— Остановить стада! Зарядить карабины! Приготовить ножи! На месте не стоять! Идти все в круговой обход.

Бетык заговорил торопливо:

— Тайбо! Стреляй ниже. Волк пригибает шею, когда прыгает. Хитрый он. Долго живет. Знает человека. Я убил много волков — не сосчитать!

Передний косяк, почувствовав опасность, замедлил движение.

ние. Остановились вожаки, наклонив рога. Испуганные олешки, устойчиво встав на тоненькие ножки, прижались к крупам важенок, потряхивая мохнатыми рыльцами. Гуртоправы пошли в круговой обход. Защелкали карабины; стада остановились, замерли. Волки завыли где-то с боков. Вой тосклиwyй, отчаянный. В поредевшем тумане, за сугробами и валунами, метались серые тени.

Кинулась на оленей первая стая. Клыкастые псы, не решаясь вступить в схватку, закружились по снегу, пугая лаем голодных хищников. Волки шли гуськом, танцуя, — пробовали шаги. На минуту умолкло все: лай собак, вой волков, мычание оленей и щелканье затворов...

Тайбо выстрелил первым, приметив головного по ребрам и сухой шкуре. Стая шарахнулась за сугроб; присмирела, ожидая удобного момента. Волки пригнули шеи, спружинились для очередного прыжка.

— Ах, не попал! Волчья жизнь мимо прошла! — Тайбо в сердцах сплюнул и вышел вперед, навстречу волкам.

Пальнул по сугробу, взметнув облако снега.

Сбоку трусила мелкой рысцой вторая стая. Волки наступали на Тайбо, окружая его. Гуртоправы отводили оленей в сторону.

Колотонов крикнул:

— Тайбо, поберегись! Отойди назад! Я сам...

Тайбо уходил дальше, отвлекая волков на себя.

«Вот они — злые духи!» — держал карабин наготове. Там, за спиной, олени, Колотонов, Бетык... Сердце глухо стучало, рукам и лицу — жарко. «Как близко волки! Смотрят мне в глаза... на меня идут!» Выстрелил снова, убил тощего длинного волка — вожака. Остальные отпрянули назад, присели. Тайбо почувствовал себя спокойным, но почему-то уставшим, и снова стрелял метко, радуясь удаче...

Бетык топтался на месте, ожидая прыжка. «На лету вернее попадешь!» Волки шли на него, ускоряя шаги, пригибаясь. «Ах, зверь-зараза! Пропади пропадом, кумлык серый!» Целился долго, тряс бородкой в такт дрожащим старческим рукам. Выстрелами уложил первого, второго. Со всех сторон послышалась пальба, заглушившая визг раненых волков.

Колотонов нагнулся: застяли лыжи, нырнули под маленький валун.

Держа карабин на весу, сдвинул камень и увидел волка. Сухие горящие глаза. У впалых глазниц повисла, застыв на холоде, одинокая слеза. Волк вытянул морду, оскалил клыки, поднялся на задние лапы, пригнул шею и, взметнувшись, прыгнул. Обдал горячим дыханием лицо, уперся лапами в грудь.

— Хах! Ножом возьму! — и ударил волка в живот. «Тяжелый какой!» — заметил оторванный клок шубы, зажатый в оскале пасти. Сбросил с себя тушу. Волк грохнулся о камень; сжался, втянув морду в плечи, закрыв глаза, как бы притаившись перед новым прыжком; затем вытянулся, судорожно дергая лапами. Кровавые нитки потянулись по снегу.

Тохко стрелял поверх снега, наугад и кричал:

— Ага, ага! Вот вам, вот вам! — остановился, заметив, что туман рассеялся совсем, пожалел; стрелял в снег, изрешетив сугроб. Снег белый-белый. Тихо. За спиной мирно посапывали олени.

Подъехал хмурый, уставший Колотонов. Положил руку на плечо Тайбо:

— Как дела, парень? — и, услышав «хорошо!», похлопал Тайбо по плечу: — Молодец, молодец!

Стада медленно двигались по снежным тундровым низинам, усеянным крупными валунами. Хрустел снег. Тохко и Тайбо шли рядом, раскуривая одну трубку; смеясь и размахивая руками, обсуждали битву с волками. Бетык, наклонив голову, о чем-то думал и разговаривал с богом:

— Сегодня нам трудно-трудно было. На наши стада бросились волки. Это хуже, чем вести оленей по горам, в метель. Зачем твой гнев на всех? Сердись на меня одного... Ты, мой небесный брат, бог оленей... Ай-я-яй, плохо!..

Колотонов отстал; шел позади и молчал. До него долетали обрывки разговора. Поняв, что говорят об уро-чище Гнилой Угол, подумал, что это проклятое богами место, наверное, будет неплохим новым пастьбищем для совхоза. Пригляделся к земле. Глубокие снега. Здесь мерзлые болота. Ягельные болота — жирный выпас! Здесь весной дымится вода, мышкует песец, поют куропатки. А летом густые, пахучие травы! Оглядел стадо,

представил оленей здесь, на пастбище, и чмокнул губами: «Хорошо!»

Мысли унеслись далеко в поселок. Вообразил, радуясь, как выйдет встречать гуртоправов население, родные, соседи, работники совхоза. «Обнимут, поздравят. Будем греться у печек, слушать радио. Будем петь долго-долго». Колотонов вздохнул и представил себя в кругу семьи: столпились дети, обнимают, целуют, виснут на плечах. Жена идет... Наденет новое платье. Выйдет плясать — поведет плечами, моргнет. Ночью зацелует, задушит...

Колотонов остановился. «Надо посмотреть место вокруг. Стада впереди. Спокоен душой теперь!»

Свернув быстро в сторону, заскользил вниз. Там, в овраге, теплая вода... гарь моховая! Слева, из глубокого снега, торчали еле видимые покатые, лобастые камни — валуны. Отполированные ветром и освещенные солнцем, они блестели, как медная обшивка таежной лодки-кедровки. «Здесь летом густые, пахучие травы. Вьются ужи. Здесь весной песец свой голубой наряд меняет на рыжий. Не забыть отметить на карте. Большая земля, четыре перехода на юг. День идти. Сделать главным массивом для пастьбы. Почему оленеводы сторонятся этих мест? Волки! «Волков бояться — в лес неходить!» Хорошая русская пословица. От русских нам отставать нельзя!»

Услышал в стороне одинокий звон колокольчика. Встревожился. Заторопился. «Как молодой я быстро лечу!» За бугром остановился, отышался: «Нет, стар стал. Ну что ж! Жил, работал... Честно. Но... мало видел, мало знаю. А Тайбо будет жить лучше. Он будет учиться, все знать. Будет хорошим оленеводом. Молодые стали другими. Горячее, смелее. Торопится жить, все знать, все видеть. Почему? — усмехнулся сам себе. — По-че-му? Эх ты! Жизнь другая, новая! Дорогу молодым!..» — Вспомнил о детях, расправил усы, погладил бороду.

«Они пусть еще лучше живут. Им — сердце мое, жизнь моя... все! Только по-другому надо... с ними... по-новому... как Тайбо». Заметил за бугром оленуху и олешка. Олешек упал, провалившись в пушистое месиво сугроба. Ему залепило глаза снегом. Возле стояла оленуха и, наклонив морду, лизала его вздрогивающий бок.

Материнское мычание и беспомощность обоих умилили Колотонова. Он не спеша двинул лыжами, взял разбег. Увидев человека, оленуха отошла в сторону, потряхивая головой, звеня колокольчиком. Колотонов подъехал к олешку так близко, что чуть не задел кромкой лыжи мохнатый бок. Олешек лежал у валуна, поджав под себя ноги и вытянув кверху мордочку. Увидев человека, обнюхал его, пошевелился, уперся, вскочил на ноги. Колотонов стряхнул снег со спины и тихо засмеялся:

— Сам встал! Сам! — вспомнил о Тайбо. — Тайбо тоже... Сам... Идет. Хорошо!

Ванька Лопухов долго не мог уснуть.

Злая кастелянша ругала кого-то, не пуская в общежитие, потом захлопнула дверь, и из кухни донесся пьяный голос: «Айда, ребята, чай пить!» Чай, наверное, понравился, и чаевники успокоились.

Лопухов закрыл глаза и увидел круги пламени, плавущие по воздуху вместе с конвейером, сине-темные глыбы чугунных болванок, длинную тяжелую вагу, которой он сегодня сбрасывал опоки, увидел куски спекшегося формовочного песка и вздрогнул. Болели руки, поясница, грудь.

«Нет, не усну...» — испугался он и осторожно провел руками по острым ключицам. «Худоба! Полез в огонь, к железу!» — и повернулся на другой бок, лицом к окну.

Под окном шуршал по асфальту дождь, в водосточной трубе пела вода, и казалось, что общежитие монотонно дрожало. Ветер срывал первые желтые листья, они прилипали к стеклам, и ничего нельзя было разглядеть.

Все спят, и он сейчас один...

Со стороны, где сливают в реку расплавленный шлак, раздался свисток маневрового паровозика, и вот окна разом вспыхнули от светом зарева, будто рядом клубился красный пар. Стекла запламенели, и прилипшие листья стали черными, как летучие мыши. «Вот сольют шлак — сразу усну!» — вздохнул Ванька, и ему стало грустно.

Вспомнил далекий Алапаевск, отца. Когда умерла мать, отец жениться не стал, но, собрав детей, объявил:

«Давайте все работать!» И все пошли на работу, кто куда, Ванька из школы ушел в ФЗО — «на государственный паек и вообще...», как сказал отец, который после этого начал пить и часто не ночевал дома. И так вышло, что все уехали от него. Ванька был младшим в семье, уезжать никуда не хотел, но отец все-таки женился, и Ванька попросил директора ФЗО направить его в Железногорск.

Отец на вокзале заплакал и все похлопывал его по плечу, приговаривая: «Ты не пропадешь!..» Сын смотрел то на отца, то на поезд, а отец все хвалил и хвалил, будто не его, а кого-то другого, и Ванька заметил, что он совсем трезвый, только постарел.

Уезжать одному впервые было боязно и интересно. Когда за последней водокачкой скрылся Алапаевск и окна вагона стали зелеными, потому что поезд обступили таежные горы, Ванька затих, посуркал и первый раз в жизни почувствовал себя самостоятельным и взрослым. В поезде — добрые разговоры, еда, сон, карты и концерты по радио, «живое кино» в окнах... Ехать куда-то приятно, и Ваньке показалось тогда, что пассажиры самые счастливые люди.

А теперь — он рабочий, и вот не спится. «Это от мыслей или еще от чего-то. Работа тяжелая и каждый день. Нет, не работа тяжелая — это железо тяжелое, чугун... Руки болят». Лопухов взглянул на стекла — листьев прилипло больше, но зарево погасло, значит, паровозик увез пустые чаши в завод и теперь долго не приедет к его окну. А сон не приходит, и грустно оттого, что все неустроено в его жизни: родные далеко, друзей нету — только товарищи, сам он работает выбиравщиком в литейном цехе и даже не знает еще, какая будет зарплата и как он станет дальше жить. Наверное, как все живут — работать, зарабатывать!..

Отец ему сказал: «Ты не пропадешь...» Вот, не пропал. Но этого мало!

В общежитии ему не нравится. Шумно и у всех на глазах, а еще бывает — пьяные и дерутся. Или жениться, как делают другие?! Ванька почувствовал, что покраснел, под сердцем у него что-то заныло, а на душе стало приятно и весело — так становится всегда, когда он мечтает.

Думать о любви приятно, но он почти не знает, ка-

кая она, любовь, только знает, что ему нравятся все девчонки. И вообще он думал, что женитьба — это право каждого, кто любит, и стоит только сказать любой девушке «давай поженимся», как она с радостью согласится и будет всю жизнь благодарить. Ему представилось: невеста — это, например, Зойка, дочь кастелянши, старшеклассница, которая задается и ходит в школьной форме с белым фартуком, или незнакомая, красивая и задумчивая девушка в зеленом пальто, которую он видел два раза в трамвае. И вот невеста, молодая и веселая, с которой они будто много раз уже целовались до самой ночи в теплых темных подъездах, долго не отпуская друг друга, согласилась стать его женой. И пусть на улицах жара или дождь, день или ночь, он возьмет ее за руку, уже как свою жену, и, счастливый, поведет в маленькую уютную свою комнату, которую ему дадут в большом доме, где живут пожилые многосемейные люди. Они выйдут их встречать и станут аплодировать, потому что это бывает не всегда, а один раз в жизни. И вот они останутся совсем одни и ничего не будут стесняться: зачем? Ведь они муж и жена, и так бывает у всех.

И на целую жизнь — нежные тонкие руки и пушистые волосы, шелковый белый шарф, как у незнакомой девушки в трамвае, или Зойкины черные глаза, розовые щеки, стоптанные каблучки туфель, капроновые чулки — все это он будет помнить и любить, и на всю жизнь он и она будут всегда молодыми и самыми счастливыми. Ванька даже приподнялся на локоть и зажмурился, так это здорово получалось!

Он только пожалел, что обязательно придется идти в загс, потому что нужны какая-то печать и подпись. Ему это не нравилось! Так все интересно, а жениху и невесте будто не верят!

Вот если бы в загсе прямо и ордер на комнату сразу выдавали!.. Догадался бы об этом министр какой — завтра же в загс не пробиться было! Ваньке стало приятно, что не министр, а он первый догадался об этом.

И еще утешало то, что он молод — всего восемнадцать лет, и все, о чем он думал, — впереди, только нужно работать изо всех сил, чтобы стало много денег, а любовь придет, стоит только по-настоящему заняться

этим делом. Завтра он опять будет работать, и пусть плывут пламенные круги, гремят болванки и крошится песок, пусть тяжело болят кости. И еще успокоил себя: если будет плохо дальше — уйдет с завода и уедет...

Так каждый день приходят и уходят эти мысли. А потом наступает сон, теплый, уютный, тихий — не буди!

Обняв руками узкие плечи, Лопухов вскоре заснул, унося в сон сожаление о том, что не уродился для тяжелой работы великаном.

Утром, когда еще свежо от ночной тишины и холода, на улицах и проспектах не видно никого, даже дворников. Город будто опустел и спит. Молчат мостовые, окна закрыты наглухо, не звенят трамваи, не шуршат по асфальту грузовики и легковые, только один на один — небо и дома. За ночь похолодали булыжники и асфальт, стали синими от дождя, продрогли розовые карагачи с жесткими зелеными листочками, — все очерчено черными резкими линиями, вокруг много холодного голубоватого воздуха, и все это похоже на декорацию. А через пруд, отделенный от реки чугунным мостом и бетонными дамбами, жарко дышит в небо дымами черный огромный завод. Насыпи, где ночью сливали шлак, окаймлены оранжевой полосой — это выжжены тростники и камыш, и, если взглянуться, видны обглоданные огнем и паром дудки.

Ванька никогда этого не видит — он спит и во сне чутко прислушивается к началу утреннего шума.

Из подъезда и ворот, поеживаясь, выходят дворники и, покурив, начинают стучать метлами по асфальту. В это время Ванька просыпается и смотрит в белое окно. Задумчивый дворник с соседнего двора стучит метлой громче всех, здоровается кивком с Султаном Хабибулиным — дворником Ванькиного двора, и через улицу слышится русская речь вперемежку с татарской.

Это первый утренний шум. Потом хлопают открывшиеся окна и двери, дома оживают, и появляются первые прохожие — спешат на завод.

Собравшись и поев, Ванька снова смотрит в окно, и его берет давнишняя досада, что никак не может проснуться раньше дворника. Бросив «добroe утро» злой кастелянше, Ванька Лопухов выходит на улицу — маленький, с круглым лбом, закрытым челочкой, с под-

пухшими глазами. Губы тонкие, будто поджатые, подбородок вперед, а ладони ободранные и жесткие, всегда сжаты в кулаки. Одет он в широкую до колен фуфайку, штаны заправлены в носки. Дворник-татарин уже ждет его, в белом фартуке поверх пальто, в калошах. Ванька знает (так говорили), что Султан имел большое хозяйство в Башкирии и учил сыновей и дочерей в институтах, а сам работал с утра до ночи. Недавно приехал сюда, но ничего не делать не мог, и вот работает дворником. Он многодетный, жена рожает каждый год, и Султан никогда ни на что не жалуется, только любит советоваться и порассуждать — если весел, помолчать — если не в духе, и все зовут его философом. Ваньку он особенно любит из всех жильцов и всегда его поучает. «Мое хозяйство теперь — все дома и люди. Людей много, и все они разные, и жизни у них разные. Одни работают, другие живут. Я мусор убираю, разный мусор...»

Каждый день, собравшись на завод, Ванька здоровается с дворником, угощает его папиросой, татарин дымит, кашляет и, как обычно, спрашивает:

— Работать идешь?

— На завод.

— Человек работает — дело делает. Жизнь делает. Ты, Ванька, правильный человек.

Сегодня Султан Хабибулин был весел и, завидев «правильного человека», помахал ему рукавицей, приветствуя:

Грудь трещит.  
Сердце болит,  
Она мне про любовь говорит!

Черная тюбетейка плотно облегает его лысую большую голову, седая круглая бородка чисто побрита у губ и будто приклеена к его коричневому мягкому лицу.

— А-а-а... Ванка! Издрастуйта! — Султан поздоровался на «вы», и у Ваньки защемило сердце от любви к этому пожилому доброму человеку.

— У нас опять малайка родился! Праздник.

Лопухов не знал, что надо говорить в таких случаях, он просто улыбнулся и кивнул, как будто давно ждал, когда родится у жены Султана сын, и вот дождался.

— Опять работать идешь. Денег много получаешь?

— Не знаю я. Еще не выдавали зарплату.

Султан расхохотался, вглядываясь в растерянное Ванькино лицо.

— Зачем тебе много денег? — и развел руками: — У тебя жены нету, малайка еще не родился... Зачем тебе деньги!

— Платят за работу. А как же без денег?!

Закурили. Дворник похлопал Ваньку по плечу.

— Тебе надо сначала жизнь сделать, — сжал кочичневый кулак с синими венами. — Крепкую, большую, умную! Тебе большой человек нужно стать. Нашальник!

Лопухов поджал губы, будто не понимая; и Султан заметил это. «Какую еще жизнь сделать — выдумал. Все уже продумано».

Мимо них проходили рабочие, хозяйки с сумками и кошелками. Со стороны завода раздался долгий, призывающий гудок, означавший, что до начала смены осталось тридцать минут. Султан будто не слышал Ванькиных торопливых слов «ну, я пойду» и все говорил-говорил, довольный, веселый, свой.

— Мне жена грамотный попался. Каждый год малайка таскает, таскает!.. Это у вас называется любовь!

Ванька вздохнул. Султан на прощание сказал:

— Ты меня любишь? Да! Приходи в гости! Лапшу есть будем! — и прищелкнул языком.

Навстречу вставали многоквартирные каменные дома, с холодными синими стенами, асфальтовые тротуары бок о бок с кленами, уходящими вниз к чугунному заводскому мосту, а там, где трамвайные рельсы изогнулись в полукруге, с Комсомольской площади, виден весь завод, город и вдали под небом аглофабрика, бараки и землянки по горам. Ванька оглянулся. Султан торопливо орудовал метлой, маленький, но заметный на фоне освещенных голубым утренним светом стен.

«Хороший человек Султан Мударрисович. Вот в гости к нему пойду...» — подумал Ванька и вспомнил родной город, отца, сегодняшнюю полубессонную ночь. Усмехнулся. Советовать, конечно, легко, это он понимает, а вот как жить? Можно по-разному. Может быть, правильно сказал Султан: «Зачем тебе деньги?» Жизнь, говорит, надо крепкую и умную сначала сделать, человеком большим стать. А как?! И какую? Ведь он еще молод, и жизнь его впереди. Мимо прогромыхала грузовая машина, и шофер погрозил Лопухову кулаком:

— Куда смотришь, кикимора?

Ванька обиделся; машина затормозила около большой шумящей толпы. Рабочий поток!

В это время на полчаса останавливаются трамваи, автобусы и машины, потому что негде проехать. Главный вход завода — несколько проходных, над которыми прибиты полинявшим от дождя и зноя лозунги и два ордена, разрисованных на фанере, — не вмещает всех. Деловито и торжественно проверяют пропуска вспотевшие вахтеры. И улицы и мост гудят, асфальт под шарканьем и стуком подошв шлифуется и крошится.

Один за другим идут рабочие, никто раньше других, все вместе, будто знают, что нельзя не вместе. «Разные или одинаковые люди», — подумал Ванька и услышал грохот телег и металлические удары копыт по булыжнику — будто возчики везут грома. Поток уважительно раздвинулся, и телеги повезли грома дальше — этих надо пропустить раньше: на телегах инструменты, уголь, спецодежда.

Молчаливые, сонные, бодрые, грустные, кричащие, разговаривающие, неторопливые, спешащие, разные по лицам и голосам, но одинаковые в потоке люди.

Каждый думает о чем-то своем, но все об одном: в восемь — работать!

«Сколько нас!» — восхитился Ванька и удивился самому себе: он тоже с ними! Идут и идут! Черно на улицах, и на мосту, и у главного входа. Вышли все разом, как на демонстрацию или на митинг, или срочно переселяются из домов.

«Да, мы встаем раньше всех, и если нас собрать, сможем по лопатке перенести с места на место целую гору!»

Пока проходишь мост, можно и покурить, и побалагурить, и поговорить, и помолчать, но никогда не удастся пройти стороной — идешь рядом с другими, в потоке.

Ванька смотрел на всех, кого в учебниках, газетах и книгах с серьезным восхищением называют рабочим классом, и чувствовал себя частицей идущих взрослых людей. Вот он сейчас обойдет грузовик и высунувшегося из кабины курящего шофера, который обозвал его «кикиморой», войдет в поток и почувствует себя сильным, одинаковым со всеми, рабочим парнем.

Ваньке стало очень обидно, что из всего потока он

знает только свою смену — четырех взрослых и разных рабочих — выбивальщиков, да и то они относятся к нему снисходительно и называют его один «мальцом», другой «нашей кадрой», третий Иванушкой, а Нитков, самый старый, просто никак, а только подзывает пальцем...

Ванька всегда, постояв у моста, вглядывается в поток, ища глазами знакомые лица и фигуры. Как и во все прошедшие дни, он, не скрывая радости, находит их, потому что держатся они вместе группой, и, здороваясь с каждым за руку, идет рядом, стараясь попасть в ногу.

Сегодня они о чем-то спорили и на его «здравствуйте» не обратили внимания. Ванька услышал, как Мокеич — Нитков, высокий, жилистый, с постоянной ухмылкой на румяном лице, хвастливо доложил, заглядывая каждому в лицо:

— Узнала, что я за птица, и такой она мне кавардак устроила!..

Ванька понял, что «она» — это новая жена Ниткова: он вчера отпрашивался у начальника цеха на свадьбу, берег всю смену завернутый в платок яркий галстук, купленный в обеденный перерыв. Он знал, что веселый, с тихой душой человек Нитков — хороший литейщик, своей квартиры не имеет, живет у знакомых женщин, у которых от него есть дети. Половина зарплаты у него уходит по исполнительным листам, а сам он кормится у всех и каждый день со смехом хвалится в цеху: «Я международный... У меня вон сколько домов, и всюду я муж и отец».

— Значит, выгнала?! А как теперь? — спросил урчаливый, застегнутый на все пуговицы Хмыров, узкоплечий, лысый, с брюшком.

— Теперь подарок понесу какой-нибудь... — ответил задумчиво Нитков. Шагавший с ним рядом Белугин, тяжелый, плечистый и чуть сгорбленный, расправил покатые круглые плечи, брезгливо раздвинул усмешкой прокуренные усы, покачал головой:

— Думаешь на подарке всю жизнь прожить... Э-э! Не выйдет!

— Проживу как-нибудь... — сжал губы Нитков и махнул рукой.

Белугин кашлянул и, расправив ладонью усы, бросил зло:

— Как-нибудь не годится. Хорошо надо жить.  
А так... По дурочке все это.

— Ну вот, выгнала... Теперь все начинай сначала!  
А у тебя ни кола ни двора... Был бы хоть крохотный  
дом с огородиком, привел бы какую жену и — живи! —  
Хмыров одернул пиджак и с достоинством взглянул на  
Ниткова.

Ванька услышал разговор, и ему было жаль Нитко-  
ва. Хмыров был прав, но Ванька не любил этого дядь-  
ку с холодными подслеповатыми глазами. Не любил его  
за то, что тот никогда не обедал с ними в столовой —  
считал это «тратой денег» — и садился в цехе на про-  
лет лестничной площадки или прямо на болванку, утк-  
нув ноги в песок, расстипал перед собой платок и ел  
продукты, выращенные на своих огородах, «в своем лич-  
ном сельском хозяйстве».

Когда он ел, становился веселым, на его рябоватом  
и грязном от колошниковой пыли лице нельзя было по-  
нять: то ли он улыбается в это время, то ли жует. И го-  
ворит при этом: «Молоко от коровки, у которой вытек  
глаз, а доится, холера, как водокачка. Яйца от хохла-  
ток-насадок, мясо от петушков... Птицы не райские —  
земные». Ел холодное сваренное мясо, морковь, огурцы,  
лук и масло, а потом, сворачивая остатки в узелок и  
вздыхая, ложился вздремнуть, пока не разбудят.

— Так вот я и говорю... Домишко тебе с огородом и  
жену, и — живи!

Белугин перебил Хмырова, передернул плечами:

— Зачем ему это? Зачем? Человек запутался, как  
рыба в сетях. Бьется, бьется, а плыть не может, — и  
обратился к Ниткову, оглядывая его с ног до головы:

— Тебе, Мокеич, себя ладить надо.

— Куда уж, налажен! Поздновато вроде, — обижен-  
но ответил Нитков.

— А что ему, не мальчишка! Один, скажем, хозяйств-  
вом живет, честь честью на производстве... Другой с  
женами воюет. А с ними натощак трудновато! Иногда  
надо уступить, а иногда наступить! Совет тебе дам,  
Нитков: люби жену, как душу, а тряси, как грушу!  
Я тоже свою трясу. Вот она у меня где, — засмеялся  
Хмыров и показал, где у него жена, вытянув кулак.

— Вот он их и трясет, а все равно жизни нет, — от-  
резал Белугин.

— Нету, это верно, — устало согласился Нитков.

Все они прошли мост и зашагали по булыжнику заводской площади к главному входу. Ваньке все было понятно из разговора, особенно он прислушивался к Хмырову: тот говорил прямо и определенно, видно, живет этот человек сквердно и круто. Ниткова ему было жаль. Ванька вспомнил свои мысли о невестах. Конечно, у него все будет по-другому, и жить так, как Нитков, он не будет. Непонятно только, почему Белугин первый встретил его на заводе, поставил работать рядом с собой, учил, как держать вагу и стаскивать опоки, чтоб не устать сразу, и всегда раздражался, если что не так.

В первый же день он пригласил Ваньку к себе домой и представил своей жене, сыновьям — художнику и инженеру:

— Вот новенький в цехе. Наша кадра!

У Белугина добрая и ласковая жена — «тетя Варя». Она покормила гостя ужином и стала показывать картины и рисунки сына, который ушел в кино.

Сейчас Лопухов смотрел в широкую спину Белугина и старался вслушаться в его слова.

У Белугина шея как у борца, голова седоватая, большая и подстрижена под бокс.

— Все мы, как чугунные опоки. Выбивать надо, вытряхивать из нас все, что сгорело. Ты нас не слушай, сынок.

Лопухов подошел.

Белугин обнял его тяжелой, теплой рукой, и так, обнявшись, они прошли мимо вахтера.

— Ну, наша кадра, что кислый такой и нос повесил? Настроение плохое?

— Не знаю... — грустно ответил Ванька, чувствуя теплоту руки Белугина. Так обнимал когда-то отец, когда ему было хорошо.

— Надо знать. С плохим настроением в цех входить строго воспрещается. Будь я на месте директора, издал бы такой приказ. Понял? Дело делать идешь, не на прогулку. Голову опустишь — ерунды можешь напороть. Человек должен радоваться.

— Чему радоваться? — спросил Ванька.

Ему хотелось поговорить с Белугиным, довериться ему, но о чем говорить — он не знал.

— Чему?.. Жизни. На работу надо как к невестеходить, а не просто потому, что зарплату дают. Вот они двое, — указал Белугин на шагавших впереди Ниткова и Хмырова, — особенно Хмыров Николай Васильевич, по двадцать лет на заводе, а все равно рабочими не стали... Ты думаешь, написал заявление, оформлен, и уже рабочий... Э-э! Нет...

— Это я понимаю, — согласился Ванька и доверил: — Тяжело работать...

— Оно понятно, мы не с печенья пыль сдуваем. С железом дело имеем. А сталь для человека — все равно что хлеб. Ты думаешь, все мы рабочие? Что грязные да трудно — это всем видно. А вот... дело. Это здесь... — Белугин постучал себя по груди, — в душе, в жизни. Я тоже раньше уставал. А почему уставал? Не любил. А полюбил и понял, что, зачем и куда. По-другому петь стал. Ну, известно: чем больше любишь, понятно, больше сделаешь и других уважать станешь, крепко, на всю жизнь, как товарищей. Тогда, брат, и душа хорошеет. И на завод идешь, как к себе домой.

— Я плохо спал сегодня, всю ночь думал... Вам хорошо — вы на ноги встали... — сказал Ванька, покраснев.

— Во, во! Это ты здорово подметил. На ноги! Не сразу, а несколько десятков годков, каждый день на ноги становлюсь. Главное, чтоб все стало на место у человека: дело, любовь, чтоб обут был, товарищей полно. Смотришь — и началась жизнь! У тебя, я вижу, не началась еще. Вот и трудно тебе, и ночь сегодня не спал... Начать жизнь не трудно... А какую?! Можно и как Нитков прожить, да стыдно себя и других обманывать. Вот он прожил целую жизнь и сегодня понял, что прожил ее не так. Настоящей-то жить трудно. Настоящая-то мимо прошла. Так и не понял он красоты в рабочем деле. О Хмырове я и говорить не буду — у него любовь к делу на рубле замешана. Живет в свое удовольствие... Вот наговорил я тебе сколько.

— Подходим, — кивнул Ванька на ворота цеха. Белугин споткнулся о болт, вбитый в землю, и выругался. Остановились.

— Вот приедем в цех. Разные люди мы. А ты присмотрись к каждому. Понаблюдай, что у кого на душе послушай. Плохое — отбрось, хорошее — возьми.

Они вместе вошли в цех и первое, что увидели — гудящее пламя.

Уже прошло три часа — три заполненных опоками конвейера, а Ванька все не мог почувствовать, что пришел в цех, как домой. Так же, как и в первый день, все было по-старому, только сегодня за три часа он устал больше, чем в прежние дни.

Литейный цех. Остекленные пролеты высоких стен, всюду жаркий воздух, яркое пламя и черные тени. Огонь, огонь... Здесь никогда ночи нету. От огня становятся как раскаленные железные стропила здания, подкрановые балки и фермы, а там, где вагранщики лютят чугун в ковш, качаются зарева и долго сыплется потом металлическая пыль и дрожит насыщенный пылью и паром горячий воздух. От жары губы пересохли, потемнели, и когда всыхивает красно-желтый свет от расплавленного чугуна, на лицах видны одни глаза, и все похожи на бронзовые скульптуры.

— Давай, давай, давай!.. — кричит Белугин, становясь во главе рабочих выбивальщиков, и тут начинается работа.

Но до этого — люди ждут, курят. Сначала слышится оглушительный грохот пустого конвейера, пламя на лицах колышется, тухнет, вздрогивает земля под ногами, и не чувствуешь стука сердца — будто оно молчит. Огни разного цвета сменяются один за другим там вдали, а здесь под мерный спокойный свет электросварки готовят из песка форму. И конвейер спешит к вагранке, где беснуется уже живое, веселое зарево, и искры кипящего чугуна простреливают воздух. Громадный ковш ждет у вагранки, зияя черной пустотой, потом пьет желтое месиво металла и медленно, нехотя, свисая и покачиваясь на крюке подвесного крана, спешит залить черные рты пузатых опок, установленных на конвейерной ленте, как патроны в патронташе.

Как всегда, смеется заливщик в синих очках, похожий на мотоциклиста.

Смеется каждый день, потому что знает: ковш наклоняется и льет в опоки чугун, а кланяется ему — человеку. Откланявшись, ковш утихают и уплывает на кране назад, будто снова хочет напиться расплавленного тяжелого пламени.

Дрожат над опоками голубые огни, снова гудит земля. Конвейер уже ждут наготове с железными крюками выбивальщики.

В это время и кричит Белугин:

— Давай, давай!..

Ванька тоже идет. Длинная железная вага тяжела. Он держит ее на весу, выставив вперед, как ружье. Конвейерная лента движется равномерно, но тут уж успевай зацепить вагой опоку, выбить и стащить, да так, чтобы она не упала на твою голову.

Ванька следит, напрягается, бьет вагой опоку, и она выпадает из ленты на решетчатый пол. Ванька отскакивает, зажимает уши от грома, по ногам и телу проходит дрожь, — пол прыгает под тобой, и начинаешь чихать от угары: горелый песок трескается и шлепается кусками под ноги и сыплется в решетку. Держи вагу крепче и целься в следующую опоку. «Сталь для человека все равно, что хлеб. Хорошо и приятно шагать на завод в рабочем потоке, а вот попробуй работать, успевать и не хнычь, что кости болят!» Ванька выбил и сдернул другую опоку. Она загремела об пол, но песок не рассыпался. Подошел Белугин и ударил по песку молотом. Чугунная болванка обнажилась. Хмыров подцепил отливку крюком подъемника и уложил в железный ящик.

За два часа до обеда у Ваньки перед глазами поплыли пламенные круги. Они были сначала маленькие и действительно плыли над конвейером, потом круги вспыхивали над вагой, и, когда он зацеплял опоку, круги вспыхивали, освещали цех, и все вокруг качалось, грохало, гремело, и сыпался, сыпался горелый песок. Он шуршал, как камыш над водой, и горел, стрелял, хлопал, жег щеки, палил грудь, и хотелось упасть и уснуть.

Нитков, высокий и жилистый, орудовал будто за всех, румяное лицо его с ухмылкой было красивым, он вскидывал вагу вверх, целясь в опоку, и, зацепив ее, кричал:

— Бац — и нет старушки!

А когда отливка обнажалась, он стучал в чугунную болванку ногой, поднимал руку и радостно кланялся болванке:

— Прри-вет!

Ванька удивлялся, что у Ниткова все получалось легко, как будто он не работает, а играет, и позавидовал ему. «Милый Мокеич, посмотрели бы жены твои, как

ты трудишься... Где трудно — у тебя легко, а где легко (Ванька имел в виду семейную жизнь) — трудно!»

Хмыров и здесь был застегнут на все пуговицы и наблюдал за Ванькой подслеповатыми глазами.

«Ему что, — злился Ванька, — подцепил отливку подъемником, уложил в ящик — прощай. Не только жизнь, а и работа в свое удовольствие».

Ванька недоумевал: «Как так? Хмырову легче, чем всем, а плата та же. Здоровей и моложе Белугина, а вагу не держит!»

Белугин стоял впереди. Он вскидывал вперед вагу, ритмично обнажал конвейер, опоки летели на пол и укладывались в ряд обнаженными черными болванками. Ему было всех трудней, но по его веселому, добром лицу было понятно, что ему нравится дело. Большой, широкоплечий, он закрывал своей покатой спиной пламя у вагранки, работал, выкрикивая: «Эхма, эхма!», и Ванька уверился: если бы не Белугин, конвейер остановился бы.

Когда конвейер ждал формы, Белугин долго пил газированную воду, утирая пот со лба и шеи большим платком. Нитков сидел на ящике, закрыв глаза, чтоб отдохнуться. Хмыров пинал ногой куски песка под решетку. Ванька отошел к стене и, прислонившись, отдыхал. Болели плечи. Ему хотелось застонать или броситься отсюда на воздух, но что-то удерживало его — или усталость, или совесть.

«Полюби дело...» Так говорил Белугин утром. Работу еще не полюбил — тяжело работать.

Ваньке стало до боли грустно и хотелось расплакаться. Почему у него отец был не таким?! Сильным, справедливым! Отцу всю жизнь было трудно с большой семьей, а он хотел, чтобы стало легче. Легко — значит, правильно! Умерла мать — еще тяжелее... «Идите все работать!» А вот Белугин учил своих сыновей и сейчас младших учит. А отец? Эх!

Скоро опять начнется конвейерный прогон, снова придется дышать запахом горелой земли и шлака, громадный горячий ковш вдали будет медленно и грозно набирать высоту и кланяться человеку.

За час до обеда Ванька промахнулся вагой, и две опоки отплыли к Ниткову. Тот два раза подпрыгнул на месте, прокричал, как всегда: «Бац — и нет старушки»

и «Прри-вет!» Хмыров уложил отливки в железный ящик, и пустой конвейер остановился.

— Ну, кадра, тяжеловато?! — услышал Ванька над ухом бас Белугина и вытер мокрый лоб потертый горячей рукавицей. Лоб зашипало от сухой, жесткой суконки. «Тяжело не тяжело, а за работу деньги платят», — хотел ответить Ванька и увидел красное от пламени лицо Хмырова, расплывшееся от жалеющей улыбки.

— Ничего. Привыкну, — озлобленно ответил Ванька и вздохнул.

Сейчас бы присесть или полежать на холодной зеленой траве.

Белугин взял его за плечи и подтолкнул к рабочему месту Хмырова; тот посторонился.

— Становись сюда. Тут легче. Отдохни.

— Не встану! — почти выкрикнул Ванька, будто его обидели на всю жизнь, и сжал кулаки.

Он как бы вновь увидел рабочий поток, услышал гудение улиц, топот ног, смех сильных людей в фуфайках и куртках, дворника Султана, позвавшего в гости на лапшу, лица незнакомки в трамвае и Зойки — они слились в одно лицо, которое подмигивало и смеялось: «Жених!» — и понял, что Белугин пожалел его, Ваньку, пожалел как Ниткова. Понял и ожесточился на самого себя. Ниткова жалели как человека, который не умеет жить, а его, Ваньку, как рабочего!..

— Не встану! — почти выдохнул он. К нему приблизилось бледное лицо Белугина — шея как у борца, седина на висках, усы кверху, на скулах желваки.

— Цыц, мальчишка! Ты, Хмыров, бери вагу, выбивай...

— Это почему?

Хмыров посупровел, у него залоснились от света пламени выбритые щеки, войлочную шляпу он растерянно заломил на затылок, и в черной тени от нее засияла голубая лысина.

— Почему?! — Белугин расставил ноги и упер руки в бока. — Эдак мы парня угробим.

— Нда-а... — Хмыров покачал головой и усмехнулся в лицо Белугину. — Ты как дома. Не больно-то. Не начальник. Ваги у всех одинаковы. Такую же зарплату получаешь. Я здесь поставлен.

— Слушай, ты, — Белугин сдержался, чтоб не выру-

гаться матом. — Катись из цеха в сторожа и сиди руки сложа, и там зарплата.

Огромный башмак Хмырова обиженно постучал по решетчатому полу и притих. Ванька отдал вагу Хмырову. «Ладно. Отдохну. А после обеда ни за что не соглашусь».

И снова пошел конвейер. И снова гром и скрежет, и снова раздавался впереди громкий бас Белугина:

— Давай, давай, давай!..

Белугин, подняв голову кверху, помахал рукавицей, погрозил кому-то.

Хмыров ловко выставил вагу вперед — длинный железный шест, загнутый на конце крюком, застыл над шляпой Белугина, будто нацелился сдернуть ее...

Работал Хмыров с остервенением, гулко ударял вагой по опоке, словно выбивал рубли; руки, когда он размахивался, становились длиннее, и он бил, бил вагой по чугунной болванке, словно хотел выбить из нее всю душу.

Из пламени, из темно-красного цеха — в желтый день, на заводской двор. В столовой Ванька съел борщ. Аппетита не было. Горячая сухая роба жжет тело. Он откинул куртку за плечи и подставил грудь, прикрытую старенькой майкой, легкому ветру.

Небо высоко, оно голубое, как вода в роднике, а солнце расплылось, качается, и его лучи щиплют щеки, лоб, шею. Тянет ко сну, гудит в ушах. Металлические бока огромных турбинных трубсекций отражают солнце, и только в середине синяя тень, будто изнутри трубы отлиты из толстого стекла. В них отдыхают электросварщики.

Ванька прилег у штабеля шпал в тени и отдохнул. Где-то за трубами били молотом — звуки, казалось, были тоже горячими и проплывали мимо ушей, отдавая гулом в перепонки. Молот бьет и бьет: «Дум, бам, гун!» В просветах рыжей фермы, сваленной набок в канаву, вспыхивает голубое пламя со звездой в середине, слепит глаза. Это режут железо.

Он взгляделся в сварщиков, улыбнулся и стал наблюдать, как трещит фиолетовое пламя, распарывая воздух, и воздух стреляет, взрывааясь на электродной игле. «Им тоже нелегко. Работают... не бегут», — подумал

Ванька и устыдился своей слабости. Он понял, что, кроме него самого, есть и другие — Нитков, Белугин, и эти другие входят в его жизнь, а он — в их жизнь. Понял еще и то, что когда работаешь — легче думаешь о себе, о жизни, а не только мечтаешь...

Зацеплять подъемником болванки и грузить их в железный ящик — легко, но скучно, неинтересно. Стоишь один и ждешь, и твоя вага уже не стучит вслед за другой, и пламя на конвейере уже не твое... Зачем отдал вагу Хмырову?! Белугин приказал. Научиться бы работать так ловко и красиво, как Нитков, и самому кричать упавшей опоке «Привет!» Или, как Белугин, бежать к заливщику и торопить его: «Давай, давай, давай», потом первому сбить с конвейера болванку, чтоб за тобой последовали другие, и так всю смену, затем вместе идти домой, а утром опять шагать в рабочем потоке. Может, тогда не будет грустно, одиноко и тяжело. А что еще? Он чуть не задремал в тени под монотонное гудение зноя, под треск электросварки и гулкие удары молота.

Встал во весь рост и увидел: у ограды, облокотившись на решетку и подогнув ногу, стояла девушка-работница и смотрела, прищурив от солнца глаза, на пруд, на правый дальний берег, туда, где за ширью золотой воды стоял каменный сонный город, начиналась степь, а над нею, сливаясь с небом, опоясывали горизонт голубые Уральские горы.

Девушка что-то ела, откинув платок на шею и косичку с лентой на плечо.

По пруду, двигая по воде длинные синие тени, плыли белые яхты местного клуба ДОСААФ. От завода на пруд неслись клочья дыма, а на правом берегу полнеба закрывали тяжелые холодные тучи; они, грозно погромыхивая, вставали над домами, будто собирались упасть на землю и придавить ее. Вскоре стало невозможно отличить, где дым завода, а где тучи: все смешалось и нависло над водой; и только яхты со снежно-белыми парусами стремительно резали воду, словно гонялись за солнцем, которое то выглядывало, то пропадало за дымом. Потом оно скрылось за тучу, зеленая тень накрыла пруд, яхты стали еще белее и, казалось, летели, чуть касаясь воды, как огромные лебеди. Сквозь дым, который клубами качался над водой, ослепительно

блестела, будто начищенная, медно-красная гора с кирпичным зданием ТЭЦ. Только эта гора была освещена солнечным светом.

Ванька смотрел на девушку, на пруд, на яхты с каким-то необъяснимым волнением. Во всем было что-то спокойное и знакомое, как воспоминания о детстве, как солнечная грусть по неизведанным дорогам и далеким странам.

Работница заметила, что Ванька разглядывает ее, поджала губы, и на щеках ее Ванька увидел ямочки.

— Ты куда смотришь? — спросила она незлым, певучим голосом и повернулась к нему.

«Вот какая...» — подумал Ванька и ответил насмешливо:

— На тебя.

— А ты на меня не смотри! — настойчиво приказала она и стала заплетать ленту в косичку.

— Не торчи перед глазами, — обиженно бросил Ванька. Девушка сердито отвернулась.

— У-у! Злой. Подумаешь!..

«Ну вот, обидел». Ванька подошел к ограде, облокотился и тоже стал смотреть на яхты. Девушка чуть отодвинулась и сказала:

— Еще не знакомы, а уже поругались. Как тебя зовут?

Ванька ответил.

— Имя хорошее, а вот фамилия... Лопухов! Лопухом дразнить можно. — Она рассмеялась и заговорила, будто шутя:

— Вижу — работяга. Наверно, гайки подносишь. — Оглядела его с ног до головы. — Рост ничего, нельзя сказать, чтобы малышка-парашютная вышка.

Ванька пожал плечами. «А сама-то! Смейся, смейся, колючка. Получишь!»

Девушка показала на паруса:

— Вон, видишь, третья яхта?! Самая быстрая, а отстает. Вчера мы впереди шли.

Ванька никогда не катался на яхте, только на лодке, а яхту он считал настоящим кораблем, потому что есть парус, и он с уважением спросил девушку:

— А туда всех пускают?

— Запишись, научишься управлять...

Ванька вздохнул и застегнул куртку на пуговицу.

— Гудок еще не гудел... — и добавил как бы между прочим: — Я в литейном цехе работаю.

— А я во-он там!

Девушка показала на небо. Ее палец очертил дугу и остановился на кране. Кран, как огромная птица, похожая на журавля или цаплю, стоял на эстакаде над грудой листового железа, рельсов и труб.

«И совсем она не обиделась, и не злая», — подумал Ванька и взгляделся в ее веселые голубые глаза, от моторной пыли обведенные будто черной краской.

— Ты там — как птица в гнездышке.

— Угу! Орлиха! — засмеялась она в ответ и совсем доверчиво и певуче договорила: — Оттуда, — она указала на будку, — все видно, как нарисовано, а все-таки с земли лучше на землю смотреть, чем с неба. Я в будке никогда не обедаю.

— Гроза будет. Смотри!..

Они вдвоем оглядели небо. Тучи шли издалека, откуда-то с Уральских гор, они обложили все небо, нависли над заводом и накатывались на старый, левобережный город, покрывая тенью бараки, землянки и красивые коттеджи в березняке. Над городом, закрывая полнеба, высилась залитая солнцем огромная ступенчатая гора Атач. Оттуда электровозы уже двадцать пять лет возили железную руду прямо на завод. Гору называли «кормилицей», и действительно она кормила завод, а завод — весь город.

— Угадай, сколько в ней руды? На сколько лет хватит? — спросила Ваньку девушка.

Он не знал и развел руками.

— Эх ты! Там миллионы тонн. Это целая цепь гор. Руда наверху, а сколько еще под землей!..

— Мой отец — экскаваторщик. Он двадцать лет грузил руду, и вон, видишь, полгоры осталось. «Гора моей жизни», — говорит. Он на пенсии сейчас, а свой экскаватор и полгоры отдал другому... «Эх, — говорит, — жаль, не удалось мне эту гору всю свалить!» И каждый день смотрит на нее в окошко.

— Да-а! — восхищенно и задумчиво выдохнул Ванька и проникся уважением к девушке и к ее отцу. — Этой горы на всю жизнь хватит! Успевай рыть!

Громадные желтые и бурье ступени поблескивали над городом, и Ваньке представился экскаватор, грузя-

щий по вагонам руду. Ее плавят, из чугуна лют болванки, а он вагой стаскивает их с конвейера. «Сталь для человека все равно что хлеб», — вспомнил он слова Белугина и почувствовал в девушке товарища, который делает одно с ним дело.

— Как тебя зовут? — спросил он дружелюбно.

— Надежда.

Он вспомнил, что где-то читал слова: «Если у человека есть надежда — он уже человек», и ему захотелось подружиться с Надеждой и каждый день в обеденный перерыв смотреть на яхты, на небо, на гору и говорить обо всем на свете, и даже о любви. И еще он где-то читал красивые слова, которые ему хотелось сказать Наде когда-нибудь между прочим: «Любовь приходит и уходит». А иногда она приходит и не уходит».

Они вздрогнули от громкого гудка. На заводском дворе стало прохладно от ветра, дующего с пруда.

— Ну, я в цех. Работать. — Уходить Ваньке не хотелось.

— Иди, не споткнись! — пошутила Надя и, легко перепрыгивая через брусья железа, направилась к эстакаде.

Ванька смотрел ей вслед, наблюдая, как она взбирается по лестнице в будочку, вот она помахала ему с неба рукой, и он пожалел, что она на орлиху не была похожа.

Он направился в цех, думая о том, что не так уж плохо все устроено в жизни и не так уж тяжело, если, кроме всего прочего, есть красота, как этот пруд с яхтами, голубые глаза Нади, необъяснимое волнение в груди, которое, наверное, взрослые люди называют любовью, есть Белугин, Нитков, Султан, — и все это здесь, в этом городе, в его, Ванькиной, жизни.

В цехе он взял у Хмырова свою вагу и встал на рабочее место рядом с Белугиным. Никто почему-то не возражал, только все с улыбкой переглянулись, и Ванька молча, довольный, работал до окончания смены.

Домой он возвращался один и, странное дело, совсем не чувствовал усталости. Правда, руки по-прежнему болели, но настроение было хорошее. Он понял, что

вместе со всеми делает одно важное дело, которому люди отдают не только рабочие руки, но и души.

Лопухов не спешил, в своей душе он нес что-то новое, а что — он пока еще не понимал, просто ему было хорошо на душе, будто познакомился со всем городом лично или побывал совсем в другом мире. Правильно сказал дворник Султан Хабибулин: когда человек работает — жизнь делает.

Грозы так и не было. Просто тучи ушли куда-то, спрятавшись за гору-кормилицу. И все сегодня было новым, все, что окружало его. Каменный город, отделенный от завода бурьми водами реки, дремал уже в вечерних горячих сумерках. К берегу, к дамбам моста, к насыпям прибивало мертвую белую рыбу. Она будто нарочно застrevала в густой мазутной пене и даже от ветра не шевелилась. Мальчишки брали рыбу руками и бросали под мост в чистое течение, надеясь, что рыба оживет. От реки веяло прохладой, а в городке еще стояла жара, и на улицах пахло бензином и нагретым асфальтом.

Желтые листья, бумага, окурки и осенняя тяжелая пыль лениво шуршали меж домов, когда проезжали грузовики или пузатые красивые автобусы, и долго, быстро, легко кружились в воронкообразном невидимом вихре, подымаясь к небу и исчезая где-то там, над крышами красивых домов, в которых жили рабочие люди. Высокие сухие карагачи железными ветками будто проткнули душное небо. От стен не было на проспектах тени, и все, казалось, плавилось от гаснущих лучей заходящего уставшего солнца.

Все в городе затихало, люди готовились к ужину и отдыху, а Ваньке хотелось бродить по городу и думать о себе, о людях, о жизни. Сегодня он может пойти в гости к Султану или к Белугину, и опять с тетей Варей он будет украдкой смотреть картины ее старшего сына...

На Комсомольской площади увидел знакомого парня в короткой рубашке с белыми пуговицами, который нес в общежитие моток проволоки и болты. Сегодня в красном уголке будут монтировать пробный телевизор. «Для людей старается... И после смены работает!» — подумал Ванька о парне и оглядел площадь. Она называлась Комсомольской, была просторной и выходила к реке, к заводу, к насыпям, по которым

днем и ночью сливают шлак. Площадь обставлена киосками, в которых продавали и капусту, и мороженое, и книги. А рядом ярко светился огнями «Гастроном», на карнизе почты пело радио.

Отсюда, если смотреть ночью на завод, виден почти весь город. Заводское пламя освещает все вокруг, и отсюда вечерами люди приходят смотреть на огни. Невидимые трамвайные рельсы, когда вспыхивает от слива шлака зарево, загораются красной лентой и, опоясывая площадь дугой, мерцают долго-долго, будто впаянные в асфальт. Внизу, у моста, шумит запруженная бетоном река, ударяет в быки моста и бурлит, когда припадает к воде тугой ветер, и гонит она волны с рыжей пеной далеко-далеко в степи, к Уральским горам. Вечерами свистит маневровый паровозик и сливает шлак поочередно из двенадцати ковшей. Двенадцать раз вспыхивает зарево — двенадцать раз вспыхивает небо и постепенно гаснет. И тогда начинают ярко мерцать белые ночные звезды.

Б такие минуты где-то в душе сгорают грусть и усталость, и хочется всех людей сделать счастливыми.

Ванька стоял на площади и никуда не хотел уходить. Ему тоже хочется сделать счастливыми всех, потому что сам он сегодня немножко стал счастливым. Наверно, так и начинается настоящая жизнь. Завтра он снова войдет в рабочий поток и будет работать как сегодня, когда понял, что он работал не только за деньги, и впервые почувствовал себя рабочим.

Завтра он снова увидится с Надей и подружится с ней, а потом и с ее отцом, который свалил полгоры и ушел на пенсию.

«А ведь это его зарево горит! Это его пламя на заводе! А где и какая гора жизни моей?!» — Ванька подумал с испугом и успокоился тем, что впереди еще целая жизнь и гора для каждого найдется. Ведь они — рабочие и свой огонь добывают прямо из глубин земли, а такой огонь горит всю жизнь. Он горит над заводом, за которым — гора-кормилица. Там и сейчас роют и грузят по вагонам руду и выплавляют из нее сталь, чугун, и зарево над заводом постоянное и днем и ночью, потому что и днем и ночью рабочие заняты одним главным делом. И он, Ванька Лопухов, — с ними. Еще вчера ночью он хотел убежать и хныкал, а бежать

не надо: всюду жизнь! Ведь человеку мало работы, зарплаты, жилья и одежды — ему нужен весь мир. И кругом этот большой рабочий мир, в котором горит рабочий огонь. А это зарево от раскаленного шлака, что сливают в воду, яркое, но не вечное, — только двенадцать ковшей, а вечное там, на заводе. Там пламя, и никто никогда его не погасит.

Памяти

Николая Ивановича Замошкина

1

От зноя потрескалась земля, надломились и обвисли в канавах стебли крапивы, высохла широкая пойма горной реки, и на берег, где в беспорядке громоздились бревна, а рядом булькала быстрая холодная вода, оседала, когда проезжали автомашины, серая дорожная пыль. Улицы деревянного северного города дремали. На площади со столетними тенистыми кедрами в киосках и будках шла бойкая торговля хлебным квасом и мороженым.

Александр Петрович, председатель горисполкома, тучный мужчина, не спеша, покачиваясь, шагал по пыльной набережной, опустив тяжелые руки. Отвечая на «здравствуйте» кивком головы, хмурил голубые глаза, устало дышал: был не в духе.

До места работы оставалось пройти немного.

Длинный и узкий дощатый мост-дорожка с наглухо обшитыми перилами покачивался и скрипел на столбах, вбитых в грунт высохшей речной низины. Мост тянулся вдоль берега к старинному деревянному зданию с колоннами.

Александр Петрович шагал по настилу и утирал белым платком с синими полосками большой круглый лоб, мягкие щеки, пышные седые волосы, зачесанные назад. На нем была плотная зеленая гимнастерка, обтягивающая его богатырское тело и потертая на плечах. Был он туго подпоясан широким рыжим ремнем. Летние брезентовые сапоги запылились.

Навстречу торопилась женщина. Осторожно ступая по доскам и высоко подняв раскрытый запыленный черный зонт, она несла на руках белобрысого мальчишку. На малыша падала тень.

Когда женщина поравнялась с Александром Петровичем, он уступил дорогу, прислонившись спиной к перилам, успел взглянуть ей в лицо, позавидовал малышу: как-никак в тени — и, решив, что это, наверно, приезжая, потому что осматривается по сторонам, потому что у нее кавказское лицо с острым подбородком и грустными глазами, недовольно пробормотал:

— Ну куда она потащилась с ребятенком в этакую-то жару?.. В магазин, наверно... Тоже ведь выдумала: зонт! Хм! Зачем, интересно, приехала — в гости или работать? Без квартиры, наверно, мается...

Александр Петрович оглянулся: женщина остановилась у высокой избы с палисадником, прочла вывеску и вошла в краеведческий музей.

«Так и есть, приезжая! Вот и новый человек в нашем городе!.. — Он усмехнулся. — Разве это город?! Большая деревня!»

Александр Петрович оглядел широкую таежную долину, среди которой раскинулись пыльные кривые улицы, деревянные дедовские избы с палисадниками и огородами у глубокого оврага, по каменистому дну которого бесновалась холодная горная река. По отлогой горе поднимались вверх, в сосновый бор, новые срубы изб с маленькими окошками и высокими заборами. И только здания почты, гостиницы, горкома и клуба были двухэтажные, хотя тоже деревянные и старые.

«Да... город стар! Нужен новый, каменный с многоэтажными, большими домами... Легко сказать: нужен! А ледник под землей, а глубинная вода! Попробуй построй — через зиму осядет все набок... Даже дороги по улицам из дерева — лежневка! Весной расползается, сдвигается мерзлый северный грунт... А ведь я слышал, что в Норильске уже стоят каменные дома на мерзлом грунте. Открыли секрет! Значит, можно и у нас! А здесь из строительных материалов только лес. Обыватели радуются: «Зачем нам каменные дома?! Тайга кругом! Бери бревна, строй гнездо с огородом и живи — охотничай, рыбачь, коси травы, пой песни про коровушку и торгуй. Можно не работать — земля прокормит!»

Где-то вдали, на железнодорожной станции, послышался тонкий печальный паровозный гудок... Александр Петрович вздрогнул и расстегнул ворот гимнастерки. «Жара, жара... Нет ничего хуже северной жары. И от-

куда она здесь, на севере?! Жарко, наверно, сейчас на всем земном шаре... Пора бы и дождям за дело приниматься. Сгорит в колхозах хлеб на корню. А в тайге, чего доброго, еще начнутся лесные пожары... Пожары! А что тогда поделаешь? Ведь в одном только нашем районе леса в два раза больше, чем в такой стране, как Швеция! Хм, Швеция... Жарко-то как!»

У берега в воде кувыркалась, брызгалась, бегала детвора.

Александр Петрович шагнул к реке, остановился, крякнул, пожалел, что ему уже шестьдесят, что не может, как мальчишка, раздеться и плюхнуться голышом в эту чистую, холодную воду. Почувствовал, как стеснило грудь, а сердце будто остановилось, вздохнул глубоко. Свернулся в подвальное помещение с ярко-зеленой вывеской: «Книжный магазин».

В полутемной, проходной комнате тянулись стеллажи с книгами, сколоченные из нетесаных досок. В углу на кирпичах разобранной печи лежали брошюры, связанные бечевкой; на бумаге, разостланной по полу, стояли в ряду, навалившись друг на друга, тяжелые толстые тома энциклопедии, лежали кипы плакатов и художественных репродукций. Над ними возвышался на треногах дубовый стенд с ободранными красными буквами: «Новинки».

Александр Петрович подошел к витрине-столу, постоял около него и покачал головой.

Навстречу ему вышел коренастый старик, одетый в просторную бархатную куртку, в роговых очках с толстыми стеклами, он погладил свою красную лысину, зажал в ладонях бороду и стал перед председателем горисполкома, наклонив голову: глаза его робко поглядывали из-за очков и хитро прищуривались:

— Здравствуйте, Лев Дмитриевич!

— Да, да, здравствуйте!

Александр Петрович осмотрелся и, не найдя стула, чтобы присесть, весело произнес:

— Хорошо у вас, хорошо. Прохладно. Что, новые книги пришли? — Он подошел к стопке книг, прочел несколько названий вслух: — Олдридж. «Дипломат». Книга хорошая.

— Великолепная!

— «Заговорщики»... М-да! «Большой поток» — из

Архангельска. — Александр Петрович перелистал несколько страниц. — Наверно, хорошая повесть, о лесе! Вот тут и картинка... Трелевочный трактор... тайга... лесорубы. Такие книги нам нужны. А что же это у вас сочинения Маркса и Ленина лежат в углу? Разобрать надо. Отдельную витрину заказать. «Капитал» Маркса на свет надо, чтобы видно было. Ну как, берут книги?

Лев Дмитриевич поднял голову.

— Покупают мало. Больше... детскую литературу и романы, которые в моде.

— М-да... Склад у вас, а не книжный магазин! Старое помещение. Узкое. Мрак. С горкомхозом Иванчихиным говорили? Есть ведь специальное решение горисполкома дать вам новое помещение.

— Говорил я, говорил! Обещает, а я верю и жду. Сыровато у нас, тесновато и... вообще... знаете.

— Вы тихий человек, Лев Дмитриевич! Требовать надо, напоминать чаще Иванчихину. Ко мне бы зашли, как вот я к вам, запросто.

— Я ведь верю человеку, Иванчихину то есть. Он честно ищет хорошее, сухое помещение для нашего магазина.

— Сколько уж времени прошло, как он ищет?

— М-месяцев пять!

— Ну вот! На одной вере жить нельзя. Позвоните ему сейчас же, при мне, от моего имени спросите. Что он скажет?

Лев Дмитриевич не спеша снял трубку, послушал и, кивнув кому-то, с достоинством попросил:

— Иванчихина мне.

Александр Петрович посмотрел на дощатый крашеный пол, на стены, уставленные книгами, на потолок, над которым слышались шаги, голоса и стрекотание швейных машинок, заметил, как замигала электрическая лампочка на побеленных синей известью бревнах потолка, и почувствовал, что ему почему-то стало холодно, почувствовал в душе злость на самого себя за то, что только от жары и усталости зашел сюда отдохнуть и подышать прохладой, а ведь мог бы и не заглянуть...

— Что? — обратился он к Льву Дмитриевичу, растерянно стоявшему с трубкой в руках.

— Вот... опять обещает... Хороший человек, я верю.

— Дайте-ка трубку!.. Да! Я! Слушай меня, Иванчи-

хин! Сегодня же пройдись по артелям, мастерским, магазинам, складам. Я думаю, что найдется возможность обмена помещениями. Доложишь сегодня же! Думаю, для этого тебе не потребуется пяти месяцев?

Лев Дмитриевич делал вид, что просматривает книги, перекладывая их из одной стопы в другую, но по тому, как он обернулся и, держа очки в руках, посмотрел близорукими темными глазами, Александр Петрович понял, что он взволнован и рад.

— Витрину неплохо бы у входа поставить. А то что же это она у вас в углу стоит?

Тяжело поднявшись по деревянным ступеням, Александр Петрович вышел на улицу и зажмурился от солнечного света.

По каменистому берегу громыхали, подпрыгивая, машины. Жаркая пыль взлетала густыми клубами в воздух, переваливаясь по откосу к реке.

Седой от пыли берег! И только молодые, недавно посаженные яблоньки, за которыми ухаживал уличный комитет, зеленели, оттопырив свои ветки в разные стороны.

Александр Петрович грустно усмехнулся, покачал головой, махнул рукой. «Что яблони... Эксперимент!» И вдруг увидел ободранную кору внизу ствола, рассердился, чувствуя, как защемило сердце. «Куда только милиционеры глядят? Вот ведь гложут козы яблоньки! Ну что это такое?!»

У центрального моста вдоль берега выстроились длинными рядами, как на параде, пивные киоски и галантерейные ларьки. «В городе до сих пор нет порядочной площади. Не поймешь, где центр, где окраина! Мост — центр! Здесь и пьяные драки... Да-а-а! Сам виноват... заседаем!»

У Дома приезжих ждала пассажиров грузовая машина, курсирующая по району. В кузове одиноко сидел, прижимая к груди ружье и свертки, пожилой манси — мужчина с косичками, в белом платке.

Александр Петрович встретился с манси глазами, кивнул, сказал:

— Паче, рума! Здравствуй, друг!

Но манси не ответил на его приветствие: видно, задумался о чем-то. Александру Петровичу стало тоскливо, он вспомнил о жене и о ссоре.

Нет, это не было ссорой. Просто повздорил с женой

из-за ее излишней заботливости, из-за слишком частых напоминаний о том, что он — председатель, «городской голова», а поэтому должен так-то одеваться, так-то держать себя при людях и гостях, из-за ее мелочных придирок, вспыльчивого характера и слез. Не любил, если она называла его при всех Сашенькой, как мальчишку, и еще не любил смеха дочери, наблюдавшей за их ссорой.

Лина — взрослая дочь, приехавшая на летние каникулы из Свердловска, где она заканчивала медицинский институт, — никуда из дома не выходила, ничего не делала, только валялась на кушетке да целыми днями простоявала перед зеркалом — наводила красоту. Ее белые волнистые кудри спадали до плеч, и жена называла дочь Прекрасной Еленой.

Александр Петрович знал, что Лина мечтает о замужестве, что между дочерью и матерью ведутся таинственные разговоры о будущем женихе, которого пока нет, но к появлению которого нужно быть всегда готовой, и злился, что дочь и жена скрывают все это от него.

Он не раз говорил жене, что мечтать и думать о женихе, которого еще нет, но который существует и где-то живет, ходит по земле, работает и совсем не предполагает, что о нем думают, — чистейшей воды обывательщина.

Вот сыном Маэм он был доволен. У женщин в семье какой-то свой затаенный мир, а сын был ему другом.

Когда Май уехал в автодорожный техникум, с вокзала возвращались пешком. Шоферу разрешил покатать на пикапе товарищей Мая. В сумерках шли с женой лесом. В березняке было влажно и сырое. На душе и спокойно — как другу сына, и печально — как отцу. Жена то молчала, то плакала, то начинала беспокоиться о муже, как о ребенке. Обняв его, окутывала шею своим платком, прижималась горячей грудью, целовала. А он щутил: «Товарищ жена! Что же это такое, люди добрые? Целует среди бела дня! Ай-ай-ай!» И обоим было весело, как детям.

Тогда они поняли, что остались одни, что подошла старость, что нужно прощать друг другу вспыльчивость и ошибки, и шли, обнявшись, до дома, думая о детях, о старости, о жизни.

Александр Петрович улыбнулся. Вспоминать о прошедшем было приятно. Горько было только, что годы как-то уж очень быстро прошли, что человеческой жизни положен предел, и что ни говори, как ни бейся, а вот придет когда-нибудь этот тихий денек...

Он остановился и зло выругался. «Чепуху какую-то гонес! Эвон, смотри-ка, философ... умирать собрался!» И усмехнулся, прикрыв ладонью губы.

В душе все равно оставалась печаль. Александр Петрович старался о ней не думать, шагал быстрее, в такт шагам шептал короткие фразы и с удовольствием думал, что люди зовут его «хозяином», «папашей», «Петровичем» и официально «товарищ Александр Петрович». Знал, что любят его в городе. Любят и как человека, и как председателя горисполкома. «А может, потому любят, что председатель, власть? — вдруг остановился он. — Нет. Шалишь! Не потому».

В первые годы Советской власти он работал воспитателем в детдоме. Из всей группы сбежали только трое — мелкие воришки, хулиганье... А остальные все — рабочий класс!

В годы разрухи служил на железной дороге, снабжал грузами отдаленные районы... А потом — райпотребсоюз... все время в разъездах. И только в городе Серове жил десять лет безвыездно, работал председателем профсоюза на транспорте. Здесь родилась дочь Лина. И вот теперь в северном далеком городке, кажется, последняя остановка. Да-а! Друзья-то в большие люди вышли, в городах ворочают, в обкомах. А один даже министр!

Александр Петрович ступил на крыльце горисполкома — двухэтажного деревянного здания с колоннами, прошел через вестибюль направо в коридор, где помещались приемная горисполкома и его кабинет, и почувствовал облегчение, будто пришел домой.

В приемной ждали посетители, сидя на потертом кожаном диване с выпиравшими пружинами, сгрудившись у перегородки, за которой у окна стучала на «Ремингтоне» рыжая толстая секретарь-машинистка.

— Рано пришли. Прием с десяти!

Из посетителей Александр Петрович заметил вихрастого высокого парня в узеньком пиджаке, старика и старуху Мышкиных, какую-то беременную бабу и де-

вочку-школьнице, читавшую плакат «Граждане, спешите застраховать свою жизнь». Увидев председателя, посетители посторонились. Смолкли разговоры. Александр Петрович громко произнес:

— Здравствуйте! — и прошел в кабинет.

2

В большом кабинете — комнате с четырьмя окнами во всю стену — прохладно и тихо.

В одном углу стоит, свесив чуть не с потолка свои тяжелые широкие листья-руки, комнатная пальма; в другом — чуть слышно тикают часы в футляре. Над массивным кожаным черным диваном висит карта Советского Союза. На письменном столе два телефона, около стола радиоприемник и этажерка с книгами в красных переплетах. Середину комнаты занимает стол, накрытый красной скатертью, и стулья.

До начала приема осталось двадцать минут.

Александр Петрович сел в кожаное кресло и осмотрел хозяйство на столе, затем развязал тесемки пустой папки с этикеткой «Срочно», насыпал в трубку табаку из пачки «Дюбек», вынул из кармана очки, положил рядом с чернильницей. «Ну вот мы и дома». Он повеселел, закурил, забыв о жене, пыльных улицах, жаре, пододвинул к себе листок — чье-то заявление, оставшееся неразобранным.

Вчера вечером после работы Александр Петрович играл в шахматы с секретарем горкома Протановым — милым, спокойным человеком. В начале партии он взял со стола листок бумаги, чтобы записывать ходы, не заметил, что листок — документ: на оборотной стороне было написано чье-то заявление.

Александр Петрович просмотрел ходы. «Наверно, где-то ошибся... Ну да! Неправильный ход конем! Жаль бедного короля!» Он перевернул листок и прочел:

«Заявление.

Дорогой товарищ Александр Петрович.

Первая сторона — такая. Ваш работник распоряжался делянками на дрова и мою делянку отдал соседям Мочаловым, как бы у них сын на фронте погиб, а у меня никто. Такое дело я сочла как не по справедливым законам.

Муж мой тоже воевал с фашизмом, и я тоже числилась как жена фронтовика. Такой закон есть. А что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая. И еще у Мочаловых детей нету, а у меня их целых трое. А вторая сторона — что Мочаловы сами даже и на фронте не воевали.

Вы, как председатель, должны вернуть мою делянку. А если нет, я могу пожаловаться. Есть другие и выше вас органы, куда я напишу в случае чего, так как у меня трое детей на руках и я так сочла... Гражданка Козодоева».

Александр Петрович почувствовал, как щекам стало жарко; он положил листок прямо перед собой, бережно разгладил ладонью. «Сочла... Делянка дров ей действительно нужна... Мужа бы ей вернуть — вот задача...» Он задумался над тем, какое решение принять. Таких заявлений много... но этот листок, эта женщина, мать троих детей, этот голос тронули его своей искренностью и грубостью.

И почему осталось это одно заявление? Не заметил при игре в шахматы... А теперь какой ход сделать? Вернуть ей делянку или дать другую... Но при распределении лесных угодий все фондовое шло на заготовку топлива в школы, бани и другие учреждения... А ведь будут еще заявления...

Стрелка подвинулась к римской цифре X. Сейчас начнется прием посетителей...

Александр Петрович решил подождать с заявлением, положил листок в папку «Срочно», закурил трубку. Синие облачка дыма окутали лицо. Приятно запахло вкусным трубочным табаком. В первый раз зазвонил телефон.

По спокойному, мягкому обращению «Петрович» он узнал Протанова, секретаря горкома.

— Петрович, сегодня по городу пройдет сплав,

— Да, да... знаю!

— Лесопильный завод стоит. Лес нужен.

— Мне тоже нужен лес. Мост через Пузыриху возводим... А также на закладку Дворца культуры.

— Вот и хорошо. Дадим! Но нужно помочь заводу... Главное — людьми. Завод стоит. Я пришлю к тебе бригадира...

— У меня сегодня приемный день. Сплавом займусь после обеда.

— Прими Григорьева. Ряд вопросов реши с ним.

— Ладно, присылай.

— Поищи знающего человека... Людей сплавщикам прибавь. Не справляются сплавщики одни — лесу много!

— Человека поищу... Рабочих... поскребу среди своих...

— Значит, сплав! Решили. Ну, хорошего всего!

Александр Петрович повесил трубку. «Жаркая будет работа». И нажал кнопку.

Толстая секретарша открыла дверь кабинета и, улыбаясь, остановилась в дверях, смущенная.

— Можно? — заметив кивок головы председателя, кому-то сказала громко, заикаясь: — Входите по порядку... Вы первые, — и пропустила двух посетителей — супругов Мышкиных.

— Там женщина... с ребенком... то есть... — он хотел сказать «беременная», но раздумал и сказал: — В положении. Пусть войдет.

Но Мышкины уже вошли и уселись. «Вот нахальные люди, — подумал Александр Петрович, — вошли без приглашения, уселись, решили выждать».

По мнению Александра Петровича, Мышкины — самые неприятные люди в городе. Сын в Москве «чем-то командует». Звал их к себе жить — не поехали. Хозяйство некуда деть — дом, огород, лошадь, коровы... Детей у них больше нет. Живут тихо на окраине, жадничают на старости лет: хозяйка торгует на рынке овощами, молоком, мясом, а сам работает ночным сторожем на лесопильном заводе. Копят деньги... Пришли опять «с вопросом о покосе». Рвачи! Сын столько лет не был в гостях, не знает, какими они стали. А они чем старее, чем богаче, тем жаднее. Эх, люди!

Александр Петрович стряхнул пепел, постукал трубкой о край пепельницы, оглядел Мышкиных, крякнул, подавляя в себе поднимающееся раздражение. Мышкин смотрел в пол, согнувшись, наклонив сплюснутую продолговатую голову с узким лбом, седоватой острой бородкой вниз. Весь он был похож сейчас на топор, готовый тюкнуть в пол острием-бородкой. Мышина равнодушно сидела рядом, поджав ноги, скользя глазами по стенам. Оба они показались Александрю Петровичу людьми из другого мира, случайно зашедшими к нему на прием.

Открылась дверь. Вошла беременная женщина, а с ней девочка-школьница с косичками, в белом платье.

— Подожди, дочка. Я сама скажу.

— Ну как же, мама! Ведь мы пришли по моему личному вопросу.

Александр Петрович почему-то обрадовался их появлению:

— Проходите, проходите обе! Садитесь, пожалуйста. Девочка подвинула матери стул.

Женщина застеснялась, спрятала улыбку, нахмурилась, положила руки на большой живот и бойко заговорила:

— Чикмарева моя фамилия, Чикмарева. Нехорошо получается, товарищ председатель горсовета. Я в декрете хожу, а дочку мою, школьницу, посылают в колхоз на работу. А я ведь... Вдруг что... и дома нет никого!

— Действительно, нехорошо получается, — согласился Александр Петрович. — Ну, а обращались куданибудь?

Мать плечом подтолкнула дочь. Девочка смутилась, заложила руки за спину и, наверное, сжимала и разжимала пальцы, потому что плечи ее вздрагивали.

— Я директору нашей школы Петру Ильичу говорила, что мама больна и что я с удовольствием с подругами поехала бы в колхоз, потому что интересно — весь класс едет, но дома некому оставаться.

Мать перебила дочь, сокрушенно качая головой:

— А он ответил: все, мол, едут, и ты должна. Мол, урожай богатый уродился — помочь требуется. И дочь моя... как комсомолка...

Девочка поправила комсомольский значок на груди и, вздохнув, отошла к двери. Видно, ей очень хотелось поехать с подругами в колхоз, но и оставить мать одну она боялась.

Александр Петрович улыбнулся и сказал, обращаясь к Чикмаревой:

— Хорошо, я позвоню директору школы.

Провожая ее к двери, он подумал: «Давай, хозяйка, рожай нам скорее гражданина!»

Двери с шумом распахнулись, и на порог вступил, пригибаясь и одергивая брезентовую робу, громадного

роста, с кудлатой черной головой сплавщик Григорьев. Он посторонился, давая дорогу беременной, раздвигая жесткой улыбкой усы и бороду, хрустя резиновыми сапогами. Округлые бесцветные глаза его под выгоревшими бровями окинули лукавым взглядом кабинет.

— Мое почтение! — выкрикнул он басом и подал тяжелую руку Александру Петровичу.

— Садитесь, Григорий Тимофеевич. Значит... сплав!

— Да, нелегкая его побери... Остановили лес у притока в Пузыриху и у плотины. Вот, — Григорьев развернул на столе путевую карту района, где красные стрелы обозначали маршрут сплава, и постукал желтым от курева пальцем по синей линии реки за городской чертой, — вот загвоздка где. Плотина мешает! Встала, как идол, холера, и... ни туды ни сюды!

— Плотина не помешает, — спокойно сказал Александр Петрович, — откроем ее. Воду в городской реке поднимать все равно надо.

— Надо, надо... — Григорьев грустно покачал головой. — Раньше-то... хорошо было! Р-раз! И провел сплав прямо по городу к лесозаводу! Правда, без плотины и большой воды морока была, бревна-то дно бороздили, но зато лес прямехонько, как по нитке, шел! А теперь...

— А теперь, — подхватил Александр Петрович, — придется обогнуть горы... с километр — и через Пузыриху снова в городскую реку. Плотина в стороне останется.

— А там... в Пузырихе... пороги у стыка, — подал тихий голос Мышкин, безучастно сидевший с супругой в стороне.

— Пороги? А вы откуда знаете? — недовольно спросил председатель, подвигая карту к себе.

— Ну, а как же... Знаю! Я, чать, старый плотогон... Да вот Григорий Тимофеевич обо мне замолвит. Вместях плоты водили.

— Припоминаю тебя... Подручным стоял, — откликнулся Григорьев.

— Что подручный, что плотогон — одинаково сплавщик, — обиделся Мышкин и провел ладонью по бородке. — А только через пороги на Пузырихе вам все одно не пройти. Похлеще плотины будет... м-да.

Все замолчали. Александр Петрович оглядел фигуру Григорьева, от которой веяло силой и спокойствием, и заметил у него под усами спрятанную усмешку.

— Как с порогами быть, Григорий Тимофеевич? Обойти тоже?

Григорьев расстегнул ворот ситцевой рубахи.

— Обойти нельзя. А вот запруду поставить если... до середины Пузырихи?

— Как это? А пороги? — оживился Александр Петрович.

— Топить их, чертей, надо! Вода хлынет на пороги... затопит! Речка небольшая... и поймы хватит. Час работы всего.

— Как, товарищ Мышкин, правильно будет? — Александр Петрович взял толстый красный карандаш.

— Это можно... Дельно. — Мышкин придвинулся, раскрыл рот недоуменно, будто отгадали его мысль. — Я эту пойму знаю. Морды на рыбу ставлю там... Богатое место.

— Хорошо! Решили. Вот записка, Григорьев, к Иванчикину. Он мост через Пузыриху ставит. Возьмешь у него рабочих человек восемь и... ставь запруду. А я после обеда приду, — проговорил Александр Петрович, поставил красным карандашом крест на Пузыриже и отдал карту Григорьеву.

— Да! Людей вот маловато!.. — испуганно сказал Григорьев.

— Как маловато... А я? А ты? Да вот Мышкин... поможет. Он старый сплавщик...

— Меня не надо, товарищ Александр Петрович. Я старик уже... Неспособный... да и болен я, — выговарил натужно Мышкин, поглаживая рукой красную гусиную шею.

Александр Петрович как бы про себя проговорил:

— Ага, не надо? Правильно... пороги, пороги, — и постучал пальцами по столу. — Ну а людей, — снова обратился он к Григорьеву, — добудем. Есть у меня плотононы... Вот всех после обеда с моста сниму — и к тебе... Рад?

— Уж как спасибо-то... — Григорьев привстал. — Ох и красиво лес поведем... по реке... по городу... чтобы с музыкой.

Александр Петрович захохотал.

— Садись, садись, Григорий Тимофеевич! Ну, как дома-то у тебя... все в порядке?

— Дома?.. Да как будто хорошо. Вот только от Гарпины покоя нет. С утра детский сад водит... пузатиков своих, и все на свой огород... Тыфу ты! На свой испытательный участок. Вечером снова в огород — уже одна. Огородница она у меня. Воюет с уличным комитетом... Земли, ей, виши, не дают.

— Ну что ж, огороды нужны.

— Любит она выращивать. Вот вишню посадила и молится на нее каждый день. А вишня-то как козий хвост... Махонькая. Не примется она здесь. А жена свое: «Была бы земля, земля все рожает».

— Домой-то заходил?

— Нет. Некогда. Лес стоит. Сейчас в бригаду пойду. Людей расставлять. Да и запруду пора делать.

Александр Петрович проводил Григорьева до двери.

— А земли Гарpine отведем! — И попрощался с ним за руку.

Мышкин смотрел им вслед, молчал, ожидая своего времени.

А когда Александр Петрович набивал трубку табаком, Мышкин пересел с дивана на стул и, наклонив голову набок, заулыбался и торопливо заговорил, пряча руки под стол, согнувшись вперед:

— Наше дело такое...

Александр Петрович слушал, кивая, смотрел в какую-то бумагу, сдвигал очки на лоб.

— Так, так... дальше.

Перед глазами его вставала та самая обывательская окраина.

Мышкин сидел в новом пиджаке, пахнущем нафталином, одеколоном, и часто повторял: «Мой сын в Москве». На этой фразе он щурился, откидывая голову назад, и всем своим видом как бы говорил: «Вот ведь я не просто так пришел, а по делу, и к власти свое уважение имею».

— Обида к вам, Александр Петрович. Покос наш самым дальним оказался от дома, почитай десять верст с избытком, м-да. Это ладно бы... да вот выделили нам сена-то только по разу на одну корову и на лошадь. На лошадь-то маловато одной деляночки... Работная она... Жрет много. Животность-то, она ведь такой народ... не

понимает... ей сена подавай. Да чтоб на всю зимушку-зimu. Так вот, как же лошадь-то? Сенца бы ей... еще деляночку дали бы...

Слушая вкрадчивый, любезный, воркующий голос Мышкина, Александр Петрович одобряюще кивал, улыбался, а про себя давно уже решил: «Ничего я тебе не дам, а живность твоя не пропадет, сена и дров ты давно уже припас. А делянки нужны тебе для продажи... хапуга!»

— Ну, а как с дровами у тебя?

Мышкин оживился, заметил улыбку на лице председателя и принял размахивать руками.

— Теперь опять же дрова... Дали делянку и отобрали. Так что же это за номер такой?! Выходит, совсем не дали...

«Обиженный какой, — подумал Александр Петрович. Посмотрел на супругу Мышкина, одиноко сидевшую на диване, прислушивающуюся к разговору мужчин, приложив ладонь к уху. — Зачем она-то с ним пришла?.. В гости, что ли?»

— Дрова отобрали? — произнес он вслух. — И правильно сделали! Сена вам положено, как всем. А на лошадь вы в состоянии прикупить. Живете вы, я знаю, хорошо... Да и сын помогает.

— Хорошо живем, хорошо, спорить нечего, слава богоу, сын из Москвы подмогает, — Мышкин так и сказал: подмогает. — Тыщу рублей! Как штык!

— А куда вы их деваете?

Мышкин смущился, не ожидая такого вопроса:

— Ды-ы... на хозяйство уходит. М-да!

— А насчет дров... — Александр Петрович привалился к столу, руки вытянул вперед, скрепив пальцы, — скажем честно... Вы же на лесопильном заводе работаете, кажется, ночным сторожем. И вам каждый месяц выписывают отходы.

Супруга Мышкина отняла руку от уха и выпрямилась.

— Это как же? Это не в счет! А я вот вам что скажу, Александр Петрович, председатель, обижаете вы нас... нам ведь, старикам, тоже пожить охота... — И она замолчала, хлопая глазами, прикрыв рот ладонью, потому что Мышкин громко крякнул: не лезь, мол, не в свое дело.

— Можете жаловаться куда угодно, а только я правильно решил, так мне кажется.

Мышкин замахал руками.

— Нет, что вы, дорогой Александр Петрович! Жаловаться... кхе... Свои люди...

Александр Петрович рассеянно посмотрел в окно. Там по улице, на зеленом дымчатом фоне тайги и гор, возвышающихся над избами, широко шагал председатель горкомхоза Иванчихин.

На солнце искрилась синяя полоска реки.

Обогнув запань, заваленную бревнами, в воду въехала машина, подпрыгивая по дну, и остановилась.

Александр Петрович, строго блеснув очками, прищурившись на Мышкиных, проговорил:

— Дров я вам не дам. Сена на лошадь тоже.

Из кабины вышел шофер в трусах, с ведром и, окунувшись с головой в реке, стал быстро наливать воду в радиатор и в боковую у кузова цистерну-патрон.

По бревнам балансировала худая, серая от пыли коза, пощипывая вкусную, клейкую от смолы кору... Мальчишки брызгали на козу водой, а она непонимающе поднимала голову, тряслась бородой, жевала и только фыркала в свое удовольствие. Коза чем-то была похожа на Мышкина. А он стоял у стола, рассуждая вслух:

— Так, значит, так, значит... на лошадь сена нет. Дров тоже... Хм! Вот жаркие погоды пройдут... что тогда? Останется лошадь сиротой.

Александр Петрович раскрыл папку «Срочно» и на углу заявления аккуратно написал: «Выделить Козодоевой дрова — делянку Мышкиных». И усмехнулся, прочитав: «...а что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая».

Мышкины заторопились.

— Ну, товарищ Александр Петрович, мы пошли.

Заметив, что председатель размашисто подписывает что-то толстым красным карандашом, они остановились в дверях.

— Так, значит, по нашему вопросу ничего?

Мышкины смотрели на Александра Петровича таким тяжелым, просияющим взглядом, что ему захотелось выругаться, закричать: «Хапуги! Хоромники!» — но он сдержался. Мышкины наконец вышли и осторожно прикрыли за собой дверь кабинета.

«Ушли, ушли... Отняли время! Отняли время или поработал с людьми?» Решил, что «отняли время». Измором хотят взять, черти!

— Сын подмогает, сын подмогает, — произнес Александр Петрович вслух, подражая Мышкину, и ему стало весело, как мальчишке. — Деньги шлет им. В эту прорву. А Мышкины рады — крепнут!

О, это хитрый враг, с которым ему всю жизнь приходилось бороться. А Мышкины живы, не спрятались, окрепли. Это не трусливый враг. Он даже чувствует себя хозяином, потому что знает законы, имеет свое уважение к власти, аплодирует чужим победам...

В далеком северном городе, где живет Александр Петрович, еще много обывателей, мещан со своей никому не известной второй жизнью, пьянством, драками, ночных грабежами, разводами, обманом, ленью на работе, стяжательством, страхом за свое добро — за избу с высоким частоколом, с тяжелыми дверными замками, с цепной собакой во дворе...

Ему не жаль времени, убитого на приемы, на разговоры, на разборы жалоб, — ему стыдно, что он не может единым взмахом разрубить запутанный узел двойной людской жизни. На это потребуется еще годы приемов, мыслей, бумаг, речей, заседаний, приказов...

«А самое главное, — думал Александр Петрович, — в том, что вместо изб и пыльных улиц здесь нужен новый город — город с многоэтажными домами, прямыми улицами, садами, дворцами культуры, школами, больницами, площадями; нужны заводы, рудники, леспромхозы с крепкими рабочими коллективами, овощные совхозы, животноводческие фермы, нужна культура... Да-а!»

Александр Петрович расстегнул ворот гимнастерки, набил трубку табаком, закурил, зашагал по кабинету и в такт шагам повторял пришедшие на память стихи:

Пусть шумит океан,  
Пусть ревет океан,  
Пусть вздымают он волны, и кручи.  
Ты плыви, капитан!  
Ты люби, капитан...

Он забыл последнюю строчку и остановился. «Кого люби! Чьи это стихи? А-а-а! Васьки Макеева, начинающего поэта, про которого рассказывает Леонтьев...»

Вспомнился молодой очкастый парень с несуразным толстым животом — редактор городской газеты Леонтов, с которым были на слете охотников манси в далеком селе Буртанове. После слета охотились, ловили рыбу, ели свежую уху, пили водку. На обратном пути плывли по Лозьве на лодке. Леонтов опьянел, отчаянно кричал, подняв голову и упираясь шестом в дно:

Ты плыви, капитан!  
Ты люби, капитан...

Он много раз повторял эти две строки, прислушиваясь, как вдали по реке, между скалами и тайгой, катилось эхо: «Плыви-и... Лю-би-и-и!» И хохотал, захлебываясь словами, и с упоением кричал: «Слушай, тайга, гениальные стихи нашего местного поэта Василия Макеева!..»

...В дверь быстро и громко постучали.

Александр Петрович сел за стол и спокойно сказал:  
— Войдите.

Вошла та самая женщина с кавказским лицом, которая встретилась ему на мосту утром. Тогда она была с малышом на руках и держала зонт над головой, а сейчас пришла одна. Стоя посреди кабинета и поправляя тонкими пальцами белый галстучек, она жестко спросила:

— Вы председатель?

И то, как она спросила, краснея от досады на себя за злую интонацию своего грудного, певучего голоса, и сам неожиданный приход ее заставил Александра Петровича смутиться. Он почувствовал за собой какую-то вину, хотя не знал, какую именно.

— Да. Председатель. Садитесь, — произнес он тихо.  
— Не сяду!

Черные косы ее закручены сзади в узел, а глаза, удивленные, обрамлены густыми ресницами, и подбородок совсем не острый, как ему показалось утром, а круглый и вздрагивает.

— Слушайте, я не могу спать под открытым небом. Здесь не Кавказ, а Север. У меня малыш — мальчик. Я приехала к мужу. Он геолог. В гостинице места нет. Все живут по броне. Дом приезжих полон делегатов конференции по животноводству — так мне сказали. Некуда вещи девать. Ребенка... в музее оставила, у ди-

ректора Уварова! Что это такое? Извольте на улице жить! Странный принцип гостеприимства. Заходила в несколько изб — не у кого остановиться. Ломят такую цену за ночлег — удивляешься только! Скажите, это город советский или не советский?

Александр Петрович обиделся было, хотел громко крикнуть: «Советский!» — но взял себя в руки и снова предложил женщине сесть.

— Подождите, — нетерпеливо продолжала женщина, — я не все сказала. Муж меня не встретил почему-то. У него, наверно, срочные дела, уехал в экспедицию. А в управлении треста «Руда» не говорят, где сейчас находится мой муж. Секрет! Мой муж засекречен! Я и в музее узнавала о муже у директора Уварова. Муж писал мне об этом хорошем человеке. Но и Уваров, к сожалению, не знает. Я догадываюсь... Наверно, экспедиция открыла руду, а мой муж специалист по железным рудам. Он ведь сейчас где-то недалеко, за чертой города. Иначе как мог он приезжать к Уварову чуть ли не каждый день?! — Женщина глубоко вздохнула и посмотрела по сторонам. — Мой муж — геолог Коноплин. Маро Азарян — моя фамилия.

— Товарищ Маро Азарян, садитесь.

Женщина села и доверительно, виновато посмотрела в глаза Александру Петровичу.

— Значит, у вас два вопроса: жилье и муж, — сказал он скорее самому себе, чем женщине, и стал на форменном бланке писать отношение в гостиницу.

«Стыдно за город, — думал он, — если у приезжих в первый же день возникает чувство обиды на все плохое, что здесь есть. Конечно, она права, что с обидой пришла именно ко мне. Интересно, какая у нее профессия? Человек боевой по характеру, настойчивый, неглупый. Такие городу очень нужны. Вот муж руду открыл. Значит, будет еще один новый рудник, новый рабочий коллектив. А почему я не слышал раньше о Коноплине ничего. Ах да, он засекречен!»

Александр Петрович незаметно, закрыв ладонью лицо, усмехнулся, поставил точку и расписался на бланке.

— Квартирный вопрос я могу решить, — сказал он, вздохнув облегченно, — а вот с мужем... дело сложнее. Советую вам снова сходить в управление треста «Руда»,

сообщить в отдел экспедиций о своем приезде. Они обязаны известить мужа. Ну, не беда, если дня два вам придется подождать, пока он приедет.

Женщина кивнула головой, закрыв глаза, улыбаясь красивыми тонкими губами.

— Ну вот и все. Я погорячилась, накричала, простите, не могу нежнее. Ехала, мечтала о встрече, об этом новом для меня городе, думала — все будет идеально, как муж писал. Ну, ничего.

— А вы... кто по профессии? — спросил Александр Петрович.

— Инженер-металлург. Маро Азарян моя фамилия, — повторила она зачем-то. — Думаю, что скоро мне здесь работа найдется. До свидания, товарищ...

— Александр Петрович!

Азарян пожала руку председателю. Александр Петрович хотел сказать ей: «Сегодня сплав. Приходите посмотреть», — но она уже ушла.

«Ушла... — вздохнул он грустно, — пришла и ушла. Накричала, взяла свое — и все. Правильно! Так и нужно».

Зазвонил телефон. Александр Петрович снял трубку и услышал голос жены.

— Это я, Александр Петрович, Зина.

— Зина, что ты?

— Саша, обед-то давно готов! У тебя дела, да? Я жду, жду... Опаздываешь.

— Приду, приду я. Как там Лина?

— Лина сидит за столом. Мы с ней окрошку сделали, очень вкусная! Лина хочет уезжать к себе в Свердловск.

— Как уезжать?! Ведь каникулы еще не кончились.

— «Скучаю», говорит.

— Ну, скучаю...

— А как же. Днями одна и одна. И купаться ходила, и книги читала, и спала. Места, говорит, себе не нахожу... Жизнь, говорит, у вас тут однообразная... Кончу, говорит, институт, в большом городе останусь жить, к вам не приеду. Это дочь-то мне в глаза.

— Ну что ж. Пора ей и одной пожить. А куда пошлют ее работать — это еще не известно. Комиссия скажет.

— На тебя надеется: папа, мол, поможет.

— Глупо и наивно, так и скажи ей.

— Ты, Сашенька, какой-то черствый к дочери. Она еще молода. У нее свои планы на жизнь. Поживет — оботрется, остеинится.

Александр Петрович слушал жену, злился на себя, что не может оборвать этот длинный, неприятный разговор в служебное время. Не может потому, что обеспокоен судьбой дочери, ее внезапным решением уехать в Свердловск, что вот сейчас отчетливо понял: дочь уже взрослая и вправе сама решать свою судьбу. Увы, Лина все больше и больше отдаляется от него. А он ее любит. Любит за то, что она гордая, умная, красивая, за то, что она его дочь. Но Лина теперь сама по себе, и он уже не может на нее повлиять.

— Говорит: «Мама, за кого я здесь замуж выйду?»  
Здешние, мол, ребята не по мне.

— Как ей не стыдно. Уездная барышня. Так ей и скажи. А ты тоже хороша... Потакаешь ей во всем... до пошлости.

— Саша, Сашенька... Ну разве можно так грубо со мной!?

Решение дочери уехать огорчило Александра Петровича. Вот и опять они с женой останутся одни...

У жены был испуганно-печальный голос; Александр Петрович слушал внимательно, ему было жаль ее, и он не хотел, чтобы в эту минуту кто-нибудь вошел в кабинет.

Но на пороге появился Иванчикин — высокий тридцатилетний мужчина с большой круглой головой на длинной шее. Он вошел без стука, остановился как вкопанный, одернул белый полотняный китель с железными пуговицами и опустил руки до колен, чуть сгорбясь, будто кланяясь, разглядывая носки поношенных кирзовыkh сапог.

Глядя в серые немигающие глаза Иванчихина, на его пухлые бритые щеки и редкие усы под большим белым носом, Александр Петрович отнял трубку от уха и резко спросил:

— Спешно?

Иванчикин широко улыбнулся толстыми губами, пожал плечами и неопределенно покачал головой:

— Да... не очень, чтоб уж очень.

— Покури пока!

Александр Петрович снова заговорил в трубку, называя жену по имени и отчеству:

— Зинаида Тимофеевна, может, она больна?

— Да нет.

— Ну, пусть займется чем-нибудь полезным.

— Нет, нет, что ты, Саша, пускай отдыхает, как ей нравится. Шутка ли — такие экзамены с плеч свалить!

Александра Петровича рассмешил испуганный голос жены, и на ее вопрос, скоро ли ждать его к обеду, он досадливо ответил:

— Некогда, скоро... — и повесил трубку, а сам подумал: «Проссору забыла... Ну и характер у моей жены — незлобивый, тихий. Ах, Зина-Зина, заботливая ты моя». Затем закрыл глаза, откинувшись в кресле...

Был молодым, двадцатичетырехлетним, вернулся с гражданской войны на село, агитировал за Советскую власть. С парнями бродил по деревне, пел революционные песни, частушки. Однажды за селом подкрались сзади кулаки, ударили чем-то тупым, железным по голове. Запомнился глухой, ехидно-радостный голос: «Вот тебе и совецкая власть, Александр Пятрович!» Бросили в придорожную канаву.

Очнулся ночью же. Увидел над собой живые черные девичьи глаза и почувствовал мягкую ласковую руку на щеке. Рядом скулила собака, бегая вокруг телеги. Фыркала в темноте лошадь. Девушка платком перевязала голову, повезла куда-то. На вопрос: «Как звать-то?» — вздрогнув, громко ответила: «Зина, Зина я! Лежи знай...»

Зина, Зина!

Был молодым, дышал ночами полной грудью, бродил вместе с Зиной в сосняке, курил дешевые папиросы, надушенные одеколоном, — хотел понравиться. Приходил к ней из своего села. Она склоняла на плечо голову с косами. Дрожал, боялся частого стука сердца, берег ее. А потом, позже, целовались у ее дома до утра, а она плакала от счастья, молодая, горячая.

Такой она и запомнилась... С такой вот и жил всю жизнь... «Вздорим сейчас из-за пустяков, видно, стареем оба».

Иванчикин курил, отвернувшись к окну. Александр Петрович любил этого веселого, добродушного человека-

ка за простоту, за молодость, за то, что он хороший работник.

«Вот и сейчас Иванчихин сидит в стороне, не знает, что думаю о жене, не мешает... Это от того, что человек он хороший, свой, и я его люблю».

— Садись, Иванчихин, поближе.

Завгоркомхоза сделал строгое лицо — привычка перед деловой беседой, — подсел к телефону, положил руки на стол, в одной руке химический отточенный карандаш, в другой — зажатая, согнутая пополам ученическая тетрадь.

«Белый китель, а пуговицы не почищены. Стирал, наверно, поржавели чуть-чуть от воды. Эх ты, холостяк! О книжном магазине пока умолчу».

— Ну, что там у тебя, горкомхоз — исполнительный орган? Давай.

Иванчихин поглаживал ладонью круглый белый лоб и произносил слова скороговоркой, будто заранее выучив их:

— Значит, во-первых, думал я насчет книжного магазина. Знаете... решил освободить дом рядом, в котором винный склад. А? Помещение сухое, светлое, окна в сад, двери на улицу. Я даже сам обрадовался, что так быстро нашел. А под вино книжный подвал в самый раз. А?

— Ну вот и решили. А то тебе все бы строить и строить да обещать... Книжки небось читаешь? Ну вот. Ближе к делу. Слушаю.

— Значит, очистили Старицу на поселке бывших приисков... Значит, результат — там купаются теперь дети... А также очистили колодцы. Теперь есть на них крышки, привешены бадьи: санинспекции нечего делать. Комар носа не подточит. Вот. А?

Александр Петрович кивал головой и про себя отмечал: «Дальше, это я уже знаю. Говори, что тебя тревожит?»

И, как бы угадывая его мысли, Иванчихин, выдохнув, наклонив свою большую голову набок, начал рассказывать о строительстве моста через реку Пузыриху, о том, что рабочим теперь не придется делать большой крюк — обход, о том, что ему, Иванчихину, хочется с мостом закончить быстрей, да вот материала явно не хватает.

«Всегда так: начнет с мелочей, а подведет разговоры к главному. Молодец парень».

— Предъяви требование горпромкомбинату: обеспечить строителей лесоматериалом, штакетником, горбылями, кирпичом, известью и... Что там еще?

Иванчикин раздвинул широкой улыбкой свои толстые губы, засмеялся радостно и откровенно.

— Правильно, Александр Петрович, я уже об этом думал. Вот заявка, — и положил на стол лист бумаги.

— Давай подпишу. Да! Сегодня сплав. Строительство моста приостанови пока, сними с моста бригаду — пошлешь к Григорьеву. Всех рабочих на сплав. И сам туда же — понаблюдай...

Иванчикин нахмурился, думая, и недовольно замахал руками:

— Сплав, сплав... Это дело второе. Проплынут бревна — и все тут. А мост... мост-то стоять будет!

— Подождешь денечек. Чудак ты... Все равно сплав работать не даст. Глазеть будут работнички. Да и осторожность нужна. Пороги на Пузырихе... Затор мост покалечить может. А вот заявку с удовольствием подпишу. И нам с тобой ведь лес нужен. Обещал тут мне один человек... твердо.

Александр Петрович, читая заявку, слушал Иванчика, который между делом говорил о решении горисполкома открыть согласно наказу избирателей сберкассу на Северном руднике, и отвечал, подписывая заявку:

— Подождут. Деньги некуда девать? Пусть дома полежат... Вот с мостами закончим, займемся кассой.

Иванчикин удивленно вскинул глаза, произнес «м-м», подумал о чем-то, погладил лоб.

— А ведь вы не правы, Александр Петрович!

— А?

— Как подождут? Как дома полежат?

— Что? Кто?

— Деньги-то! Они должны в кассе, в кассе у государства, как за пазухой, лежать! Так сказать, значит... с большой пользой, в движении.

— Что?

— Деньги.

— В кассе?

— Да, да.

— Знаю, знаю. Ишь вскипятился, страж закона.

Мост, рабочие — главное сейчас. Что, бросим все это и зайдемся кассой?!

— Да нет... Если параллельно, так сказать... одновременно.

— Ух ты какой? Ну, а что ты предпримешь в таком случае?

— Подумаю, Александр Петрович!

— Что ж, подумай.

— И вот что еще... — продолжал в такт председателю горисполкома Иванчихин, стараясь заполнить каждую паузу в разговоре. — А что, если все ларьки и киоски с берега перенести на базарную площадь?.. А то уж очень их много — целая улица...

— Давай, договорились, не возражаю. Давно пора, это ты правильно подметил.

Александр Петрович повеселел, встал, заходил по кабинету.

А Иванчихин уже что-то торопливо записывал в свою сложенную школьную тетрадку. Он писал, не поднимая головы, будто оцепенев или уснув, и только рука его с химическим карандашом бегала по бумаге.

Александру Петровичу было приятно смотреть на его согнутую широкую спину, приятно сознавать, что горкомхоз Иванчихин — честный человек и хороший работник.

«Вот начнем скоро строить помаленьку новый город, крепкий, белокаменный. Сможем ли? По плечу ли будет это дело Иванчихину и мне?»

Иванчихин обернулся, заторопился, намереваясь что-то сказать.

Александр Петрович сам себе ответил: «По плечу». Подошел к нему близко.

— Слушай, когда ты женишься?!

— Я? Я женюсь... — Иванчихин рассмеялся. — Я, Александр Петрович, сватаю деваху в одной кержацкой семье, сватаю по их обычаям... Крепкий и хитрый народ, кержаки эти, старообрядцы... Прицениваются, выжидают.

— Ну, а дочь, сама-то что?

— Да-а... Она, знаете, тоже... Неопределенный народ. И хочется, и колется.

— Как же будешь жить с ней?

— Жить просто будем — работать.

В кабинет вошел новый человек. По тому, как он, вздохнув, остановился на пороге, посмотрел по сторонам и не спеша прикрыл двери, было видно, что он очень устал. Невысокий, щуплый, почти совсем еще юноша, он как-то растерянно улыбнулся, подходя к столу; спина синего плаща в репейнике, пыльные полы, на одном плече соломинки — видно, долго ехал на грузовой машине.

— Я из Москвы, — просто сказал он.

Александр Петрович прищурился, разглядывая москвича, пытаясь угадать его профессию по недорогой одежде, по красивому бледному лицу. Вытянутой рукой он указал на кожаное кресло:

— Садитесь, будем знакомы.

Юноша знакомился, крепко сжимая ладони Иванчихину и Александру Петровичу, кивая в ответ на произносимые фамилии и должности, говорил оживленно:

— Был только что у заведующего отделом здравоохранения. Я детский врач, педиатр. Окончил Московский медицинский институт. Как молодой специалист направлен к вам в районный город, в ваше распоряжение.

— Так, так. Очень хорошо!

Александр Петрович придинул коробку с табаком, папиросы.

— Курите. — И, услышав «сейчас не хочется», почувствовал к детскому врачу невольное расположение. «Новый человек. Врач. Приехал к нам, на Север. Та-ак! Молодчина парнишка». Он хотел спросить: «Комсомолец?» — но раздумал.

Иванчихин осведомился:

— Ну, как Москва там?

— А что Москва? Очень большой и красивый город. Жителей много. Вот только и разница. А люди ведь во всех городах одинаковые. Все мы одни жители... вся страна.

«Здорово он насчет людей, — подумал Александр Петрович. — Если беспартийный, поработает — станет партийным».

— Врач. Детский врач. Детей, значит, будете лечить... Хорошо, хорошо, — проговорил Александр Петрович, раздумывая, куда направить молодого специалиста. Конечно, туда, где больше детей. Детей везде мно-

го. Например, на рабочем поселке рудника. Но там есть специалист по детским болезням. Или оставить здесь, в городе?.. Человек он молодой. В городской больнице крепкий коллектив... Да. Раз уж он не побоялся приехать сюда, на Север, пошлем его в район.

— Вы хотите в городе остаться или куда-нибудь в район пожелаете?

Молодой врач сказал Иванчихину, с которым разговаривал, «извините» и повернулся к Александру Петровичу.

— В район? Вы знаете округу и знаете, наверно, где всего больше заболевают дети... Нет, простите, я не так выразился, где... больше детей. Так вот, лучше бы туда.

Александр Петрович с удовольствием отметил, что приезжий начинает ему все больше и больше нравиться. «Открытая душа, чистая... Молодость. Хорошие ребята пошли. Спервоначалу-то хорош, посмотрим, каков будешь на работе».

— Есть у нас такое село Буртаново. Это, знаете, за девяносто два километра отсюда. Там живут манси. Хороший народ, древний, гостеприимный. Охотники, оленеводы, рыбаки. Не ошибусь, если скажу, что дети в их жизни — самое главное. Вот я бы посоветовал вам съездить в это таежное мансиjsкое село, посмотреть, как и что...

Молодой врач слушал председателя горисполкома с интересом, лицо его раскрылось в улыбке, он оживился, когда Александр Петрович сказал, что в Буртанове имеется большая школа-интернат, одна из шестнадцати школ типа интернатов, открытых для детей народов Севера, учиться в которую приезжают дети манси со всей округи.

— Обязательно должен поехать туда, посмотреть, — произнес врач громко и радостно, как мальчик, и даже привстал немного.

— Вы один или... — Александр Петрович хотел спросить прямо: «Женаты?» — но счел это неуместным и про себя подумал, что молодой врач, может быть, и есть тот «жених», о котором мечтает Лина, и что парень он, видать, неплохой... и даже родня по профессии... Наивно, а между тем все может быть.

Врач понял вопрос, смущаясь и промолчал.

Иванчихин собрался уходить. Александр Петрович

остановил его жестом и, обращаясь к приезжему, проговорил:

— Туда ежедневно курсирует машина. Свой «пикап» я вам не могу предложить — занят. Поезжайте на грузовичке, с народом, так сказать, округу посмотрите, пейзажи. Понравится Буртаново — оформим, и будете работать. — И как бы между прочим, поправляя ремень и одергивая гимнастерку, он добавил: — А знаете... у меня моя дочь Лина в этом году тоже кончает медицинский институт.

Иванчихин и врач рассмеялись, потому что получилось это искренне и по-детски, потому что была очень понятна наивная гордость, с которой была произнесена эта фраза.

Александр Петрович, недоумевая, заморгал, припомнил сочетание слов из фразы «у меня моя...» и тоже рассмеялся, довольный тем, что ему нисколько не стыдно и он совсем не чувствует неловкости в обществе этих двух молодых, приятных ему людей.

За стеной, в приемной, послышался звонкий кудахтающий бабий выкрик. Александр Петрович узнал голос известной в городе заведующей детсадом, шутливо прозванной «теткой Гарпиной с Украины». Ее образцовые огороды приходили смотреть жители всего города.

Гарпина, наверно, явилась с одной из своих бесконечных огородных жалоб.

Все трое прислушались к шуму за стеной.

— Ты что же это, а? Милая, а? Мой Гринько наилучший стахановец, на сплаве лес гонить... А ты мне — иди домой! Домой я всегда успею. Ты мне соседку, соседку мою успокой. Вона меня на усю вулицю крыцикуется!

После паузы послышался вежливый, виноватый от растерянности голос секретарши, смущенной неожиданным приходом и формой обращения Гарпины.

— Зачем беспокоить Александра Петровича, отнимать время. По этому вопросу, тетя Гарпина, вам нужно обратиться в уличный комитет.

— Комитет! Комите-ет! Вон на покосе весь... Воны не помогут... Я их разозлила, комитетчиков твоих... трошки ракрыциковала.

Александр Петрович ждал, что вот она войдет сейчас в кабинет, громко постучав, тихо откроет дверь,

протиснется боком, встанет на пороге, готовая начать шумную атаку.

Но дверь не открылась, а за стеной после паузы повеселевшая отчего-то Гарпина примирительно и значительно произнесла:

— Ну, я ж завтра приду. К самому ему. Ось тогда и поговорим!

Иванчикин хохотал, прикрывая рот ладонью. Врач слушал голоса за стеной с серьезным выражением лица. Александр Петрович чувствовал себя неловко, будто в чем-то провинился. Поднялся и вышел за дверь, оставив в кабинете Иванчихина и врача. В приемной никого не было, кроме секретарши, сидевшей за машинкой. Поправляя рыжие завитки волос, спадавшие на лоб, секретарша пудрилась перед зеркальцем.

— Что, никого больше нет на прием?

Секретарша почему-то покраснела, спрятала пудренницу, развела руками:

— Никого. Последняя ушла... тетя Гарпина.

— Что же не пустили ко мне?

— Да ведь вам обедать пора.

Александр Петрович посмотрел на часы. «Четыре. Обедать пора. Гарпину не вернуть — ушла. Ну да грозилась завтра прийти. Придет».

Он вернулся в кабинет.

Иванчикин и молодой врач попрощались и вышли, оживленно разговаривая о районе, плотно закрыв за собой дверь.

Александр Петрович долго смотрел на телефонную трубку, потом осторожно снял ее, приложил к уху и, позвонив домой, услышал отдаленный треск, длинные звонкие позывные. Кто-то снял трубку. Послышался смех Лины, потом жена подошла к телефону, выдохнула тяжело, и это дыхание, так хорошо ему знакомое, кольнуло, как показалось, в самое сердце. Александр Петрович мягко спросил:

— Зина?

Услышав обиженный голос жены, он разозлился, хотел крикнуть в телефон: «Вот что, Зина. Хватит обеды варить! Не на кухарке женился! Возвращайся-ка на работу!» — но решил, что об этом лучше сказать ей дома, откинулся в кресло и почувствовал, что устал. «Четыре часа. Ушло время. Ушли люди. После обеда собрание

избирателей, потом на рудник — жалобу рабочих разбирать, проверить распределение квартир. На конференцию животноводов завернуть — что там? А главное — сплав». Он вспомнил слова Протанова: «Подыщи знающего человека». «Сам поеду!» — нажал кнопку. Вошла секретарша, остановилась на пороге.

— Шофера ко мне. Списки работников... кто где. Разнарядку, в общем.

Собрав бумаги со стола, он положил их в стол, высыпал окурки из пепельницы в корзину, встал, выпрямил плечи.

— Еду на Кименку, на перевалочный пункт. Оттуда на Пузыриху — запруду ставить. Кто будет спрашивать — я на сплаве. Да... позвоните от моего имени начальнику милиции, пусть вышлет отряд на берег. Сегодня сплав.

### 3

На улицы города опустились северные сумерки. От земли веяло прохладой, и только камни, нагретые солнцем за день, были горячи.

По берегам и над рекой плыл теплый редкий туман, над тайгой колыхалось марево — как бы струились в небе пышные верхушки деревьев.

Избы, мосты, лежневые дороги, река, берег будто погружались в синий воздух, отчего кедры, сосны, черемуха казались светлыми и легкими.

На берегу уже не было полдневной жары, тишины и дремы, а пыльные желтые заборы и стекла окон, освещенные солнцем, не кололи глаза. Не пылили машины. За день пыль осела, рассеялась по щелям, и теперь земля была чистой и прохладной, как после дождя.

Можно стоять на берегу, ходить по дощатым тротуарам, смотреть на реку, мост, на людей в праздничных одеждах, слушать их голоса, пение, музыку, радио, доносящиеся из открытых окон домов, и предаваться тихому вечернему настроению.

Сегодня мимо города по реке должен пройти сплав леса. Значит, откроют плотину, поднимут воду.

Как по уговору, жители города сошлись на берегах, на мосту — посмотреть, как прибывает вода, как плывут бревна и плоты, направляемые сплавщиками, и как

теряются за последними избами, где виднеются лесозавод, склады, железнодорожная станция.

В городе музыка, пение, шум, суета. По тротуарам прохаживаются парни и девушки. На площади — открытой поляне — под кедрами играет военный духовой оркестр.

К Дому приезжих, к стоянке машин подкатывают по лежневке грузовики. Из кузова спрыгивают на землю пассажиры — лесорубы-сезонники, геологи, мотористы, сплавщики — и разбредаются по городу.

У старого деревянного здания с колоннами — городской гостиницы — глухо рокотал мотор грузовика с высокими бортами. Машина вздрогивала, и, казалось, вот-вот подпрыгнет и покатит. Возле нее сутились пассажиры, уезжающие в район. Шофер, облокотившись на радиатор и покуривая, наблюдал за молодым парнем в щеголеватом плаще и шляпе, который неумело подсаживал в кузов миловидную девушку в пестром пальто.

Александр Петрович узнал молодого врача и улыбнулся. Девушка взвизгивала и боялась засунуть ногу за борт, юбка задралась: врач стыдливо отвернулся, встретился взглядом с Александром Петровичем и быстро направился к нему.

Александр Петрович стоял поодаль от моста, молчал, посматривал вокруг, слушал музыку. Рядом с ним — жена и дочь, взявшись под руки, как подруги.

Утреннее раздражение на жену и дочь давно улеглось. Он вернулся с запруды запыленный, в промокших сапогах, от усталости выпил водки, плотно пожинал, повеселел, раскраснелся. «Ты помолодел у меня, Саша!» — похвалила жена. «Идемте смотреть на сплав. На берег», — позвал Александр Петрович. Жена сказала: «Ты гимнастерку-то сними — жарко, да и живот сильно виден».

Александр Петрович надел просторную белую рубаху с открытым воротником и черные брюки. И вот стоит сейчас на берегу рядом с женой и дочерью, смотрит на людей, кивает знакомым, курит трубку — и снова чувствует себя молодым и здоровым.

Подошел врач, держа в руках шляпу, и, поклонившись всем, скромно встал в стороне. Александр Петрович взял его за руку.

— Зинаида Тимофеевна, Лина, знакомьтесь. Товарищ приехал к нам работать. Врач, из Москвы.

Лина вскинула голову, подняла брови, картино прищурилась, как будто оглядывая молодого человека сверху вниз: ничего похожего на врача в нем нет.

— Правда? Ой, не подумала бы. Такой молодой и уже окончил институт, и уже приехал сюда прямо из Москвы. Как это вы решились?

Врач смущенно улыбнулся:

— Что же тут такого. Все очень просто. Направили сюда, да и, признаться, сам того желал...

Похвалив город, тайгу, здешних людей, он неожиданно добавил:

— Александр Петрович говорил, что вы в этом году тоже кончаете институт.

— Да.

Александр Петрович сделал вид, что ищет трубку, и отошел с женой в сторону.

До них долетели отрывки разговора о городе, тайге, сплаве, о Москве и диссертации, над которой врач будет работать. А когда разговор перешел на медицину, и послышались непонятные латинские названия, и Лина вскрикнула радостно-громко, убежденная в своей правоте: «Да нет же, уверяю вас...» — Александр Петрович про себя усмехнулся. Он был доволен, что молодые люди так быстро нашли общий язык.

Послышался протяжный гудок машины. Он относился к врачу, забывшему о том, что пора ехать, что пассажиры ждут только его.

Свесившись с борта и махая белым платком, громко, срывааясь на фальцет, тучный, краснощекий мужчина с планшетом через плечо кричал:

— Молодой человек! Молодой человек!

Шофер сидел в кабине и равнодушно смотрел поверх руля: «Ничего, подождем».

Врач заторопился и, пожимая руки, внимательно заглядывал каждому в глаза.

— Ну, до свиданья.

Лина кивнула головой, прошептала беззвучно:

— Счастливого пути. — И когда врач побежал, произнесла громко, с обидой, обращаясь к отцу. — Наверно, он хороший человек. — И в ее близоруких глазах вспыхнул какой-то веселый, злой огонек.

— Здешние парни не по тебе, — стараясь быть спокойным, произнес Александр Петрович.

Дочь поняла насмешку и покраснела.

Зинаида Тимофеевна что-то говорила Лине, прильнув к ее плечу, и Александру Петровичу было печально смотреть на седые волосы жены, на ее грустные молодые глаза, на дочь, красивую, гордую, которая стояла выпрямившись, откинув голову, и, слушая мать, кивала ей.

Александр Петрович старался не прислушиваться к их разговору, но как-то получилось, что он слышал все, о чем они говорили.

— Замуж не спеши, Линочка. Кончай институт сначала, а с дипломом-то и дорога прямей...

Дочери, наверно, приятно было слушать мать, она чуть заметно улыбалась, думая о чем-то своем, известном только ей одной.

— Мама, не надо так громко, папа услышит.

— Смотри, Лина. Молодой человек на тебя внимание обратил. Видишь?

Дочь покраснела и расправила воротничок платья.

— Ну и что же, мама...

Александр Петрович взглянул в ту сторону, куда кивнула жена.

Позади группы людей стоял веснушчатый высокий парень в коротком пиджаке, заложив за спину руки с книгой, и смотрел куда-то поверх голов, на небо. Александр Петрович узнал местного поэта Василия Макеева и повторил про себя: «Кавалеры, кавалеры...»

По тротуару прибрежной улицы двигалась подвыпившая компания. Женщины вели под руки молчаливых, спотыкающихся мужчин и пели песни на высоких нотах, стараясь кричать во всю мочь, чтобы было громче и, очевидно, красивей.

От гостиницы тихо отъехал пассажирский грузовик. Александр Петрович встретился взглядом с врачом, тот сидел рядом с девушкой, которой помогал сесть в кузов. Прощаясь взглядом, врач кивнул головой: «Все в порядке. Уезжаю».

Александр Петрович помахал ему рукой: «Счастливого пути!» — и заметил легкую грусть в глазах дочери. Лина провожала взглядом грузовик, не поворачивая головы, задумавшись о чем-то, и, когда машина выехала

на мост и подпрыгнула на загремевших бревнах настила, вздрогнула и неестественно улыбнулась.

— Папа! А он... вернется?

— Да. Мы должны решить вопрос о работе.

Александр Петрович обнял дочь и словно между прочим спросил:

— Ну, а ты, Лина, решила свои вопросы?

— Какие?

Александр Петрович добродушно засмеялся.

— О женихе, о работе в нашем городе.

— Ну, папа. Какой ты... Вот мама сказала: сначала нужно кончить институт...

— Мама, мама. Все за юбку держишься. Ну, а ты... сама. Несерьезная ты... легкодумная какая-то...

Лина нахмурилась и промолчала.

И по тому, как Лина нахмурилась и не ответила на его вопрос, Александр Петрович почувствовал уверенность: со временем Лина станет проще, естественней, ясней и сама определит свою судьбу просто и честно. У нее еще все впереди.

— Ну, ладно, Линок, не серчай, — Александру Петровичу показалось, что Лина обиделась на него, и, чтобы скрыть неловкость, он начал говорить мягче и задушевней: — Жизнь одна, и, разумеется, хочется ее получше прожить. Хочется сделать много и везде побывать, хочется, чтоб все о тебе знали. И нам кажется, что большая интересная жизнь проходит где-то в больших, многолюдных городах, рядом со знаменитыми людьми. — Александр Петрович не спеша снял ниточку с плеча дочери. Лицо его посуворело. — А ведь это... смешно! Ведь всюду жизнь, всюду труд и люди рядом с пами.

— Понимаю, — сказала Лина.

— Нужно только много думать о них и меньше любить самого себя.

Александр Петрович боялся, как бы все, что он говорил, не показалось Лине скучным и наивным. Помедлив немного, он заключил:

— Линок, я бы смог эти золотые последние годы прожить в столице, к тому же легко, на покое... Но мне было бы трудно сознавать, что большая, могучая, настоящая жизнь проходит мимо меня...

Машина проехала мост, свернула за угол книжного

магазина и скрылась меж изб, где дорога, опоясывая гору, поднималась вверх, к небу.

Счастливого пути. Уходят дороги на рудник, на Кименку, в леспромхоз, на Буртаново. Там кончается лежневка, а дальше — таежные мансиjsкие поселки, до которых нужно добираться по реке, тайгой, тропинкой в горах.

Там горные увалы и таежные болота, там живут манси — охотники и оленеводы. К ним и поехал молодой врач-москвич.

Это где-то там, далеко, в тайге.

А здесь, в городе, стоял народ, шумел, ходил, переговаривался, пел...

За городом, где над избами поднимались таежные горы, образуя у реки синюю щель с отлогими скалами, раздался выстрел. В небе гулко отозвалось эхо. Казалось, сдвинулись и осели горы и выпрямились избы города.

Все на берегу вздрогнули.

Александр Петрович произнес: «Так», — и достал трубку.

Выстрел обозначал, что открыли плотину, пустили воду и сейчас начнется сплав леса.

Река, как и прежде, равнодушно плыла меж берегов, отражая в себе серые избы. У самой кромки воды попарно стояли милиционеры в белых перчатках.

Жители сгрудились у берегов, группами бродили по улице, стояли на мосту и у домов, разглядывали безмятежный простор темной речной поймы — ждали сплава, наблюдая за прибывающей водой.

Босоногие мальчишки бежали по камням, боясь отстать от широкой волны, которая катилась от берега до берега, неся с собой пену, щепки, ветки сосны и березы.

Начался сплав.

Александр Петрович подошел ближе к берегу. Рядом с ним встала незнакомая женщина в белом платье, держа за руку белобрысого малыша, который тянул ее за собой и рвался к воде, где стояли милиционеры.

Александру Петровичу отчего-то захотелось заглянуть женщине в глаза. Он шагнул вперед, взглянул на нее и узнал приезжую.

«Кавказское лицо с круглым подбородком и грустные черные глаза. Маро Азарян», — вспомнил Алекс

сандр Петрович, обрадовавшись встрече. Правда, теперь глаза у нее веселые, и вся она радостная, светлая, красивая в этом белом платье.

Мальчик тянул ее за руку.

— Коля, стой спокойно, — проговорила она певучим, приятным грудным голосом.

— Мам, мам! Река-то... А что сейчас будет?

Александр Петрович погладил малыша по голове и ответил за мать:

— Сейчас лес пойдет... Бревна будут плыть.

— Какие бревна? Вот такие, как столбы, да?

Женщина и Александр Петрович рассмеялись.

— Коле все здесь так интересно.

Александру Петровичу было приятно стоять рядом с Маро, молодой, красивой, радостной.

— Ну как, устроились с жильем?

— Да. Спасибо. Комнатка в гостинице уютная. И недорого.

— Ну, а мужа нашли?.. Встретились?

— Нет пока... То есть... ему сообщили о моем приезде. Завтра жду.

Они помолчали.

Александр Петрович спросил:

— Ну, как вам... наш город?

Женщина продолжала все тем же певучим, приятным голосом:

— Ничего городок. Грязный только. Несуразный какой-то. Жара, некрасивые улицы, пыль... Пора строить хорошие многоэтажные дома, как в других городах, знаете. У вас деревянная архитектура прошлого века — изба, забор, огород... Чего хорошего? Вот будем ставить металлургический завод-комбинат — новый город строить будем!

Александр Петрович кивал, слушал, удивляясь, что приезжая говорит то самое, о чем он думает каждый день.

Вынырнули первые бревна. Они плыли, переворачиваясь с боку на бок, приставали к берегу, а на быстрине, где бурлила вода, неслись во весь опор, раздвигая воду тупыми концами.

Женщина и малыш отошли в сторону.

Александр Петрович задумался о разговоре с Маро. «Ничего. Скоро и бревна поплынут, а по дорогам и

стальным путем понесутся машины с цементом и железом, платформы с бетоном и шлакоблоками».

На миг он представил себе новый город, высокие каменные дома, прямые улицы, фонтаны, площади — и на душе у него стало радостно и легко. «Дожить бы!»

На минуту смолкли голоса на берегу. По тротуару степенно двигался детский сад — группа малышей. Держа друг друга за руки, они разноголосно пели песню, несли красные флаги, спешая за теткой Гарпиной.

Александр Петрович невольно улыбнулся:

— Ишь потопали, граждане, — и посмотрел на реку.

За первыми бревнами появились плоты; тяжелые, скрученные, они, покачиваясь, бороздили воду, и вся река заполнилась лесом, будто широкая, мощенная бревнами улица двигалась по воде вперед, вдаль.

Плотовщики с баграми направляли лес, плоты, уверенно ходили по бревнам.

Одетая в новое платье Гарпина махала большим платком и кричала первому плотогону:

— Грицько! Грицько! Коханый мой...

Дети недоуменно остановились и замахали флагками...

Александр Петрович дышал полной грудью, хмурил, улыбаясь, брови, весь подавшись вперед — туда, к плотогонам, к лесу, к реке, чувствовал, как сильно бьется сердце при мысли о новом городе.

«Да, так и жизнь — как сплав. На пороги запруды ставят, воду поднимают, а мачтовый лес идет вперед, без удержу рвется вперед, вдаль. Бревна ударяются о берег, роют землю, бьют комлями о камни, грохочут... Без плотогонов, без широкого пути — затор, беда».

В воздухе стало свежо от прибывшей воды, от разлившейся, разбухшей по краям реки, от леса, от того, что за горы колесом закатилось огромное тускло-желтое солнце и над синей тайгой, как зарево лесного пожара, охватила полнеба вечерняя холодная заря.

Слышались надсадные мужские и звонко-радостные мальчишеские крики:

— Лес идет! Спла-ав! Берегись! Ура!

Шум, пение, беготня, голоса людей, треск, удары бревен друг о друга, всплески воды слились воедино. И Александру Петровичу казалось, что сердце его стучит в такт этой могучей музыке жизни.

Подошли жена и дочь. Со словами: «А мы тебя потеряли», — встали по бокам, взяv его под руки.

Бревна на перекатах бились о камни, ворочали их. Сдиралась кора, летели щепы.

Ты плыви, капитан!  
Ты люби, капитан!..

Дочь повернулась, недоумевая, удивляясь громкому шепоту отца, спросила:

— Это откуда, папа?

Александр Петрович обнял ее, рассмеялся.

— Это, Лина, Василий Макеев!

Он посмотрел по сторонам — на людей, с которыми жил, на лес, который плывет и плывет откуда-то с севера, где живут манси, куда уехал молодой врач-москвич, — и вдруг увидел Мышкиных. Они стояли в стороне, вздрагивая от гулких ударов бревен, глазея на народ, на сплав, на реку, на берег, и молчали, крестясь на старый северный город.

Александр Петрович с радостью подумал, что в его городе много и хороших людей, что они сейчас рядом с ним здесь, на берегу. И город этот — свой, любимый, родной город, потому что в нем живут эти люди, которых он любит и которые, пока он живет и работает, будут нести ему свои мысли, тревоги и радости.

## Лебеди таежные

Над тайгой, истомленной от поздней жары, по звонкому высокому небу отплывала лебединая стая на юг, унося с собой на ослепительно белых крыльях солнечный свет, наверное, впрок: при любой непогоде — согреться.

Внизу, по большой зеленой земле за ними вдогонку неотступно скакали темными пятнами их легкие тени и не могли догнать.

Не клином, как журавли, а цепочкой за вожаком, облачко за облачком, печально озираясь вокруг, они во всю раскрывались на вольных прохладных ветрах, и только железный рев встречного реактивного самолета прижимал их к земле да пронизывающий молниями громовую ночь свистящий ливень загонял их в надежные камыши.

Проводником в пути служило им солнце.

Крыльями отсчитывая дни, пролетали окраинно над поселками и деревнями, далеко обходя шумные дымные города; еще издали почуяв и узрев заводские трубы, коптящие в небеса.

Ночью, тревожно глуша щелканье крыл, они своим древним чутьем выискивали холодные водоемы, почти падали вниз, устало обнимали землю крылами и отдыхали. Спали-отдыхали до тех пор, пока не заливало про-другшим рассветом горизонт, пока солнце не вставало из-под земли и не дарило каждому из них по лучу.

Проверив клювами крылья и ликующе протрубив что-то друг другу, лебеди грузно, с размахом, взлетывали один за другим, переводили хлопки крыл в шелест и неслышно всплывали по голубому воздуху к зениту.

И снова в путь по небесной бесконечной дороге.

Лебеди с печальными глазами...

Да и то верно, тяжело менять, хоть и временно, милью родину на райскую чужбину.

...Пролетели они и над Шубниковым — лесничим дальнего Карагайского участка.

Но он их проспал — тоже, видать, умаялся от жары, как и тайга.

1

Спал он под старой сосной в траве около воды лицом вниз на скрещенных руках, укрывшись с головой от комарья и мошкены брезентовым плащом.

Расседланная лошадь обходила его и, поодаль обнюхивая храпом корни трав, зарывалась мордой в подсохшие заросли, находила зелень — молодую травку. Тогда слышались ее фырканье и короткое веселое ржанье.

Проснулся Шубников испуганно и неожиданно, словно кто его толкнул: приснился ему лесной пожар.

Вот что он увидел во сне.

Глаза застилало оранжевое воющее пламя, в ушах слышались выстрелы: это трещали стволы сосен, разламываясь напополам, они неуклюже падали, обнимая ветками огонь. Небо, красное и торжественно-тревожное, гудело и ослепляюще взрывалось. Это горел воздух, и в его сажевой гари скакало желтым мячом дымное солнце.

Шубников же метался по тайге и орал на всю окружу истощным голосом: «На помощь!» — искал спасения.

Верный конь все-таки вывел его к реке, они вошли в воду по грудь и стали ждать чуда какого.

И тогда раскололось небо, раздвинулось, и ухнули оттуда, из черных космических глубин, белые льдины прямо в пламя, и стали хлестать из них вода. Наверху кружили какие-то громадные стрекозы. Он догадался, что это вертолеты, а вел их точным курсом к нему самолетик лесничества. Летчик, перевесившись через кабину, искал биноклем кого-то.

Тогда Шубников закричал: «Я здесь! Леса спасайте!» — и проснулся.

В голове гудели колокола.

Первое, что ему пришло в голову, когда он проснулся, было: где он, кто он такой и как ему поступать?!

Сказывалась старая армейская привычка. Он осмотрелся, вздохнул и успокоился. В таежной тишине — ни пожара, ни выстрела, ни катастрофы. Все на месте: земля и небо и он при своем деле!

В августовский знойный полдень, отяжелевшая от густой пахучей зелени, тайга будто шагнула к водопою и сгрудилась маршевой ротой у реки на песчано-глиняном обрыве.

Корневища громадных сосен, пробив толщу берега, зарывались в мокрый песок. Их толстые кренделя и длинные щупальца, отполированные ветром и солнцем, поблескивали и позванивали, как железные, — добирались до влаги.

Полосы солнечного света, прорвавшись сквозь ветки, накрыли речной разбег и плыли с ним вместе, куда река, — вдаль, по тайге...

Горячие желтые лучи буйного солнца, клубясь, приследывались и к высушенному ворсу глины, и к шершавым стволам сосен: сосны истомленно вздыхали и гнали с вершин до комля крупные капли жирной янтарной смолы.

Шубников радовался всему этому.

В такой древней планетной тишине жила еще холодная река. Она трудно двигала свои глубинные зеленые воды, обходя берега, заросшие тальником и черемушником над заводями, в которых сонно грелись темноспинные рыбы, слышались кашель курящего махру человека да отчаянные колотушки белобрюхих рыб в большом оцинкованном тазу. В травах, ростом до седла, фыркал огненно-рыжий, лоснящийся конь лесничего.

Речная прохлада. Все на месте. Все давно знакомо и любимо. Проспал два часа, должно быть...

Ну и славно!

Шубников вспомнил о жене — Катюше, но успокоился: до встречи еще далеко. Только к самому-самому вечеру он должен заехать за нею на станцию к бойкому торговому ларьку.

А сейчас он встал, потянулся глыбистой покатой спиной, сбросил одежду, пошевелил мускулистыми надплечьями, взъерошил кудрявую седину, хлопнул по бедру резинкой на трусах и пошел к берегу.

Хрустели под ногами сучья, стаптывалась трава.

Лошадь, которая всегда подгибала задние ноги, ко-

гда он подходил и брался за седло, тревожно глядела вслед хозяину.

Хозяин присмотрелся к воде и с хохотом ухнул свое обмякшее горячее тело в холод реки прямо на парадное скопище гревшихся глупых рыб.

Вдоволь поплавав и охладившись, он принял купать своего доброго друга — работающего коня, который следил за хозяином: ждал очереди. Шубников взял его за уздечку: сводил к пологой старице и, слыша за плечом довольное ржание, ввел в прохладу. Конь пил, моргал глазами и играл всеми жилками крупой. Вечером хозяйка угостит тебя сахаром! Она тебя любит! Лесничий каждый день заезжал за Катюшой, если не был по работе в дальних стоянках. Тогда он за нее был спокоен, до села добиралась сама: на попутных машинах, подводах, а то и с тестем пешим строем — старикшибко любил шагать, по привычке, потому что служил путевым обходчиком. Заезжать за нею, видеть ее счастливые от этого глаза считал своею святой обязанностью и ревновал к машинам, тестю, телегам и пешеходной физкультуре.

Сколько дорог и деревьев окружает их в этом краю, и каждый живой должен беречь их и помогать друг другу. Нехитрая вроде мысль, а уж правильная наверняка! Вспомнив свой тревожный сон, в котором он сам был растерянным и жалким при красной от огня разбушевавшейся стихии, Шубников заторопился.

Да и то, надо во все глаза смотреть за всеми этими просторами. Недобро всегда невидимо таится — сумей только разглядеть! Он торопко собрался, вздохнул и въехал в тайгу — скрылся в ней, как в родном доме, о котором дум и воспоминаний на все дороги хватит.

...Да, сложилась у Шубникова жизнь и складно, и нескладно.

Мать, учительница начальной школы, все время работала и все время болела... Замучили ее тетрадки учеников. Ночами не спала — исправляла всякие там орфографические ошибки и дважды два четыре. А потом — слегла.

В армию на службу сразу не взяли: единственный кормилец. Здорово было обидно!

Из школы ушел после восьмого класса. Работал там,

где можно было. Оберегал матушку: и она и он — единственные на свете!

Умирая, шептала в бреду: «Ваня, Ванечка!.. Тетрадки проверь еще раз за меня...»

В армии постепенно затихла боль по умершей матери, и душа и тело прошли испытания на мужество, преодоление трудностей и на выносливость. То тундра и Ледовитый океан — и нужно прыгать с парашютом на айсберг, то раскаленный песок на зубах — и нужно через пустыню доставить и вручить вовремя пакет в штаб. Ко всему привык, и все было интересно в этой новой настоящей мужской жизни.

Обидно стало, когда расставался со службой, с друзьями, с командирами. Думал, на «гражданке» все можно исполнить — работать, учиться дальше, мечтать, потому что молод, здоров, грамотен, а все-таки в армии было бы лучше...

А тут выпало быть одному, командиром себе. Подался в объездчики, в тайгу. Это ведь знаете как: играючи, сидишь на коняге какой и в своем дому наблюдаешь порядок. Нарушил — отвечай!

Нарушали — отвечали. Бывало, и на подстрел шли. Ну, да нам не такое привычно.

После объездчика гонял плоты по таежным рекам, охотничал, бродяжничал, в общем. Неожиданно вызвали в главный город — Ивдель и без всяких разговоров определили: быть ему лесничим заместо очень уж постаревшего. Тут нужно быть одному — солдатом и хозяином, хозяином тайги.

Перебрался в таежный одинокий дом. Просторен, добруто скроен: хоть четыре свадьбы играй! Началась опять новая жизнь. Как приказ, в котором один только смысл: исполни! Сорок верст отмахаешь верхом, а за ними еще восемьдесят — то на лошадине, а то пешком. Каждое дерево на учете, каждую гниль — на скот.

## 2

Он помнит, как год назад, через несколько дней своей новой службы, наведался переговорить по душам с путевым обходчиком, с которым он еще не встречался, но знал понаслышке, что все величают его уважительно — Анисим Федорович.

У добротного дома с застройками, на который ему указали, стоял, прислонившись к воротам, усатый дядька молодецкого вида, вылитый запорожец.

«Запорожец» лихо сдвинул на затылок форменный картуз железнодорожника и на вопрос: «Дома ли Аниксим Федорович?» — радостно крякнул:

— Он самый! — и, подав руку, осведомился: — По какому счету?

Шубников не понял вначале, а когда Аниксим Федорович уставился на его форму лесничего, разглядывая серебряные веточки, объяснил о цели своего прихода и услышал категорическое:

— По делу? В дом!

Шел хозяин неторопливо, кивая направо и налево, и после каждого кивка помыкивал: «М-да! М...» — и Шубникову подумалось: «Сразу видно — хозяин спранный».

Направо — рыбачьи сети. Налево — стеллажами поленья. Направо — сараи разных служб. Налево — чистые окна и открытая дверь в опрятный дом.

Когда Шубников отряхал сапоги от пыли, то краем уха услышал женский шепот: «Кто это? Твое начальство?» — и знакомое громкое кряканье:

— Гость. Соседняя служба! Накрывай по-царски!

Пока хозяйка накрывала на стол и уставляла его стаканами, холодцом, борщом, медвежатиной, бараниной, солеными огурцами, помидорами и капустой, жареной рыбой, яйцами и чашами, полными ягод разного сорта, Шубников понял, что обходчик, очевидно, приготовился к долгому разговору, и удивился тому, что хозяин просто старался показать, какая у него добрая жена, что все это у них в доме по форме и чести.

— Знакомьтесь. Моя закоренелая супруга, Маланья. Из кержачек.

Маланья крепко вспыхнула румянцем, хмыкнула, посировела, пригрозила:

— За стол не сяду! Всегда они так шутят.

Пригляделись друг к другу. Всмотрелись в глаза.

Шубников приступил к делу, когда Маланья отошла к печи и загремела ухватами.

— Вот в чем вопрос... Вот по какому счету я вас на-  
вестил...

Анисим Федорович наливал в рюмки и на предупредительный жест гостя уточнил:

— Для мысли. Я слушаю.

Шубников выложил все в двух-трех словах.

Дело сводилось к тому, что по обеим сторонам полотна наросло и идет приступом к насыпи много разной гнили, сохнет на корню, заболачивает перегоны. Вопрос состоит лишь в том, какими силами все это убрать, упорядочить. Железная дорога кивает на лесничество, лесничество на железную дорогу.

— Как вы думаете, Анисим Федорович?

— А что тут думать?! Тут надо дунуть! Непонятно? Дунем в трубу: соберем ваши и наши рабочие бригады, а с ними и весь другой честной народ, глядишь — и дело сдвинется. Так?

— Так... да-а...

— А раз так, выпьем еще для ясности.

«Интересно, всех лесничих он так поил и так расписывал?»

«Для ясности» Шубникову пить уже не хотелось, он думал о том, что действительно было бы здорово все организовать так, как советует Анисим Федорович.

Дом, наполненный тишиной, в которой мелко позванивали вилки, лениво дышала душная печь, добротная древняя мебель и завидная здоровая сытость за столом напомнили Шубникову о его просторном пустом доме с такой же широкой деревянной кроватью, спал он на ней одиноко, всегда почему-то с краешку и не ощущал стены спиной, перед глазами встал его забытый двор, хозяйствкой которого была коняга. Он, разомлев и раздобрев, уперся блаженным взглядом на киот с фотографиями в углу, почему-то рядом с иконами, только ниже, и оттуда из угла глядели на него две особы женского рода: одна строгая, вся в бронзовых лучах, в церковном одеянии, это икона, другая вся в белом сиянии на фоне леса, с улыбкой, с озорными глазами на полных губах; и обе сливались в одну и презрительно улыбались: мол, ишь, взгляделся!

Он спросил у Анисима Федоровича про ту, что веселилась на фотографии:

— Это кто?

— Аль не узнал?

— Н-нет.

- Что, хороша?
- М-м... королева.
- Ясно, жар-птица!

Багровея от света печи, Маланья обернулась, протянула руку по направлению к жар-птице и чуть не задохнулась от гордости:

- Наша, доча! Вот кто, Катюша!

Анисим Федорович подбил ладонью усы и храбро подначил:

- Посватаешь?

Шубников покраснел, стушевался и ответил, отшучиваясь:

- А что? Вот только — понравлюсь ли я ей...

— Это уж ваше дело. А ты посватай, а мы подумаем, да и отдадим.

Шубников не сдавался:

— Познакомиться надо. Да притом я и сватать не умею. Как это?

Анисим Федорович с хохотом наседал:

- Это ничего. Научим!

Маланья присела к столу и строго, с достоинством произнесла:

— Да что уж ты так сразу... дочу... Первому встречному! Только сегодня и увиделись! — и поперхнулась, поняла, что сказала лишнее, и крепкий румянец опять ударил ее по щекам.

— Ничего, мы люди таежные, серьезные. У нас ведь как? Отсчитал тыщу шпал — перерыв! Вот они с Катюшой отсчитали по двадцать годков — пора и так далее!

«Мне уже двадцать пять», — отметил Шубников, понимая под «и так далее», что подошла пора жениться, а ей — замуж, и только посмеивался, слушая Анисима Федоровича, который так разошелся, словно сам верил в то, что, как он говорит, так и должно быть.

Настороженная Маланья сидела, подперев щеки руками, и молча ждала, что еще выкинет ее благоверный.

— Отдам с условием — внука заберу к себе! А то в доме моем пустота. Была единственная жар-птица и та на станцию улетела нарзаном торговать! Внук — вот! Как ты — Маланья, вера твоя не против, бог твой?

Хозяйка закрыла глаза, и вдруг крупные плечи ее затряслись, и она жеманно смахнула слезы невидимым платочком, заойкала:

— У тебя Ленин, у меня бог. Ой, да мы оба не против, чтоб ангелочка в дом. Какая тут уж вера! Да я бы на него вместо иконы молилась. Да я бы на коленях перед ним день-деньской стояла! Да я бы...

Шубников расхохотался. Как все славно получалось!

— Ну вот. И ихний бог разрешает. Значит, дело верное. Поезжай на станцию — она в ларьке, увидишь Катерину уже наяву. Познакомься. Да и домой сюда ее свези. Вчера пешком пришла. Я бы сам — да отяжелел уже... Лады?

— Лады, Анисим Федорович!

— А что насчет гнили и лишней зелени у рельсов — уберем! Не беспокойся.

Шубников простился, сел на коня, вошел в тайгу и всю дорогу до своего дома громким хохотом пугал птиц.

...Он и не знал, что был в доме и видел людей, с которыми придется ему породниться. Да это вскоре и случилось.

...Однажды он долго плутал по тайге под ливнем, вымок и промерз: провалился с лошадью в реке. Завернул на станцию. Выпил в ларьке водки и дождался вечера. Катюша боялась добираться одна домой. Он предложил довезти. Сели.

Он засмеялся необычно, когда она всерьез спросила:

— А почему вы садите меня не впереди, а позади, как поклажу какую?

— А править умеешь?

— Не, не умею.

В дороге разговорились. Он узнал из беседы, что ей надоело в дому по хозяйству рабой быть. Мечтала свободной стать. Ушла работать на станцию в перронный ларек с водкой, фруктовой водой, конфетами и папиросами. Любила поезда и пассажиров. Сколько перевидала народу! Когда-нибудь и она уедет далеко-далеко и также будет сходить на каждой станции и придерчиво покупать все, что душе захочется.

Всю дорогу боялась: а вдруг обернется, да и обнимет!

А он блаженствовал. Вот ведь живешь себе и живешь, а потом встретишь первый раз такую особую глазастую и веселую, невестой назовешь, и нет уже для тебя человека на свете роднее и милее. Чудо, да и только!

С вздернутым носом, с ямочкой на подбородке, когда улыбнется, начинают изумрудно блестеть зеленые глаза, а завитки волос — колечки за ухом — вздрагивают.

Маленькая грудь и загорелая, округлая шея с капельками пота. Голос, в покое поющий, в волнении — звонкий, криклиwyй, в котором слышится лесное «А-у!».

С тех пор зачастил на станцию.

Во второй раз спросила:

— Транспорт-то где твой, в одну лошадиную силу?

Он спокойно усадил ее за собой и повез, но мимо дома.

Она встревожилась.

— Куда ты? Остановись, слезу.

— Ко мне.

— Как это?

— В гости!

— Останови, слезу. А в гости — обещаю, в другой раз.

Вошла в свой дом, потом вернулась и, краснея, шепотом погрозила:

— Напугал, прям...

Маланья вздыхала, тревожилась и думала о том, что для Катюши жених-то, наверное, живет в другой, в золотой стороне.

Анисим Федорович сидел, молчал, хлебал, как работал, окрошку и кашлял. И сказал дочери:

— А ведь тебя сватать приходили.

Катюша заинтересовалась.

— Кто такой?

— Да тут, с конем один...

— Не знаю такого.

— Лесник он.

— Это как же, сватать? Без меня... Вот еще! Чудно что-то! Да я и не видела его!..

— Зато он все глаза на тебя проглядел, фотографии просмотрел. Понравилась. А может, притворялся. Это, говорит, кто, что за красавица? Королевой припечатал!

И Анисим Федорович и его жена обиделись на дочь за ее непочтительность к такому важному событию, как будущее возможное сватовство.

Их обида выражалась в молчании. А она только смеялась.

Первый раз в жизни ее сватали!

— Я хромой притворюсь, вот хохоту будет!

Ее матушка сидела боязливо и только иногда вставляла словечко.

На этот раз она сказала:

— Правильно, дочь. Цену себе знай.

Отец кашлянул.

И вдруг Катя рассердилась:

— Уж не вы ли приискали?! Если по-вашему думать — вот и ищи, кто из них! Мало ли с конями и телегами на станции толкутся! — А сама вспомнила, как в третий раз он прибыл и спросил:

— Где-то мы с вами встречались?

Она уже мягко и шутливо ответила:

— Выпьете водки — вспомните. Приснилась, наверное.

А он ей ответил:

— Я редко пью.

...Все это было и осталось в воспоминаниях.

### 3

Там, где он всегда купался и плавал, у берега илистое дно и только на глубине таялся песок, до него он доныривал.

С помощью лошади дотащив на волокуше четыре каменные плиты, уложил их на берегу, под черемухой, разросшейся в овраге, который перерезал обрыв.

Здесь было вдоволь солнца, воды и густой прохладной тени.

Теперь — загорай, ныряй, сколько душе угодно, хоронись в травах и спи, пока не приснится что-нибудь страшное.

Остывающий алый шар солнца застревал в соснах и не торопился ни погаснуть, ни скрыться. Пламенные стволы сосен пылают, темные воды реки словно устланы плитами из красной меди. А тишина — такая, что слышен полет оторвавшегося листка.

И комары не допекают — висят в воздухе.

Катя, не стесняясь, плавала почти голой, с распущенными волосами.

Шубников хмурился, а она смеялась, дразнила.

— Кроме тебя, никто не увидит. Вот поймай меня...

Шубников строго приказал:

— Оденься! Вон медведь смотрит!

— Никто не смотрит! Никого... кроме тебя.

Действительно, кто может увидеть, разве что случайно заблудившийся на другом берегу. А медведи и птицы — что они понимают в женской красоте?!

— Как никого? Как никто не видит? А птицы, а медведи!.. Кругом глаза. Мало ли народу бродит по ягоды, по грибы!

— Ох, и ревнивый! Ох и милый ты! Ну, догоняй, лови, только берегись, русалка заласкает, зацелует и на дно утащит!

Она стояла, освещенная красным светом вечера, и, когда поднимала руки и приседала для прыжка, соски-вишенки дрожали, и окружные белые груди выпрямлялись и звали прижаться к ним.

И вот, вытянув тело в небо, раскинув руки, словно обняв солнце и прижав к груди, ушла под воду, в глубину.

Шубникову чудилось: вот-вот вынырнет и заливисто сообщит:

— Я солнце купаю!

Потом она засмеется от счастья.

Она, показавшись, откинула черные водоросли волос от глаз и губ, поплыла легко и красиво, словно русалка.

А ему хотелось обнять ее продрогшее тело, согреть, обсушить, и не она, русалка его, а он заласкает, зацелует...

Блестя мокрыми глазами, Катюша сказала ему:

— Я постою с тобой, а потом опять нырну. Ладно?

Он ответил со смехом:

— Ныряй! Только водяному не попадись!

Шубников сидел, любовался ею и думал о том, как счастлив, и тревожился о сыне.

Два года прошло — и тихо!

Потом он раздевался, прыгал в воду, подплывал к жене, ловил ее и, обняв, плыл с нею к берегу, будто спасал утопающую. Все-таки он боялся за нее. Они забирались в горячую, шелестящую, потрескивающую траву и скрывались в ней, отдыхали, беседовали все о том же. Он с немым восхищением печально смотрел ей в глаза.

Она понимала его.

— Я сама жду...  
— Еще нету?  
— Скоро, ой скоро!  
— Ждать-то уж больно долго.  
Зарылась у него на груди.  
— Обязательно будет!  
— А как ты узнаешь?  
— Об этом женщины всегда узнают. Наступают такие дни... Ну, в общем, тревожные дни...

Он замолкал. Раз об этом узнают женщины — значит, это уж наверняка!

Наступили тревожные счастливые дни и для Катерины. И Шубников, узнав об этом, как-то боязно рассмеялся тогда, не поверил и все расспрашивал: мол, где, что, как? Расскажи! Катюша показывала на себя и, краснея, жеманничала:

— Какой! Расскажи ему да покажи! Там! Во мне! — и, довольная, расплывалась в гордой счастливой улыбке.

...С утра Анисим Федорович был не в духе. Если по порядку, как он сам положил, то дело сводилось к причинам, которые любому голову заморочат. Выдал замуж дочь, осчастливили парня, свадьбу громкую гуляли на всю округу неделю целую... Уже годы складываются, а обещанного внука нету.

Вот и надейся каждый день!

А тут еще случилось такое, что ввело его в гнев и буйство, которого жена отродясь не помнит за все долгие и тихие годы жизни с ним.

Он, путевой обходчик, отстукал по рельсам ровно тридцать лет, прошел еще крепкими, но уже тяжелыми ногами как бы несколько витков по земному шару и орден Ленина за ежедневную пристальную работу получил.

Когда Маланья по недоразумению, а может быть, со смыслом, известным только ей, двумя перстами водворила орден Ленина в коробку с иконками, поверх бронзового креста и латунных крестиков на серебряных цепочках, и Анисим Федорович узрел это, он пришел в такой гнев, что, вынув орден, молодецки пульнул коробку со всеми крестами и богами в окно — стекло вдрывг разлетелось!

Супруга откликнулась, когда разбилось окно.

— Анисим свет Федорович, ты уж прости меня!

Крякнул так, словно жернова в груди покрутил, кулаком помахал, молотом будто.

— Цыц! А то... Руки свои держи от этой моей совести на километр! И конец делу!

Боялась она его и любила. Да и то сказать, и дочь вон какую королеву подарила, и по женской части была счастлива, и труды-то минули ее за широкой хребтиной свет Федоровича, и времени-то для молений — сколько душе угодно! Не до скуки!

Сегодня он отшагал по шпалам верст одиннадцать, пропустил электровоз и на тысячной шпале присел отдохнуть.

От осин под насыпью веяло могильным холодом.

Стареть не очень-то приятно! Но у Анисима Федоровича только в полночь появляются всякие важные недуги.

Сейчас ему необходимо было приготовиться к встрече с зятем. Ему было непонятно, что несла ему эта встреча: горечь, радость или успокоение. Он думал: человек живет на земле для радости. И солнце, и даже разбойный громовой ливень, и вот-вот готовые лопнуть стекла окон, таежные деревья, покрывающие дом ветвями со всех сторон, сонный вздох кота на печи, и предутренний писк цыплят — все это для радости сердцу!

Для него сейчас самой главной, самой важной радостью было бы сообщение о скором и точном появлении внука!

Кроме всех радостей, приятных сердцу, существуют и другие — ну, например, сознание того, что твой род — фамилия — будет продолжен на долгие века и будет вечно продолжаться.

Зять не появлялся. Где-то бродит он там по урманам — шестьдесят на восемьдесят километров, на конюшке, сам в полной сбруе — и ждет не дождется рассвета. А сквозь тайгу — к утру не прорваться.

...Они встретились неожиданно.

Напоив коня, Шубников выехал из леса и сразу увидел тестя. Анисим Федорович сидел на рельсах, сгорбив спину, о чем-то думал.

Услышав ржание лошади, он обернулся, и Шубников помахал ему рукой:

— Здравствуй, батя!

— Здорово, Иван!

— Устал, батя?

— Да! Пришлось немало оттанцевать по шпалам.

— То-то я смотрю — не случилось ли чего, уж больно грустный вид у тебя.

— Да нет... о жизни вот немного задумался. И дело наше опять какое! Вон все, что кругом, на нас обоих лежит. Я дорогу берегу, ты — полцарства таежного.

Закурили.

Чувствовалось, что этот разговор просто о том, о сем, и Шубников знал, что главная беседа будет впереди и поведет ее Анисим Федорович.

Вокруг молчали березы. Их сердцеобразные полузеленые листья жаждали влаги и солнца. Сосны нахально и разлаписто похлопывали их поверху и подминали под себя.

Шубников услышал:

— Ну, как там Катерина? — Анисим Федорович крякнул и напрямик спросил о главном: — Здоровье ее как? Ты от меня, Ваня, не скрывай, коли что.

Шубников понял, на что намекает тестя, и ответил:

— Говорит, нету пока ничего. — И увидел печальное и сразу постаревшее лицо тестя.

— Внука бы мне!

Шубников вздохнул и улыбнулся:

— Непременно!

— Два года как вы поженились. Ну, а Катерина... иногда ревет, поди?

— Все время поет!

— Поет? Хм... Значит, внук горластый будет! Ты, зятек, береги мою дочь. Боюсь, тревожусь я за нее. В торговом деле сам знаешь как... Не сбилась бы со счета. Молода еще... Поет много, говоришь...

Встали.

Мимо с грохотом промчался товарняк. Машинист помахал им рукой. Анисим Федорович снял форменный картуз.

— Ну, вот, славно побеседовали. И делу конец! Я возвращаюсь по своей железной...

— А я по тропкам. Катя-то, чать, заждалась.

— Ну, бывай! — с душевной грустью проговорил на прощанье Анисим Федорович и снова зашагал по своему бесконечному железному пути.

...Узнав от Катерины, что она забеременела, Шубников заспешил. Заспешил к тестю. С высокой лысой головы, стоя на крыше большой гранитной глыбы, смотрел на все окрест, будто прощался или встретился впервые.

Тайга была внизу. Она дышала под ним, как глубинное зеленое море, и несла его взгляду навстречу реки, и озера, и мосты, и деревни, и дальние облака над ними.

Все вокруг здесь было знакомо и как бы внове. Сейчас он задержал свой взор на синей мерцающей ленте железной дороги (она опоясывала гору с одной стороны) и открытых темных карьерах рудник с рабочим поселком около.

Это он, Шубников, вывел однажды геологов к этому месту. Он вспомнил: когда-то он долго не мог выбраться из Каменного урочища, кружил меж двух великаньих гор с одинаковыми речками у подножий.

Присел отдохнуть на валун — и ахнул! Корневища сосен вырывались из плена красно-синих глыб. Взглянул в небо — вся гора из железа! Он сразу узнал глыбы руды: в школьном кабинете были точно такие, только камешками... Взял один такой камень на всякий случай: все-таки тут нужен специалист. Геолог. А потом забыл об этом или уверился — померещилось, будто это железная руда. А однажды, делая переход от одной из лесных стоянок до другой, — он знал их по округе сотни: в них были геологи, рыбаки, лесорубы, охотники-манси, гуртоправы оленевых стад, — набрел на музыку.

В ночной тайге орал запущенный на всю катушку невидимый транзистор. Мужской голос клялся в песне: «Если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой». Увидел костер и около развороченной берлоги — трех бородачей с ружьями. Он понял, что это не охотники и не геологи: ни дичи, ни теодолитов и реек, только пустые консервные банки аккуратно сложены под помеченной зарубкой сосной. Когда он молча подошел к костру, они раздвинулись и дали ему место, и один из них подал лучину, чтобы он прикурил трубку. Кто они такие и как сюда забрались? Когда трубка раскурилась, он сказал: «Здравствуйте!»

Черные, в крепкой походной одежде, они хором ответили: «Здорово, парень!» — и рассмеялись.

— Кто такие?

— Тайга — наш дом.

— Прекратите шутки! — остановил и потушил смех четвертый, постарше, вышедший из ночи, сел на камень, развернул на коленях карту и ткнул пальцем в какой-то местный меридиан: — Встреча у нас состоится здесь. Мы на верном месте?

И тогда Шубников подал свой голос:

— Здесь у вас встреча не состоится. Это место очень похоже на другое. Когда-то я также заблудился. А отсюда вам нужно идти прямо по реке. Посмотрите на камни второй горы. Любопытные глыбы.

— Посмотрим, — сказал четвертый и попросил: — Веди нас.

И он вывел их. Вывел к товарищам. И только тогда он уверился, что это геологи, и четвертый взял у него адрес.

Как-то ночью нагрянули к нему на лошадках.

«Мы за тобой, Шубников! Едем! Ты — счастливый!» — сказали они ему.

Увезли его. И поили его спиртом, наперебой показывали тяжелые булыжины, в которых — смотри-ка! — семьдесят с чем-то процентов чистого железа.

...И сейчас счастливый.

Весь день он с удалью, как добрый молодец, гарцевал по тайге и пел песни, всякие, без разбору, какие приходят в голову.

То, что поведала ему жена, что увидел он в распльvшихся от слез глазах, в которых были и страх, и радость, и удивление, — все это нужно было как можно скорее сообщить тестю. Сообщить о будущем внуке.

Он вышел из тайги на дорогу, и конь сразу отпрянул назад, присев: на них обрушился скрежещущей чугунной громадой товарный поезд и, по-хозяйски оглушив их и каждую птицу гудком, умчался вдаль.

Шубников снял кепку и помахал ему вслед, как другу.

Это везли его руду — туда, где товарняк пройдет замедленным ходом мимо станции и вслед ему многоизначительно и обязательно тоже взглянет, как дочь обходчика и как жена лесничего, славная и вальяжная в белом халате, Катюшенька — буфетчица перегона.

Не было уже в предосенней тайге тишины, она потрескивала, шуршала, заливалась поздними птичьими

голосами, а были в ней и размахнувшееся на полсвета огромное небо, и солнце — в нем, доброе, пшеничное, и белоколонные березы в ярких желтых покрывалах, и черные вагоны с рудой, увозившие ее в глубь горного Северного Урала, куда-то к далекому новому заводу.

Все это уже носило свой особый смысл, и он ожидал томительно-сладостное приближение чуда, которое было наполнено жизнью, радостью и светом.

И все это заключалось в одном, великом — рождении человека!

Три важных события было за всю его жизнь: армия, железная гора и любовь... К ним теперь прибавится четвертое — сын, который будет жить и жить в этом большом зеленом мире! Станет он в свое время, кем захочет: лес рубить — лесорубом, пожар тушить — летчиком, пути беречь, как тестя, руду эшелонами возить. Уж на свое место Шубников его не ставил, мелькала приятная мысль, что сын пойдет в геологи и сам откроет свою железную гору, и станет он, как однажды польстили ему геологи, «за свою страну в ответе».

В сторожке путевого обходчика было тихо.

И весь путь Шубников держал вдоль полотна железной дороги, параллельной земной, и все поглядывал поверх насыпи: надеялся наконец-то все-таки увидеть тестя шагающим по шпалам, с молоточком, вызванивающим свою путевую металлическую мелодию.

Мимо мчались пассажирские поезда, но больше — товарные с открытыми платформами, добротно груженные все той же самой знаменитой рудой.

Конь лесничего почти уже привык к двигающимся железным громам, если они не орали гудками. Он чутко фыркал в ответ и настороженно косил глазом.

Уже начинало смеркаться. Накрапывал дождичек. Желтые шубы берез отяжелели, распечалились, а сосны с косыми, словно обрубленными, черными ветками.

Шубников с екающим сердцем и душевной горечью понял, что сегодня с тестем ему не придется встретиться, наверное, тот вызванивал свои симфонии в другой, обратной стороне, аж около Голубого урмана, там, где уже начинается тундра...

...Катюша ждала Шубникова в ярко освещенном дощатом ларьке с белым халатом на плече.

Он улыбнулся и первое, что услышал — голос жены:

— Промок! Устал, Ванюша?

Он столько скакал по дороге, чтобы сообщить ее отцу о той радости, которую он нес в своем сердце!

— Ну, говори, как ты, что, кого видела?

— Маму, я ей сказала...

— М-да...

Когда Катюша повернула плечо в сторону оконца, за которым хлестал дождь, и он вдруг увидел ее всю, а особенно милое лицо: сияющие глаза, румяные щеки, завитки волос над ухом и, как бы чужие, затвердевшие губы,— такая щемящая душу приятная боль наполнила его, что он готов был пасть на колени и молиться, как молятся другие пред иконой пресвятой девы Марии.

— Сказать бы надо... Батя!

— Он уже, наверное, знает! Разве матушка промолчит?

— Чего же ты вся зареванная! И сейчас — слезы!

Катюша погладила его по щеке.

— Первый раз, чать-то, боязно! Мамуня тоже, когда меня носила, ревела.

— Поехали!

Он засмеялся.

— Н-но, мотоцикл, в одну лошадиную силу!

Они сидят на лошади, как всегда: муж — впереди, жена — позади. Она крепко обхватывает его руками, словно он убежит, ускочит...

И они едут не спеша — лошадь идет шагом. Он поет, а она целует его шею, тянется, силясь достать губы, и дует в уши. Он знает: это значит, нужно повернуть голову навстречу.

От станции дорога плясала по торфяным взгоркам и ныряла в тайгу.

Из-под тучи на лиловое небесное пространство выплыла пушистая дрожащая радуга и, уткнувшись, подставив разноцветное колесо под плотные солнечные лучи и согреваясь, запламенела.

Шубников услышал голос Катюши.

— Смотри, озябла! Ой, мамочки! Хорошо-то как!

Лошадка степенно ступала копытами по лужам и скользила по обочинам лесной дороги, уютно держала на своей теплой хребтине двух людей и прядала ушами, слушая их говор и восклицания, словно понимала

что. Катюша ойкнула и рассмеялась по-детски звонко и заливчано, ткнула Шубникова кулаком в бок.

— Да смотри же, Ванечка! Ведь лебеди в небе! Вон-вон, летят!

Белые лебеди поднимались из тайги вверх, к радуге, вплывали в нее, как в ворота, становились разноцветными: розовыми, зелеными, голубыми, желтыми и огненными — играли, радуга уходила от них все дальше и дальше и густела, они настигали ее, а потом поднимались и взмывали вверх: и вот ведь какое дело — они стремительно облетали по кругу ее орбиту.

Это был их путь, по небесной бесконечной дороге на юг, их сказочный полет над тайгой и над водами, над земными дорогами, по одной из которых милая лошадка осторожно несла на себе двух счастливых людей.

Лошадка тоже неторопливо входила в радугу, как в красные бесшумные ворота, раскрытые всем на встречу.

# Граждане

## 1

Борька посматривает на дверь. Ему хочется уйти на улицу, постоять на солнце и пробежать по дощатому тротуару от дома до берега, туда, где катится по камням холодная речная вода, где толкуются мальчишки, готовясь к плаванию на плотах.

Сегодня воскресный день. Отец с утра не в духе.

— Сиди дома. Вот тут! — сказал он, показывая рукой на громоздкий окованный медью сундук.

Отец и сосед Лопатин вчера вернулись со сплава. Сегодня с утра они сидят посредине избы за столом, пьют водку, жуют соленые огурцы и молчат, думая каждый о своем. Они молчат потому, что собирались обсудить «одно дело», о котором будут говорить после, «когда развязутся языки».

Лопатин пробует уже запеть «Среди долины ровны·ы·я...». Повторив начало песни, несколько раз замолкает и ждет, когда подхватит отец. А отец вертит в руках огурец и все не решается его съесть. Лопатин опять пробует запеть, но отец останавливает его и сует огурец.

— На, съешь вот этот.

Лопатин откусывает половину, жует и морщится.

— У-у! И этот горький... как моя жизнь.

Отец качает головой, вздыхает, — горькая жизнь-то не у Лопатина, а у него... У Лопатина добротная изба, богатые огороды, корова, козы и разная птица, а самое главное — есть жена и всего один сын...

Отец смотрит в окно и думает вслух:

— А у меня жены нет, а ребят трое. Померла Марья,

— Нет, ты погоди, — останавливает отца Лопатин и пробует снова запеть. Он закрывает глаза и поднимает голову кверху, поет громко, пронзительно, будто плача:

...Среди долины ровны-ыя...  
На гладкой высоте..

Останавливается, долго молчит, потом, словно спохватившись, запрокидывает голову и, ударяя после каждого слова кулаком по столу, продолжает:

Растет, цветет могучий дуб...

Наклоняется, слушает, не поет ли отец, смеется, прижимаясь к столу, и хлопает рукой отца по спине.

— Дуб ты... Вася! — обиженно отворачивается и доедает горький огурец.

Отец сердит на себя за то, что давал слово дочери Зинке не пить больше и не сдержал слова, сердит на соседа Лопатина, рано опьяневшего, на сына Борьку, успевшего к приезду отца порвать новые штаны. Когда отец сердится, то гладит свою рыжую бороду. Он перестал бриться с тех пор, как умерла мать. За это время у него выросла густая рыжая борода. Если он пьян, то целует Борьку и Зинку, борода колется, она жесткая, но мнется, как медная проволочка, обнимает — спину жгут его теплые руки. А грудь и плечи у него такие широкие, что хочется повиснуть на нем, свернуться калачиком на его груди и уснуть, слушая его глубокое дыхание и громкие стуки сердца.

Сосед захмелел, привалился к столу, одной рукой пощипывает усы, другой все хочет обнять отца, но рука не слушается, валится с плеч и повисает.

Отцу неприятно, что Лопатин навалился на стол, ему жаль сейчас мягкого и доброго соседа. Он берет длинного и тощего Лопатина под мышки и сажает на стул: «Сиди прямо! Не гнись!»

— Нет, ты мне скажи... — Лопатин заикается: — Марья... не плоха-а-я женщина была. Слышишь? Талант в душе и сердце имела...

Отец зло и жестко отвечает, не глядя на него:

— Марья померла. Чуешь? А мне вторая жена нужна. Детям моим мать нужна. Чуешь? Целый год прошел.

На слова отца резко обернулась сестра Зинка, она стояла к отцу спиной у зыбки, где спит Людочка. Обернулась и посмотрела на отца долгим, суровым, каким-то непонятным взглядом.

Отец заметил взгляд дочери и умолк. Борька знает, что отец любит Зинку и слушается ее. Она осталась после смерти матери хозяйкой в доме.

Слова отца об умершей матери и о том, что детям его, то есть Борьке, Зинке и Людочеке, нужна другая мать, Борька встретил с интересом: «Как это... другая мать?» — и стал слушать, что будет дальше.

Проснулась и заплакала Людочка. Зинка склонилась над зыбкой.

Отец отвернулся, поднял руку, наверное, хотел стукнуть по столу, но раздумал и положил руку на стол, разгладил складку скатерти и сказал, обращаясь не к Лопатину, а скорее к Зинке:

— Вон их у меня трое, а что мне с ними делать?.. Обшивать, обстирывать, кормить нужно! А один-то я по семейному делу не способен. Все есть: дом, работа, дети... и сам я еще герой, а вот без жены семья не семья! А один-то я по семейному делу не способен. Чуешь? — и указал рукой на Борьку: — Борис! Иди сюда.

Борька мнется, медлит, потом подходит к отцу, подгибает колени.

— Вот опять штаны порвал... — Отец гладит Борьку шершавой ладонью по щеке: — Иди обратно. Сядь. Чуешь? — и смотрит на дочь.

Зинка баюкает Людочку и поет. Людочка плачет долго, пронзительно. В избе жарко и душно. Лопатин курит махорку. Отец, закрыв глаза, мычит что-то: «И-и-их-ма!» — и качает головой, повторяя: «Чуешь, чуешь?»

Борьке скучно. Он сидит снова на сундуке, болтает ногами и стучит пятками о холодную медную обивку, слушает Зинкины причитания, подражающей матери: «А баю-баю-баю, жили люди не в раю».

Отец, смешной и лохматый, смотрит на нее, улыбается и ласково шепчет:

— Зинаида... Умница она у меня. Пионерка, а в лагерь не поехала... Людмилу вот нянчит... — Отец толкает Лопатина локтем в бок: — И, мать моя, чуешь, как кричит!

Лопатин пытается подняться, произносит с трудом:  
— Соловей!

Сосед и отец подходят, держась друг за друга, к зыбке. Отец останавливает рукой качающуюся зыбку, смотрит на Людочку и щекочет ее пальцем:

— У-у, соловей мой!

Зинка берет отца за руки, отводит его и говорит жалобно:

— Уйдите, папа, — поворачивается боком к Лопатину. — Напьются всегда, прямо как... — Становится к зыбке и качает ее.

Отец смеется, берет Лопатина за рукав и отходит к столу.

— Доченька, мы так... немного... — говорит он, доедает надкусенный огурец и смотрит в окно.

На дворе открылась калитка, и в огород по тропинке между морковными грядками прошли пионерки, Зинкины подруги, и остановились, о чем-то разговаривая.

— Зинаида, чуешь! К тебе пришли.

Зинка смотрит в окно, удивленно раскрывает глаза, торопится, качает зыбку быстрее.

— Ой, это дружина из школы! В лес... гербарий собирать.

Отец кивает головой:

— Иди, иди к своей дружине, — и поворачивается к Борьке: — Сын! Твое дело, чтоб у меня Людмила уснула. Пой ей песни!

Борька ждет, когда уйдет из дома Зинка. А сестра не торопится, она поправила одеяло на Людочке, тихо подошла к двери, открыла ее и крикнула подружкам — своей дружине:

— Здрасте! Я сейчас, — и ушла в другую комнату одеться в школьную форму, и долго оттуда не выходит, наверное, ищет свой пионерский галстук, — она не знает, что Борька примерял его перед зеркалом и положил в нижний ящик комода.

Борька слушается отца. Он не прочь иногда покачать зыбку, смотреть на Людку, которая еще такая маленькая-маленькая, и петь ей дискантом песни, от которых Людка всегда засыпает. Вот плохо только, что Зинка вернется из лесу не скоро, придется долго ждать ее, а на реке уже, наверное, вовсю ребята ката-

ются на плотах, ловят рыбу и лежат на песке голышом под солнцем, загорая, — им весело, и шумно там сейчас, нет только с ними их дружка Борьки, о нем они, конечно, забыли. Борька вздыхает и начинает петь: «Эх, дороги, пыль да туман». Ему лестно, что отец и Лопатин смотрят на него и слушают, как он поет: «Холода, тревоги да степной бурьян» — и начинают подпевать ему тихо, задумавшись, закрыв глаза.

Они поют, останавливаясь и громко разговаривая. Лопатин выкрикивает слова, машет руками, а отец говорит шепотом, разводит руками, как бы рассуждая сам с собой.

— Слышишь, — кричит Лопатин, — а ты все-таки подумай насчет Ульяны. Сосватаю я тебе ее. Она, говорят, любила тебя, да ты на другой женился...

— А что?! Она женщина хваткая, скромная. Товарищ она. После смерти Мары по дому помогала, за Людмилой смотрела... Эх, Павел Васильевич... Лопатин ты мой золотой, — шепчет отец. — Маленькая она... молода уж очень. Вдруг не сойдемся?

Лопатин стучит по столу:

— Ну и что с того, что молода? — крякает, берет огурец с тарелки, снова кладет. — ...Дак зато фельдшерица... Дело свое знает! Эва, маленькая! Не по годам бьют, а по ребрам! Акушерила-то у тебя же дома, забыл? Людмила-то Васильевна вон как в зыбке поет-заливается! Здоровенькая растет деваха... Да.

Отец молчит, думает, сидит не двигаясь, большой, грузный.

На столе стоят пустые бутылки, нарезанный ломтями черный хлеб и мягкие розовые куски ветчины, к краю стола отодвинуты стеклянные банки с огуречным рассолом.

Лопатин подымается из-за стола и вопросительно смотрит на отца:

— Хм! Молода! Тридцать три года. Тебе сорок. Вот и пара! Одна она. Замужем была... А пожить не удалось: муж на фронте погиб в сорок четвертом году. Считай, сколько лет одна мается! Ну так, Василий Андрианович... как же?

Отец ставит бутылки под стол, поправляет скатерть.

— Пойдет ли она за меня, а? Ульяна-то? В дом пойдет?

Лопатин, усмехнувшись, отпивает огуречного рассола, чмокает губами и утирается полотенцем:

— М-м. Пойдет.

— К ней бы сходить надо, посмотреть, поговорить... как и что.

Лопатин кивает головой:

— Надо, надо, — встает и идет к двери. — Пойдем.

Надев новый пиджак, отец подходит к Борьке:

— На, спрячь деньги куда-нибудь. Уберешь со стола. Смотри за Людмилой. На улицу пойдешь, когда Зинаида из лесу придет... А я пошел... Приду потом.

Лопатин запел: «Ульяна ты, Ульяна», открыл дверь и пропустил отца вперед.

## 2

Борька остался один, хозяином в доме. Убрал со стола, поправил половики, принес воды, перемыл посуду, вымыл руки и заглянул в зыбку. Людка не спит, не плачет, таращит глаза и смешно раскрывает рот. Борька берет сестренку на руки, укутывает ее, садится у окна на лавку, вздыхает и думает об отце, о Зинке, о себе, вспоминает о жизни при матери...

«Ушел отец, а куда — не сказал. Знаю, к Ульяне ушел. Приведет в дом другую мать — Ульяну, и станет она в доме хозяйничать... А Зинка придет домой не скоро со своей дружиной. Скоро в школу опять идти. Перешел я во второй класс, а на уроках сидеть не люблю. Вчера подрался с Тимкой Лопатиным из-за шишек кедровых. Война навсегда! Тимкин отец совсем тощий на вид, но сильный...»

Борька знает, что Лопатин — ударник на лесосплаве и после каждого сезона приносит домой премии и хвалится соседям. А отец никогда ничего не приносит — только получку. Отец и Лопатин дружат, живут рядом и работают вместе. И сейчас они вместе — ушли к Ульяне в гости. Борька видел ее несколько раз на мосту. Всегда покупает там ягоды: черную смородину, малину, костянику и завертывает ягоды в маленькие кулечки из бумаги. Она всегда одета в черное платье с белым воротнич-

ком, и волосы и глаза у нее черные, походит на цыганку. Борька думает: «Как увидит меня на мосту, всегда улыбается. А теперь будет у нас мачехой... — и обиженно поджимает губы. — Зачем она отцу — такая? Отец у нас хороший. Родной папка. И Зинка сестра хорошая, только задается и командует. Когда я еще не учился, то ходил в трусах и лазил в огороды. А отец сказал однажды: «Борис, надень штаны, ты мужик ведь уже, а все ходишь голышом». А когда я сталходить в штанах, то в огороды перестал лазить, потому что взрослый, и как-то неудобно. Стал учиться в первом классе, отец сказал мне: «Сколько раз тебе говорю, называй меня отцом, а не папкой». Только Зинка называет его папой, и отец не сердится на нее, потому что она женщина, и он слушает ее...»

Однажды она стирала белье, а Борька мешал ей, и Зинка ударила его вальком по руке, ушибла палец. Если бы это сделал кто другой, Борька заплакал бы — больно было! Но Борька не заплакал, неудобно перед сестрой! Зинка обняла его за плечи и гладила по щеке, как мать, приговаривала:

— Боря, Боря, Боря, — и покачивалась, а косички ее взлетали туда-сюда...

Борьке стало обидно, он со злостью дернул Зинку за косички и развязал бант и потом заплакал.

Зинка засмеялась тихо:

— Эх ты... я же нечаянно... — и почувствовала себя виноватой, нахмурилась и стала быстро-быстро стирать белье.

Борьке стало неудобно, и он подошел к сестре:

— А в кино дашь денег?! Рубль?!

Зинка зло ответила:

— Ты ж мою копилку вычистил и в реку бросил!

Борька облизнул губы и повернулся боком.

— Ну, ладно, Зин... Вырасту большой, десять копилок насыплю тебе денег. Сто рублей! Тыщи!

— Рубль в кино попроси у папки.

В доме была хозяйкой Зинка, и Борька никогда не просил у отца. Отец сказал однажды: «Попрошаек не люблю. Бери всегда вон в пиджаке в левом кармане сколько надо. Только на совесть. Не жадничай».

Борька не жадничал. Казначеем отцовского левого кармана была Зинка. Борька брал рубль и мелочь в

кино и на тетрадки и показывал Зинке. Сестра все умеет делать. Она ходит в магазин, стирает, варит, убирает в комнате. Только полы отец моет сам и не разрешает Зинке, говорит всегда: «Категорически запрещаю».

Как-то отец принес домой детскую одежду для Людочки:

— Зинаида, вот я купил... не знаю, подойдет ли?

Зинка обрадовалась, посмотрела и рассмеялась...

— Смешной ты, папка! Это же для трехгодовалого.

— Ну, а ты сделай для годовалого. Перешей, что ли. Материал ведь...

Когда отец уезжает на сплав, Зинка и Борька живут одни. Приходит Тимка Лопатин. И они всю ночь рассказывают сказки и пекут кедровые шишки, и спать ложатся все трое вместе.

...Борька смотрит в окно. Людка уснула у него на руках. Теперь ему совсем не с кем разговаривать. Он хотел уложить ее в зыбку, но раздумал.

Наконец пришла Зинка, шумная, веселая, с охапкой березовых, сосновых, черемуховых веток, с пучком трав и букетом цветов, разложила свой гербарий на столе:

— Боря, Боречка, ой, какой ты молодец... Дождалася все-таки меня, — поцеловала брата в губы и засмеялась.

Борька отшатнулся, вытер ладонью губы:

— Ну, вот еще! Какая...

— Ну, иди, иди на улицу. А мы сейчас с Людмилой Васильевной пойдем к мосту.

Борька отдает Людмилу Васильевну Зинке:

— Осторожней, ты, веселая какая, — и поучает ее, как старший: — А к мосту не ходи, там жара, солнце и машины пылят. Кто же в такую жару с ребенком ходит?!

— Уж много ты понимаешь, Борис. Мы ведь на воздухе, в тени будем сидеть. А где отец?

Борька задержался у двери, посмотрел на Зинку, которая стоит посреди избы с Людкой на руках, ему стало жаль ее, ответил сурово, нахмурившись, подражая взрослым:

— Отец ушел с Лопатиным куда-то... К Ульяне ушел.

После того как сестра ушла с Людкой к мосту, Борька завернул новые брюки выше колен, поплевал в ладони и побежал вприпрыжку по береговому глиняному откосу. Там, где в пойме и на отмелях реки задержался лес от сплава, между бревен у Борьки был припрятан плот.

«Ну и дела начнутся сейчас! А вот и Вовка уже на берегу сидит-ожидается».

У самой кромки берега Борька споткнулся о камень, расшиб палец и, подпрыгивая на одной ноге, остановился у самой воды.

Вовка, тихий, белобрысый малыш в трусах и майке, сидел на камне, у бревен, опустив ноги в воду, и поклонился себе по животу. Над ним летали комары.

«Вот, тоже мне, моряк!» — подумал Борька и, морщась, сел. Нога ныла, саднил палец.

— Ты ранетый? Я тебя ждал-ждал... — меланхолично протянул Вовка.

Борька сидел на камне, вытянув напоказ ногу с ушибленным пальцем, и с таким выражением на лице, будто говорил: «Видишь, кровь! А мне совсем не больно».

— Сейчас поплыем, — кивнул он приятелю и сунул ногу в холодную воду.

Река бесшумно катила свои воды в город, туда, к мосту, где толпились люди, гудели проезжающие автомашины. На дне реки лежали тяжелые зеленые камни, обросшие мохом. А здесь на берегу жгла тело мелкая галька, нагретая солнцем, росла трава. Вовка, наклонив голову, разглядывал ушибленную ногу:

— Возьми платок. Перевяжи. Или пойдем к нашей маме.

— Ну, вот еще... — отмахнулся Борька, но платок взял. Ногу перевязали.

Солнце печет жарко. Вода в реке синяя-синяя, манит прохладой, интересным плаванием на плоту.

Борька зашагал к бревнам, лежащим в воде и на берегу, вытащил из-под гальки припасенные веревки, палкой подогнал к себе доску, вошел в воду, протолкнул бревна по воде на берег. Вдвоем они стали обвязывать бревна веревками. Вовка работал молча, пыжился, сопел. У него спадали трусы.

А когда плот был готов и сдвинут в воду, когда оттолкнулись от берега длинным шестом и поплыли, Борька взглянул на сидящего грустного Вовку, шлепавшего по воде ладонью, и проникся к нему нежностью.

— Слушай, Вовка. Ну, что ты все молчишь да молчишь, как селедка?!

— А я думаю...

Поджав под себя ноги калачом, Вовка смотрел в воду и думал о своей матери, о том, как по ночам она долго читает чьи-то письма. Это старые письма за всю ее жизнь. Она хранит их в чемодане, а вечером начинает читать. И Вовка не может долго уснуть, ему жалко мать: читая письма, она смеется и плачет. Заметив, что Вовка смотрит на нее и не спит, она подходит к его кровати и сидит рядом, пока он не уснет.

— Борь! А твоя мама тебя любит?

Борька вздрогнул, обернулся и посмотрел на Вовку печальным, испуганным взглядом.

— Любила. Но она померла. А что ты спрашивашь?! — Борька нахмурился и с досадой добавил: — Отец у меня есть, он сплавщик. А скоро у нас мачеха будет...

— Мачеха?! А как... это?

— Ну... будет вторая мать, ненастоящая...

Плыли мимо берегов, на которых лежали спиной к солнцу голые взрослые люди, мимо бревенчатых изб, садов, огородов, ларьков — к мосту.

Через широкую пойму горной холодной реки перекинулся громоздкий деревянный мост, соединяя обе стороны города. Там, где река делает поворот, берега завалены круглыми лобастыми камнями, они привалились к высоким шлюзовым воротам, сшитым из толстых досок.

Избы с огородами, палисадниками, бревенчатыми воротами, тротуары и пыльные глиняные дороги тесно прижались друг к другу у берегов.

Над северным городом нависла жара. Небо густо темно-синее. Автомашины, пешеходы и прохладные воздушные ветры, дующие внезапно с таежных Уральских гор, взметают пыль по дорогам. Пыль оседает по берегам на травы, жесткую крапиву, камни. К вечеру берега совсем седые от белой глиняной пыли.

На мосту людно и шумно. Спешат прохожие, гремят автомашины, стучат колесами по деревянному высохшему настилу. У многочисленных ларьков, будок, киосков с мороженым, водой и хлебным квасом толпятся жители. У перил на ящиках с песком приютились бабы и мальчишки с корзинами, полными кедровых орехов, черной смородины, малины, черемухи, свежих огурцов и пучков зеленого лука.

Из открытых окон почты, Дома приезжих, клуба слышна музыка. Люди толпятся на мосту у перил, смотрят, как играет шумная вода, едят мороженое, разговаривают, смеются. Бродят геологи, охотники, подвыпившие сплавщики. Скучают в отдалении пары. Прохаживаются милиционеры в белых перчатках со строгим выражением на лицах.

Из-под моста высекают на речной простор таежные лодки-кедровки с накошенной травой, стрелянной дичью. Это возвращаются с воскресного покоса и охоты местные старожилы. У моста на отмели, по колеса в воде, стоят машины, шоферы суетятся в воде, охлаждая радиаторы, набирая воду в ведра. Кругом шум, голоса, крики, пение, звуки баяна, гармошки. И только река катит свои воды спокойно между берегов, домов и людей, с их думами, радостями и тревогами.

Ульяна — молодая, плотная, маленькая женщина с широко раскрытыми черными смеющимися глазами на бледном скуластом лице, опервшись на перила моста, смотрит в речную даль, на корпуса лесопильного завода, на двухэтажное деревянное здание горкома с колоннами, на дальние дымки изб и заводских труб.

Василий стоит рядом с Ульяной, плечом к плечу, смотрит в воду, на чистое дно, где лежат большие камни, часто моргает глазами, улыбается и тихо шепчет ей что-то.

Ульяна давно знает Василия Андриановича. В его доме она принимала роды. Ее приказания все исполняли, ходили на цыпочках. Тогда она чувствовала себя хозяйкой в их доме и завидовала этой дружной семье, здоровому крикливому ребенку, который родился. Завидовала по-женски, от того, что сама жила одиноко.

Тогда она еще подумала, что хорошо бы ей иметь такого же здорового крикливого малыша, и именно от него, Василия Андриановича, и ужаснулась этой мысли.

А потом долго помнила, как Василий Андрианович смотрел на нее восхищенными глазами, когда она принимала роды и командовала, и как он, провожая, вдруг обнял ее за плечи.

Ее оскорбила тогда эта неуклюжая мужская благодарность. Уж лучше бы он ее не обнял, а сказал бы «спасибо», как говорят другие в других домах. Она тогда покраснела и сбросила руки его со своих плеч. А потом втайне про себя жалела, что так грубо поступила.

Поодаль от них, скучая, облокотившись небрежно на перила, стоит спиной к реке Лопатин и курит махорку. Он то и дело поворачивается и смотрит на Ульяну и хочет услышать, о чем она говорит с Василием Андриановичем.

— Мужчина, если выпьет — идет к женщине. Нехорошо так. Трезвый приходи. Или по делу, или в гости. Вот тогда и говорить будем.

Ульяна покачивает в такт словам своей большой головой, с тугими черными косами, уложенными сзади в тяжелый узел.

— Справедливо говоришь. Но как не выпить?! Вернулся вчера со сплава, утром пришел сосед, ну вот и выпили в воскресный-то день!

— Нашел оправдание! Сегодня воскресный день, завтра праздник какой-нибудь, а потом и просто так — за милую душу. Был человек, а глядишь — и докатился до ручки.

Отец удивлен гневной интонацией в голосе Ульяны. Ему неловко. Он слушает Ульяну, не понимая, к чему она ведет разговор.

— Так и знай: замуж не пойду за тебя, если пить будешь, не думай! Не сладко нашему брату — женщины приходится, если муж — пьяница. А у тебя дети... Сам пойми: ну что хорошего в водке-то? Здоровье только портить, да от людей стыд. Эх!

Ему неудобно, он чувствует в словах женщины правду: «Действительно, напились... Нехорошо!»

Василию нравится строгость Ульяны, стесняясь, он смотрит ей в лицо, видит в глазах усмешку. Чувствуя плечом упругую, горячую, сжатую в локте руку Ульяны, он не решается отодвинуться.

— Ты пришел со своим другом в мой дом, а друг-то

твой чуть тепленький, как говорится. Песни начал вить...

— Петь он любит, — вздыхает Василий.

— Соседи ведь смотрели на вас. Что потом обо мне говорить будут?! Ай-ай-ай!

— Ну, пойдем ко мне в дом, в гости. А соседи... пусть говорят. Не смотри ты на них.

Ульяна молчит, отодвигается, смотрит прямо в глаза, строгая, красивая:

— Что мы там будем делать?

— Ну... поговорим, как и что...

— Говори здесь... Не пойду сейчас, сегодня.

— Можно и здесь, — соглашается Василий.

Большой, угловатый, он вынимает руки из карманов.

— Хотел я, чтоб и ты посмотрела мой дом, как и что... как я живу, на детей взглянула бы...

«Ну что ж... Пойду сегодня. Посмотрю. Ведь пока просто так — в гости! А потом надо решать. Василий Андрианович — человек самостоятельный, хороший, серьезный. Ведь я любила его... А вот как примут меня дети?» — подумала Ульяна и вдруг прониклась нежностью к этому смиренному, бородатому человеку, так неумело приглашающему ее в гости к себе в дом, к своим детям. Ей льстило, что Василий Андрианович приглашает в гости именно ее, а не кого-нибудь... Разве мало женщин в городе! Она почувствовала к нему какое-то особое доверие и товарищеское уважение.

Их шумный, пьяный приход с Лопатиным к ней, приглашение в гости и все это сватовство на мосту показалось Ульяне обычным, а необычным то, что они вот сейчас все трое стоят на мосту и молчат, ожидая ее решения, что решение это — серьезно, на всю жизнь. Сначала Ульяна пойдет к нему в гости, в дом, к его детям, а потом уже не в гости, а хозяйкой, матерью, женой, другом... Стало радостно от мысли, что теперь у нее будет все сразу: и муж, и семья, и дом, в котором они будут жить все вместе.

Мимо прошла и поздоровалась жена Лопатина, злая и дородная женщина, в коротком, узком для ее фигуры, ситцевом платье, припадая на стоптанные каблуки старых, наверное еще со свадьбы, туфель.

Василий и Ульяна замолчали и повернулись к ре-

ке, — они услышали грудной, тяжелый шепот, обращенный к Лопатину:

— Чего ты здесь, а? Или дома дела нет? За бабами ударился, а?

— Ну чего ты, Нюша, право. Какие нонче бабы... Датише ты, не дома ведь! — отмахивался Лопатин от жены, застегивающей на нем пиджак. — Глупая... Вот Василия Андриановича сватаю.

— Вижу, вижу. Знаю! Стоишь, старый черт, глазки строишь, — ткнула она мужа в бок. Лопатин крякнул и приблизился к жене, смеясь, растянулся: — Сва-та-ю! — и обнял жену за плечи. — Не видишь, что ли, ослепла совсем? Н-но! Тихо у меня. — Ласково произнес: — Нюша, пойдем домой. Пойдем...

Жена успокоилась:

— У-у, и пьян к тому же, чтоб тебя... А где Тимка?

— А вон, смотри, в воде он, под мостом плавает... герой.

#### 4

Тимка — высокий, худой и жилистый парнишка, подстриженный под бобрик, с веснушками на носу и щеках, стоял по колено в воде. У него застрял плот меж камней, и он старался сдвинуть его с места. Он провозился с плотом уже целый час, устал, промок. Ему стыдно, что с моста на него смотрят люди, что на берегу в тени у моста сидит Зинка с Людкой.

Вода к вечеру теплая у берега, тут приходится возиться с плотом. Можно бросить плот и уйти куда-нибудь, но ведь люди смотрят на Тимку и ждут, когда он повернет плот все-таки в какую-нибудь сторону, смотрит Зинка...

Навалился на бревна грудью, силясь столкнуть плот с места, и повис на нем. Течение мягко отделило его ноги от дна, и они заболтались в воде, ощупывая, где бы ступить на камень.

Тимка сел на плот отдохнуть, послушал рукой, как бьется сердце. Он болтал ногами в воде, мыл руки, приглаживал бобрик на голове, делал вид, будто он отдыхает и ему все равно, и вдруг видит: за мостом недалеко плывет по течению навстречу ему Борька на плоте с каким-то мальчишкой.

..Метались под камни пугливые рыбы — окуны и хариусы, сверкая разноцветными спинками. Плюхался в воду шест, упирался в дно, ломался в отражении и снова взлетал вверх, разбрызгивая тяжелые капли на прибрежную пыльную крапиву.

Борькин плот плыл по течению легко и быстро, покачиваясь, и только там, где вставали на пути камни и постукивали бревна одно о другое, терлись о дно, плот застревал, поворачиваясь в сторону, грозя опрокинуть капитанов в воду.

На мосту люди заметили нового плотогона и следили за плотом. Вовка усиленно греб руками.

Когда проплыли мост и приостановили плот, пригнав его поближе к берегу, Борька увидел и сестру, и Тимку, сидевшего в отчаянии на бревнах. Зинка, качая Людку, подошла к воде и крикнула ему:

— Борис, ну, иди повозись с Людочкой, а я искупаться, жарко.

— Да ну тебя! — Борька поправил веревки на плоту, намереваясь плыть дальше.

— Ну, Боря... Люда смирная, не плачет...

— Так ты что ревешь! Положь ее на берег и купайся, пожалуста...

— Давай Людку! — Борька забрал у сестры ребенка в обе руки, прижал к груди, как драгоценную ношу.

— Тише, ты! Шаромыжный...

— Что?

— Как ты ее берешь?.. Нельзя уж осторожней, что ли!

Борька почувствовал себя виноватым перед сестрой и забормотал, приложившись щекой к смеющейся Людке:

— Людочка, Людочка, Людочка... — и посмотрел на мост, где стояли люди, и заметил в стороне от других отца, Лопатина и его жену, которые смотрят вниз на него, на Зинку, Тимку и Вовку.

«Мачехи не видно», — с сожалением подумал Борька, и вдруг, когда отец повернулся, Борька увидел Ульяну за его широкой спиной, встретился глазами, вздрогнул. Борька отвернулся, запомнил хмурого Лопатина с обиженным строгим лицом, смеющегося отца и грустную Ульяну-мачеху, укутал сестренку и торопливо пошел по берегу, к Зинке.

В огороде под черемухой на круглом дощатом столе стоит патефон с поднятой крышкой, рядом лежат грудинки вынутые из конвертов пластинки.

Отец наклонился над патефоном, скучающий и неторопливый, неумело заводит патефон, занимает разговором гостью. Ульяна сидит рядом на скамье и щиплет тяжелую черемуховую ветку, густо усыпанную ягодами.

Борька присел на крыльце, где стоит бочка с водой для поливки огурцов, и разглядывает большой веник из сосновых веток. Он ждет музыки и наблюдает за отцом.

Наконец-то отец завел патефон, и полилась тихая, печальная музыка. Слушая, отец рукой лохматит свою рыжую бороду.

Ульяна смеется:

— Василий Андрианович, смешной ты с бородой своей. Она тебя старит. Ведь не все сплавщики носят бороды.

— Не все, не все! — торопливо отвечает отец и ждет, когда кончится пластинка. — Только старые плотогоны... С бородой-то теплее! Не простудишься осенью...

— Борода, выходит, вместо шарфа, да?! — Ульяне весело. — А ты сбреи ее, будешь молодым и красивым. Я свяжу тебе теплый шарф, когда будет холодно.

Борька замечает радость на лице отца, и ему жалко красивой рыжей отцовской бороды, которую он острижет, послушав Ульяну-мачеху. Он представил себе отца без бороды и видит белые щеки и подбородок на его буром от загара лице, его синие родные глаза, и крупные морщинки на лбу, и седые виски рядом.

«Пришла и уже командует тут», — думает Борька, разглядывая женщину. Ульяна смотрит, прищутившись, на отца и беззвучно смеется.

Она вспомнила, как однажды он вернулся со сплава с разбитой головой и зашел к ней в медпункт перевязать голову, радостно воскликнул, увидев ее:

— А, знакомая!.. Все еще сердишься на меня. Вот принимай гостя.

Ульяна засуетилась, доставая бинты.

— Где это вы голову поранили?

— Да на сплаве... — со смехом ответил он, — за-

тор был... Бревнышком ударило, — и шутливо похлопал рукой по ее плечу.

Ульяна подумала восхищенно: «Сильный, буйный человек», а когда накладывала ему бинты на голову, то он присмирел, затих и все прижимался щекой к ее маленьким, теплым и плотным рукам, чувствуя заботу и ласку. Уходя, он пожал ее руку и сказал:

— Спасибо, Ульянушка. Заходи в гости.

Заходить Ульяна стыдилась, и вот теперь она первый раз у него в гостях.

Из раскрытых окон слышен плач Людки и Зинкин голос:

— Не плачь, не плачь, спи, спи, а баю-баю-баю!

Борька поднимается и уходит в дом. Зинка сидит с Людкой за столом и вертит в руках погремушку.

— Видела? — тихо говорит Борька сестре и кивает головой в сторону отца.

— Что?

— Мачеха какая!

— Какая, — равнодушно отвечает Зинка и даже не смотрит в окно. — Обыкновенная женщина. А чего тебе?

— Ничего... так... Она у нас будет жить? Да?

Зинка смотрит в окно и видит отца, сидящего на скамье под черемухой.

— Не твое дело...

Борька садится у окна, чтобы его не было видно, а ему чтобы все видно. Отец и Ульяна сидят рядом. Патефон не играет. Крышка прихлопнута.

— Боря! Не подсматривай! — слышит он голос сестры и отмахивается рукой.

— Интересно. Нарядилась! Нарядилась!

Борька все-таки отходит от окна. Доносится голос отца:

— Борис, поди ко мне!

На улице уже совсем темно и тихо. В городе зажглись вечерние огни. Горы вдали лиловые, а небо над землей светлое, как утром.

— Борис, крути музыку! — приказывает отец и улыбается.

Борька слушает веселого отца, становится у патефона и берет первую попавшуюся пластинку.

— Завтра же переходи ко мне в дом. Будь хозяй-

кой. Женой будь! — громко говорит отец Ульяне и молчит, отвернувшись, наклонив голову.

Борька вздрагивает, ставит пластинку и слышит рядом чужой мужской голос. «А, это смешной рассказ про гипнотизера», — узнает Борька и не решается: переменить пластинку или нет. Отец и Ульяна разговаривают.

— Мужик ты серьезный, сильный. И дети у тебя... ничего. Только... не жалуют они меня, прячутся... Смотрят как на мачеху.

— Это с непривычки. Молода ты, Ульяна. И на мать не похожа. Она высокая, крепкая женщина была. Золото!

Ульяна хмурится и вздыхает, хочет возразить, что-то сказать... загрустила. Борька подбирает танцевальную пластинку, чтобы мачехе стало весело.

— Материнского в тебе нет... — отец обнимает Ульяну и гладит ее по спине. — А телом ты добрая... ничего. Я думал, ты как перышко, а ты тяжелая... замужем была, чать?!

Ульяна краснеет и наклоняет голову:

— Была немного...

— Работу бросай... свою фельдшерскую... В доме хозяйкой будешь.

— Нет, Василий Андрианович! Работу я не брошу, не могу. Я в почете. И училась ведь этому. Работа жить не помешает.

— Ну, об этом потом...

— И потом и сейчас будет так, как я решила.

— Я зря сказал, зря... — замолкает отец и видит, что у калитки стоит сосед Лопатин с женой Нюшой.

— Можно к новобрачным? — ухмыляется Лопатин, снимая картуз, но, почувствовав тычок в спину, делает свое побритое лицо строгим. — Здравствуйте все, — заканчивает он мягко и проходит в огород.

Борька видит стесняющегося Тимку, который стоит около матери и не решается подойти к нему.

— Тима! Иди, иди, — кричит Борька и крутит ручку патефона до отказа. — Патефон будем слушать, музыку... Вот!

Лопатины проходят к черемухе, где сидят на скамье отец и Ульяна.

Отцу неудобно сидеть перед гостями, он встает,

берет супругов Лопатиных за руки и усаживает рядом с Ульяной.

В окно слышен пронзительный детский плач. Это кричит Людка. Отец подходит к окну:

— Вот соловей мой беспокойный. Зинаида! Что там? Иди сюда.

Зинка выходит из избы, строгая, прямая, с новым бантом на косичках, останавливается на крыльце, держа на руках плачущую Людку.

Ульяна поднимается к ней навстречу.

— Дай-ка, Зина, девочку мне. Бедная... плачет, спать не хочет...

Отец смотрит на Зинку пристально, умоляюще, добрыми синими глазами. На скамье сидят молча, задумавшись, Лопатины. Борька и Тимка остановили патефон и делают вид, что ищут какую-то пластинку.

Зинка молчит. Все смотрят на нее и ждут. Ждет и Ульяна, опустив глаза.

— Зина... Ну!..

Зина замечает, как губы Ульяны вздрагивают; ей становится жаль эту женщину и стыдно за себя, что обидела ее ни за что, она, наверное, добрая и веселая.

— Вы... не сердитесь на меня. Ладно? — шепчет Зинка, наклонившись к Ульяне. — Люда перестанет плакать — ее только покачать надо.

Ульяна берет девочку на руки, садится на скамью, смеется и, полуотвернувшись, качает.

Отец подталкивает Лопатина в плечо:

— Гляди, сосед. Мать! — и указывает глазами на Ульяну.

Лопатин крякает, расправляет ладонью усы:

— Что ж, Андрианыч. Выпить надо бы.

— Пить сегодня не буду, — спокойно говорит отец и подходит к Борьке и Зинке.

Борька и Зинка смотрят на мачеху, как она склонилась над притихшей Людочкой; им весело от того, что в доме у них сегодня гости. Отец обнял их за плечи, прижал к своей широкой груди. Пощекотал им щеки бородой и зашептал в уши:

— Граждане вы мои, граждане. Эхма!

# Змей Горыныч

Ю. М. Нагибину

Митька Глоба долго искал запропастившийся кудато новенький гаечный ключ, но так и не нашел. Ему хотелось поскорее убраться на сеновал: в избе было душно, порядочно надоела своим ворчанием мать, да и, ко всему прочему, он чертовски сегодня устал и хотелось спать; ключ он наверняка оставил в машине. Сопрут еще! Шоферня подобралась веселая...

А тут еще ненавистная Настя, или Настасья Романовна, как ее величают все, начиная от председателя колхоза до сторожа, сказала ему: «Вашу машину списать пора, вот почему я ставлю ее в конце колонны. У нас нет времени по пять раз останавливаться в пути на элеватор из-за ваших неполадок».

Разве он виноват в этих неполадках, если машина стара? И уж если срамить его, Митьку Глобу, перед дружками, так надо ответственно ей самой, лично, как механику, повозиться с грузовичком, а не только тыкать неполадками в лицо.

Невзлюбила, это ясно. «Не-по-ладки! Знаем мы, когда и почему невзлюбят по личной и по общественной линии!»

Перед глазами все еще маячили облака пыли и солнце, катящееся темным пятном за машинами. Дороги он не видел уже несколько дней: стекла кабины закрывал задний борт предпоследнего грузовика. Вот ведь, как приехала Настя, он каждый день не в духе...

Он сидел за столом и лениво пережевывал хлеб и огурцы и ждал, пока мать подогреет во дворе борщ. Злой, уставший и небритый, он обводил тяжелым взглядом колхозную серую площадь, на которой возле церк-

ви — зерносклада — был ссыпной пункт. Там около горячих черных бревен изб стояли весы и мешки с пшеницей, такие же тяжелые, как и он сам.

Было одиноко, неспокойно каждый день, и в голову лезли мрачные, злые мысли о неустроенном, о потерянном навсегда: батю убили фашисты в первые же дни войны, матушка постарела в военные годы, когда в тылу, у них в колхозе, был сплошной матриархат и она, работая с другими бабами, как мужик, надорвалаась, да и он, Митька, вдоволь погонял коров по мерзлым пашням мальчишечкой в обнимку с голодухой...

Пришла мать, светлая рябоватая старушка, радостно поставила на стол борщ, завздыхала и стала воровато поглядывать на него, чего-то выжиная, как всегда, когда хотела что-то сообщить. Он нежно ее попросил:

— Ну, говори!

Засуетилась:

— Слышала я опять нехорошее про тебя, сынок. Будто видели, что ты Настю обидеть намеревался.

— Че-го-о?

— Платье порвал. Жаловались на тебя. Дед-то ее грозился руки-ноги тебе обломать. Я, говорит, своему Змею Горынычу и то и се поделаю, попадись он мне на ровном месте.

Митька захочтал так громко, что чуть не задохнулся. Даже мать испуганно посмотрела на него.

— Ну люди! Ты, мать, почаще мне об этом напоминай. Завтра своего Митрия Савельича, по их слухам, на вечный отдых понесут и все встречные будут говорить: «Привет, кого хороним?»

— Угомонился бы ты, сынок. Под тридцать ведь уже. Говорят, пока ты в тюрьме сидел, мир и покой был.

Потом мать начала хвалить борщ, грустно помянула бога, осматривая пустую бутыль вишневой наливки, невзначай сообщила о том, что купила новые подушки и красное пуховое одеяло за сорок рублей и что ждет не дождется великого часа, когда ее кормилец и поилец настоящим-то человеком поделается да в мужчинский образ войдет с красавицей под руку.

— Опять же Настя... девка на виду у всех, душелюбая, вся из ума сшита! И красивая, ну прям портрет! А ты ее... бить!

— Отстань, мамаша! Просто отхлестал я ее по мягкой спине за хорошее дело. М-м! Непонятный сегодня ужин. Кто же в борщ-то много гороха кладет?

Конечно, люди могут приплести и не такое, но он-то лучше знает, как это было.

Несколько дней назад менял на элеваторе шины, возвращался вечером, последним. Ехал быстро, весело, один. Видел всю дорогу — свободную. На окраине деревни, у каменного оврага, чья-то машина застряла на мосту, свесившись покалеченным бортом.

Подъехал, начал сигнализировать. Из-под моста вышла Настя. Стоит и молчит. Красная вся. Вышел и он из кабины. Вот тебе, пожалуйста, сюрприз. Начальство село в лужу! Как шофер шоферу он законно должен помочь, но решил обождать, посмеяться малость, отомстить за свои румянцы перед шоферами.

У Нasti был воинственный ожидающий вид. Без комбинезона, в куртке с «молнией» и короткой юбке, рыжее пламя волос прихвачено косынкой, в сапогах, она стояла и чего-то ждала, очевидно помочи, а он, ухарски сдвинув кепку на затылок, пнул два раза ногой скат и, презрительно глядя на нее, покачал головой:

— Эх, какую машину угробить! Надо же! А еще механик, гром тебя расшиби! Рыжая цапля ты длинноногая, а не механик...

Она ахнула, задохнулась, ошарашенная, откачнулась и с потемневшими глазами гневно раздула ноздри:

— Ну, вот что, хороший...

И вдруг стремительно ткнула кулаком ему под дых.

Он издал что-то похожее на рев, согнулся и, побледневший, ловя воздух ртом, повалился как куль.

Настя застыла.

Потом он привстал осторожно, поднялся и шагнул к ней. Она отпрянула, вскинув руки вперед, словно защищаясь.

Подумал тогда: «Умоловчу! Зашибу!» — и занес кулак над ее красивой головой.

Настя упала на колени, улыбаясь испуганно и виновато, со слезами, и глаза ее дымчатые вдруг посмотрели на него так доверчиво, влюбленно и так печально, что он присмотрелся.

Сел рядом, вздохнул и закурил.

— Не бойся. Баб не луплю.

Сказала, отдохнувшись, мирно:

— До бабы мне еще далеко.

— М-м! Гляди-ка!

И, словно проверяя, легонько ударила ладонью по тугим грудям.

Вскрикнула, выдохнула: «Ой!» Натянутая юбка сдвинулась, открыла белые колени.

— За что это?

Рассмеялся:

— Прикрой ноги! Раскрыла, как в заграничном кино. Мода! Туда же!

Настя всмотрелась в него и своим грудным девичьим голосом тихо произнесла:

— Нахал.

Он не ожидал этого, как не ожидал предательского удара, и ненависть вспыхнула в нем с прежней силой.

— Добавь еще — Змей Горыныч, добавь — бандит, хулиган, пьяница!

И ринулся к ее машине, подложил под колеса бревно, зацепил за заднюю ось трос, сел в свою кабину и, рванув, выволок машину Нasti на пригород, ругаясь и чертыхаясь.

— Тебе за порченую машину вот как надо, вот как надо...

Настя рванулась от него, блузка ее треснула. Задохнулась от стыда и боли, закинув руки за спину, и услышала спокойное:

— А теперь беги, жалуйся!

— Никуда я не побегу. А ты негодяй и... — губы ее дрогнули.

Ему хотелось узнать, кто он еще, кроме «негодяя», но она уже поехала, и он только оторопело смотрел вслед.

...Вот как это было несколько дней назад, а уже кто-то их видел, кто-то раззвонил по селу.

Не могла же она сама рассказать всем об этом?! Ох уж эта Настя Романовна! В общем, в печенках она у него сидит, вот где.

Он вышел во двор и присел на крыльце покурить. Вечерние сумерки, мягкие и теплые, сгущались, в домах уже зажигали огни, и на улицах слышались девчоночки голоса — сзывают парней за околицу. Где-то

развернулась гармошка, зачастили частушки. Все как всегда. Только песни стали петь другие, все больше про космонавтов. Митька дымил сигаретой, на сердце лежала непонятная грусть, наверное от того, что из частушечного возраста он уже вышел.

Да, вымахал за эти годы кормилец-поилец в здоровенного ребенка, а вот податься некуда. Скоро загремит золотая осень, свадьбы заголосят по селу с одного конца на другой, дым пойдет коромыслом, и каждую ночь до самого утра будут «шуметь камыши»... Хорошо в это время! Все зовут в гости — баянист нарасхват, и на всех свадьбах не понять, кому больше внимание: жениху с невестой или баянисту — Митьке.

Он любил эти праздники, и добросовестно кружил счастливых крестьян в вальсах и разных барынях, и радовался вместе со всеми, и многие молодухи дарили ему зовущие взгляды и, что греха таить, горячие поцелуи. Иной раз, глядишь, какая-нибудь так завздыхает, что, вместо барини, да и срежешься на что-то грустное.

Свадьбы — это тоже работа, культурно-массовая. Иной раз умаешься на баяне потяжелее, чем на пашне. Зато весело, будто и родился для того, чтобы музыкой утверждать новые семьи молодоженов. Часто было — завидовал жениху и невесте, от веселья думал, что у них впереди не жизнь, а сплошной праздник! И хотелось самому жениться на красавице, а другой кто попахал бы на баяне в честь его, Митькиной свадьбы. Но ни к одной душа не лежала, и так отцветала осень одна за другой... Не хватало ему чего-то для сплошного праздника, не хватало. Не было у него ни с кем того, чего вдоволь хватает в кино и в книгах. Мечты не было, любви и большой дружбы... Видно, он на такое не способен, нету — и все тут!

Митька с досадой бросил окурок и притоптал сапогом. В клуб идти не хотелось: там уже третий день крутят одну и ту же картину.

Перед глазами мысленно вдруг предстали синие глаза и круглые румяные щеки Настасьи Романовны, будто она хохочет и зовет, зовет куда-то в ночную звездную степь, и голос ее слышно, тихий и ласковый...

Он подождал, послушал, как бьется сердце, усмехнулся тому, что приблазнилось, и, вздохнув, махнул рукой.

Стог свежего сена прилепился к сараюшкам Митькиной избы прямо на озерном берегу около ветел. Митька забрался наверх, упал спиной в сено и, забросив руки за голову, стал смотреть в небо на звезды.

Со степи потоком плыл горячий сухой ветер, пахло полынью. С озера доносился шелест камышей, и слышно было, как под их опахалами дышит теплая вода. Деревня между степью и озером погружалась в ночную дрему, и над нею, как ночной сторож, уже замаячила задумчивая луна.

Митька вспомнил, что они с Настей вернулись в колхоз весной: она из училища сельской механизации, а он из «тюремного дома отдыха». Отсидел, как положено, свои три года за то, что торганул запчастями на выпивку...

И ничем он не торговал. Просто пригласили дружки выпить, а потом свалили на него. И все поверили. Здорово он тогда обозлился. И уже на следствии в суде говорил и утверждал: «Да, это я украл запчасти, и продал, и пропил», — словно мстил.

Освободившись, он хотел покинуть свою степную окружу, распродать и дом и все плетни-пожитки, вызвать к себе мать и навсегда прописать свою молодую жизнь в городе. Это решение пришло, когда он вышел на свободу, в жизнь за широкими воротами, на свободу, в которой было много простора, света, длинных дорог, улыбающихся людей и вообще нежных девушек.

У него не было тоски, грусти и скуки, а было такое чувство восхищения, полета и благодарности, что и вежливость прохожих, и чириканье бестолковых воробыев рождали у него желание смеяться, пожимать всем руки и поздравлять всех с днем рождения!

И хотелось остаться именно в этом городе, где он сидел, и каждый день чувствовать это — свободу.

Но родная сторонка так позвала к себе, так скрутила сердце, что он до слез жалел, что у поезда такая паршивая скорость — всего семьдесят километров в час.

И он приехал к себе, туда, где все было родным и знакомым и где тоже не перевелись хорошие люди и светлые души.

Жить на степи, пахать, сеять, быть шофером — веселым, удалым работягой — и тоже, как додумал один

поэт, «своим трудом поворачивать шар земной», — к этому он давно прикипел душой. Ну, и добро! Лишь бы стояла над миром эта вечная синяя тишина с жаворонком, да дышали бы мартовским паром бархатные пашни, да одеть бы всю землю пшеницей, как золотой шубой, — в ней ей теплее, — чтоб всего было много и всем вдоволь и чтобы стыдно стало плохим и хорошим людям ковырять ее пулями в проклятый военный час...

Вот ведь какие мысли лезут в голову!.. М-да-а...

Послушала бы Настя об этом, но она никогда об этом не узнает, потому что пошла наперекор всему, что было дорого ему и любо, в тот самый день, когда вышел на работу, когда и началась вся эта свистопляска.

Не было горшней обиды, когда его, первоклассного водителя, стали мотать по разным работам. Терпел. Но потом взорвался. Все началось с того, что поругался с председателем колхоза и с Настей — словно в насмешку дали захудалую машину в шоферской колонне. Не хотелось при всех говорить — это потому, что он бывший ЗК, — ясно и так.

Затаил обиду на всех, а на нее особенно. Как же, начальник колонны, механик!

Ну, допустим, начальства он повидал на своем веку побольше, чем она. Не успеешь родиться, как над тобой их ни много ни мало, а роскошное число.

Вот и она, начальник над транспортом и водителями, стала одаривать его выговорами. И главное, не стесняется и при всех!

Он помнит, как разозлился однажды, шли вместе, подставил ей ножку, в ковылях ног не видно, — и она растянулась на виду у всей колонны. Встать помог, сочувствя, будто нечаянно все это произошло, но запомнил, радуясь, ее гневные глаза, ставшие такими же рыжими, как и волосы.

С тех пор возненавидели друг друга.

Ее все слушались и любовались ею, да и он тайком любовался, но по-своему, по-особенному. Он всегда ждал, что она сорвется при тяжелых положениях, тех, когда и шоферы-мужчины чешут затылки, но она не теряла головы и свое дело «знала с прицепом!».

Вот тогда он любовался ею. И от зависти становился грустным и злым: им любоваться не за что, рылом

не вышел, с худой славой, да и не с его мозгами земной шар ворочать.

Почему-то сейчас в голову лезут одни обидные воспоминания, а глазам больно от слишком ярких звезд и нахальной луны, расплывшейся от самодовольства.

Ишь — ее сиятельство!

Посмотришь, так подумаешь, что, кроме нее, на свете и никого нету. Скажите пожалуйста, одолжение делает — светит! Вот и Настя... Настя.

Не дотронешься — взорвется! Тоже — ее превосходительство! А сама, наверное, втихомолку замуж готовится, кого-нибудь ждет не дождется.

При одном особо обидном воспоминании на Митьку накатила такая злость, что ему захотелось посыпать с неба все эти звезды и луну и побросать их к чертовой матери в озеро.

Ведь надо подумать, какая сеялка-веялка однажды произошла!

В воскресенье, как раз перед уборкой, в праздник, выпил, что ли, лишнего или просто толкнуло, шел мимо ее дома...

Вот ведь, когда ненавидишь кого, тянет к этому человеку и думаешь много только о нем.

Шел и увидел Настасью Романовну в саду. Стоит босая, в платье без рукавов с зелеными и желтыми разводами, развешивает белье на тонкую проволоку, туго натянутую между плетнем и тополем, в который вбит крюк. Крюк угрожающе торчит в стволе тополя, огромного, с густой разросшейся листвой. В полнеба тополь.

Залюбовался: тутое белое тело, в общем, красивая как в кино. Осторожно поправляет свои рыжие волосы, проводит ладонью по лбу и щекам. А глаза, глаза большие, синие — смеются. Дымчатые такие глаза, загадочные.

О чем она думает? Хотел заговорить, поприветствовать, но не было предлога, да и ругались — помнит.

Пошел в степь, к полевому стану, к березам. Там и нарывал цветов в большой букет, разных, со всей поляны, даже махровые и колючие шишки татарника для красоты. И понес ей, так, между прочим.

Всю поляну принес. По дороге, в чьем-то палисаднике, маков добавил для пущей важности.

Шел под лай степных волков, как на подвиг  
шел. Подошел прямо к ней, откашлялся.

В зеркальце, тоже на тополе, она увидела его отражение — и растерялась.

— А-а, Глоба! Фу-у! Пьян-то ты как!

Она только на работе на «вы» величает.

Сунул ей в руки букет. И забоялся. Думал, букетом так и погладит по фотографии.

Нет. Только презрительно бросила цветы в плетень: «Сорняк!» А там — курицы... Разбежались, покудахтали удивленно, а потом сбежались, стали клевать — расклевывать маки. Летели в сторону красные лепестки, как искры.

— Та-ак! Курам на смех, значит?! Эх ты! Кукла степная...

Сказал, да и нечаянно обнял. Побледнела, ударила по рукам и шепотом:

— Ненавижу.

Ненавижу... Вот как она тогда сказала. Это похлеще, чем: «За мной, мальчик, не гонись».

Ну, да он не в обиде. Подумаешь! А кур он вообще бы передушил. Нахальный народ.

...Митька повернулся на бок и стал грызть какую-то горькую травинку. Ему хорошо было сейчас лежать в душистом сене одному, ворошить воспоминания и выбирать самые мстительные из них.

Уж он-то умел мстить тому, кого ненавидел.

Вот, например, как она пришла к нему домой, сама пришла. Он сидел тогда за столом, отужинавший, и раздумывал: к кому бы сходить в гости. Дружков много, вот и ломай голову. Ягодная бражка у матери кончилась, а без нее было скучно. Как-то сухо во рту, и в голове тишина.

И вот не вошла, а прямо-таки вбежала драгоценная Настасья Романовна.

Мамаша даже присела, то ли залюбовалась ею, то ли испугалась — не натворил ли опять чего-нибудь сыночек.

Сообщила этаким уже не командирским голосом, а прямо-таки нежным, — мол, сделайте одолжение, просьба к вам.

— Товарищ Глоба! Здравствуйте. Я всех собираю. Степь горит! Надо спасать хлеб. Все тракторы, машины

и мы должны быть там. Собирайтесь, пожалуйста, быстрее.

Будто и не было того «ненавижу» и расклеванного букета. Ну, хорохорился, понятно, закуривал, расспрашивал — что, где и как. На все коротко отвечала, а сама тряслась от гнева, чувствует издевку. Хоть виду не подает, терпит, а испугана чем-то очень.

Нарочно медленно собирался. Уж он-то знал, как с пожаром в степи бороться. Обойдется! Тогда беда, когда хлеб горит. А степь, она каждое лето полыхает.

Для сведения матери крикнул:

— Пошли, невеста!

И полуобнял. Не оттолкнула, наверное, торопилась. Уходя, заметил, как ойкнула матушка, от бабьей радости, должно быть, или от гордости за него.

Настя бежала впереди, тяжело прибивая сапогами дорожную пыль, и он заметил в ее растрепавшихся волосах синий полевой цветок — вот-вот упадет. Горизонт был черным, потом они различили в дыме красную скакообразную стрелу огня, услышали крики, кашель и железное тяжелое движение тягачей в дыму. Людей было много, огня больше. Очень много детей, Митька еще удивился: вот нарожали! Они темной кучей бегали у дыма и зачем-то бросали в огонь камни.

До пшеницы от огня было километра два, и тушители отступали перед ним, а он набрасывался на них. Он, огонь, медленно шел по степи, как хозяин, вырываясь будто из-под земли, поднимался в небо и, звеня, пропадал в дыме.

Настя крикнула:

— Митя, смени! — и толкнула Митьку в спину. Он сел на трактор, кивнув кашляющему парню, и въехал в дым, нажимая на рычаги. Уж он-то сейчас опояшет черным поясом огонь, тут красный петух и отлетает! Где-то сбоку шипели беспомощные, снятые с пожарного стенда огнетушители. Горела земля, гудела, трещал выстрелами сухой ковыль, а огонь шествовал тяжелой горячей стеной, подгребая под себя землю. Было смрадно, и душно, и жарко, будто шлепают тебя наотмашь раскаленной ладонью по лбу, по шее и по губам, а в глазах словно песок, и больно им от красного цвета.

Нет ничего противнее дышать плотным горьким дымом и чувствовать страх оттого, что можно за здоровое

живешь сгореть под огненными крыльями этой красной птицы, как бы с другой планеты, когда неестественно много огня, будто загорелась природа и вот-вот взорвется воздух.

Взлетали вверх неуклюжие жирные перепела и молча падали в огонь. Митька, отплевываясь от гари, пахал самозабвенно землю, двигал трактор вперед, чувствуя себя чуть-чуть геройски, потому что рядом где-то Настя. Он здорово проклинал себя за то, что дома распрашивал ее: где и что горит... Уж этой наглости она никогда не забудет и не простит.

Он повел машину наперерез огню и в дыме увидел освещенную, будто в красном платье, Настю, она, как жар-птица, билась и порхала в дыме вместе с другими, натягивая брезент на огонь и падала, подминая его под свою грудь...

Он чуть не наехал на нее, прогремел рядом, почти у плеча, она одарила его белозубой улыбкой и погрозила кулаком.

И огонь погас. Отлетала по степи огненная птица, сложила свои крылья, они стали дымными, а потом черными, — и все стихло. И тогда зашумели люди и пошли к роднику умываться. Все пошли, и Митька и Настя с ними.

С далеких долин и гор потянул свежий ветер, покачивая облака.

Митька был рад, что степь потушили и не дали огню перекинуться на колхозное изобилие. От озорства он перепахал дорогу с полверсты — хоть хлеб на ней сей!

А потом с неба полился голубой дождь. По зеленым густым березам, по роднику, уложенному каменными плитами, по ковылю и горячей пыли разбитой дороги зашлепали тяжелые, крупные голубые капли, как бусы, одна за другой, и воздух засветился, стал плотным и синим, солнце резало его длинными мечами лучей и освещало белые тугие бока облаков.

Они, тушители, все задымленные и чумазые, сгрудились у стога прошлогодней соломы и хохотали, кричали, как детский сад, от непонятной радости, от того, наверное, что опасность миновала, огонь погиб, пропал, хлеба с тяжелыми и впрямь золотыми колосьями стояли так же спокойно, как и тысячу лет назад, и перева-

ливались по увалам к небу, под разноцветное колесо радуги, как из сказки.

Настя смеялась громко и подставляла дождю ладони, как маленькая. Он тогда был чумазее всех, потому что вдобавок прошагал по черному степному пожарищу и насобирал жареных перепелов, которые погибли в огне.

Принес всем, удивленным, целую связку за плечами и раздарил, и все ели, запивая водой из родника. Настя тоже ела и тоже хвалила, а глаза у нее блестели, а он хмурился и смущался от ее внимательных и радостных взглядов.

Ему тоже было весело и хорошо на душе, потому что он был со всеми и с Настей, потому что росло у него на сердце ко всем уважение, как к людям, которые сообща пахали, сеяли, растили эту пшеницу, сообща же отстояли, сберегли ее от огня, и он был среди них не на последнем месте, а самое главное: Настя была совсем другая, добрая, и хорошая, и радостная, и эта ее радость передавалась ему и была, чего скрывать, очень приятна.

...Митька вздохнул, в груди его как-то сладко защемило, он посмотрел в небо, отыскивая самую крупную звезду, будто собирался подарить ее Насте.

Он любил смотреть на звезды. Лежишь один, а перед тобой целый мир, и разные веселые мысли приходят в голову: мол, откуда там, в небесной тишине, столько звезд, — ведь это черт-те знает какие неведомые миры, к которым уже начали подбираться космонавты. И там жизнь, и там люди, он читал об этом в одной интересной книжке.

Если долго и пристально смотреть в небо на звезды, то кажется, что они все ближе и ближе и поворачиваются тяжело и медленно, как другие земные шары, и чудятся на них горы, и леса, и дороги, и речки, и слышатся жаворонки...

Занято!

А вот он, Митька, лежит на сене, на своем земном глобусе, и ждет не дождется, когда можно будет слетать туда с концертом художественной самодеятельности, уж он бы постарался сыграть марсианам на своем баяне что-нибудь про «Амурские волны»!

Мысли уносили его на другие планеты, в другую,

неземную жизнь, к другим людям, которые в его представлении почему-то были похожи на манекены, что стоят в витринах универмага хорошо одетые, с грустными лицами. Конечно, он бы слетал к ним погостить на недельку-другую, но потом ему становилось жалко оставлять Землю, на которой все наяву: и степи, и березы, и веселые дружки-шоферы, и мать родная, и Настя, ну вся земля, а не какой-нибудь сон или мечта, к тому же там еще пока ничего не известно, какие такие учреждения, и все неясно, туманность Андромеды в общем, и к марсианам лететь не хотелось.

А здесь вот он, тут, живой Митька Глоба, житель Земли, не последний в человечестве работник, правда неженатый еще и аккуратно платит бездетный налог, но и у него, как положено, в скором времени будет жена, ведь когда-нибудь да должно привалить это счастье и вся остальная кучерявая жизнь?!

Когда он думал о том, что ему придется жениться, то среди всех знакомых девчат отмечал почему-то Настю, вот на ней он бы женился, но тут кусай локти — до нее ему красотой не дотянуться, да и не пойдет она за него, уж это точно, хотя и не высока птица, а только много из себя представляет, будто другой такой на свете и вовсе не сыскать, хотя и это тоже точно!

Он, конечно, давно понял, что любит ее, и долго не признавался себе в этом, думал — пройдет, думал, что это просто так по утрам ошалело стали петь птицы, а ночью сниться всякие нежные разговоры, от которых на другой день непременно хочется совершить подвиг другой, чтоб все ахнули и чтоб Настасья Романовна ну прям растаяла... Но это не проходило, а как пламя нарастало, как бедствие, с которым он не знал как совладать, и растерялся, и все у него стало как-то наоборот.

С некоторых пор он стал замечать, что разговаривает сам с собой (попался, значит!), просыпался рано и полюбил рассветы и закаты, цветы и птиц, звезды и солнечные дали, уходящие куда-то за горизонт, и все, что за ним, что называется его страной, в которой он живет вместе с другими, и вообще на земле с любовью жить можно, чувствуешь себя так, словно каждый день у тебя день рождения.

Он стал замечать теперь, что люди часто улыбаются, это, конечно, их дело и он не против, жаль только —

Настя почему-то не улыбалась, и он очень удивлялся. Его потянуло к стихам, которых раньше терпеть не мог, их было много и все про любовь, словно это в жизни самое главное, и писатели так ее расписывают в книгах, что можно подумать: без нее человечество наверняка погибнет.

Митька о своей любви не говорил никому, он носил ее в себе, как тайну, скрывал ото всех, боялся, что кто-нибудь подсматрит и узнает, — мол, вот тебе и на, Глоба влюблен, — и тогда все развеется, пропадет, погаснут мечты, золотые сны и все нежные разговоры и он хоть и не померт, конечно, а заговориваться станет еще больше, уж это точно.

Ему было радостно сознавать, что Настя ничего не знает, и это для него было как игра в кошки-мышки, ему нравилось досаждать ей, быть презрительным, изводить ее. Ему и в голову не приходило, что это плохо, мерзко и непростительно, хотя потом и раскаивался и ругал себя, но ничего не мог поделать и продолжал так же, дальше и больше досаждать и грубить ей, и все это он делал от того, что он любил ее, один любил, и еще от того, что не было у нее ничего навстречу.

...Митька уже в полусне, в полуудреме видит то широкую степь с ястребом, то дорогу, уходящую белой лентой в небо, то солнце, режущее глаза, которое расплывается, покачивается и улыбается огненной улыбкой, будто оно не солнце, надоевшее в эти жаркие дни всем, а Настиного лицо. Вот это лицо помрачнело, пропало за тучей, и хлынул тяжелый холодный ливень, ударил гром, и засверкали молнии, а люди забегали на колхозном току, растерянно размахивая руками, не зная, как спасти хлеб. А Митька знает. Он трактором натягивает на зерно брезент, а Настя кричит, и брезент выскользывает из ее рук. Вот ее сшибло с ног и закрутило в брезент. У него вздрогнуло сердце, и он помчался спасать ее и, конечно, спас, а она сказала ему «отвернись», потому что у нее разорвана юбка и видны бедра, как у балерины. Он, конечно, отвернулся, и она ему сказала, что он хороший. Вот натянутый трос порвется, и она идет к скрученной ленте троса. Вот появляются истрапанные, истершиеся, разорванные проволочки, похожие на мочалу или радиоантенну, трос разорвется сейчас и ударит по ней, сшибет с ног...

Он закричал ей: «Не подходи!» — и проснулся от собственного крика.

Кругом тихо, ночь, он на стожке.

Приснится же такая блажь, аж страшно! Хорошо, что это все во сне, и, конечно, жаль, что только во сне она сказала ему, что он хороший.

Недавно она тоже приснилась ему по-смешному. Будто они едут на самой лучшей новенькой машине вдвоем в загс, который почему-то находится на элеваторе. Настю пустили, а его почему-то нет. У тебя, говорят, неполадки и Змей Горыныч ты, нужно, мол, фамилию сменить, а невесту, Настю, сдать пока на склад. Умора!

Вообще это так бывает: вот видишь во сне человека, девушку знакомую, например, и говоришь с ней обо всем и всюду бываешь, во сне ведь все можно, а проснешься — такое на душе хорошее, будто любишь ее давно, и долго-долго вспоминаешь сон и жалеешь, будто все, что приснится, в жизни запрещено.

Митяка улегся поудобнее. Ему бы спать да спать, а он вот, поди же ты, все думает о Насте, зазря мучается душевно, а она наверняка дома, сидит себе и сливки распивает перед сном для румяности. Вот тигра!

Где-то в夜里 неожиданно кукарекнул петух. Тоже приснилось что-нибудь этакое бедолаге.

Митяка зевнул с запоздалым смехом и закрыл глаза.

Ночью сквозь сон он услышал, как кто-то шумно плескался у камышей, прямо перед ним. Он открыл глаза, над стожком висели тихие спелые звезды, остро пахло зеленым сеном и горячей полынью, на лугу в лопухах и крапиве фыркали кони, глухо били землю передними связанными ногами. По озеру и по небу плыло по луне, темные избы спали, и над всем этим стоял покой, теплая августовская ночь.

На озере кто-то плыл по лунному отражению, часто шлепая по луне ладонями; она дергалась и билась, как большая белая рыба, дробилась и расплывалась кругами и качалась вокруг чьей-то черной головы.

Он набросил на плечи пиджак, закурил сигарету и всмотрелся в того, кто купался в луне, но никак не мог рассмотреть — купальщик часто нырял.

Тогда он осторожно, стараясь не шуршать сеном, сполз на землю и пошел по берегу.

«Далеко заплыл...» — одобрил он, и ему захотелось тоже поплавать в прохладных водах и тоже понежиться в лунном сиянии. Это, наверное, очень здорово! Вот ведь какой-то чудак придумал все-таки это дело, а он не догадался раньше. И сколько ночей задаром прошло, извольте радоваться! Ишь, плывет, захватил луну и шлепает по щекам, будто жену собственную.

Он подошел к сгорбленным раскидистым ветлам, стал ногой на камень и тут заметил на суку одежду. Без сомнения, это одежда того нахала, что сейчас играет с луною в кошки-мышки.

На душе было одно неудовольствие и злость от того, что кто-то, а не он плавает по озеру с луной под мышкой, кто-то, а не он наслаждается природой как хочет и по своему усмотрению, кто-то, а не он...

В другой раз ему на все это было бы наплевать, пусть бултыкается, ныряет себе сколько угодно, даже утонет, но сегодня почему-то обидно лезть вторым в воду, а тот, первый, и не думает выходить на берег. Смотри-ка, мурлычет что-то себе под нос. Уж не русалка ли это там грудастая извивается? Уж он бы поговорил с ней как следует, чин чинарем!

Нет, не русалка, те без одежд живут, разве что в исподней рубашке. Он видел на картинках.

Митька подошел к стволу, схватил одежду и чуть не вскрикнул. На суку висело платье, Настино платье, без рукавов, штапельное с зелеными и желтыми разводами, только сейчас, ночью, цветы были черными и белыми. И еще он заметил: стоят у ствола беленькие босоножки.

Ну и ну!

На ветлах висела голубая паутина, от ветвей до ветвей, и листья тоже были голубые, а ветви опущены в воду, наверное, глубоко, и было похоже, что ветлы пьют лунную воду и никак не могут напиться. Сквозь ветви в просветы видна луна, будто запуталась в листьях и вот качается на них, круглая и самодовольная, как чье-то лицо. И так было красиво и странно, вза-правду все это, чего он раньше и не замечал, и все походило на знаменитые стихи Александра Сергеевича Пушкина...

Мол, у лукоморья дуб зеленый, а здесь озеро и ветлы, и златая цепь на дубе том, на ветле, значит, висит голубая паутина, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом... Вот кота, понятно, нету, а что касается дальнейшего, то все в точку: и чудеса, и леший бродит, это, конечно, он, Митька Глоба, леший. Ну, а русалка на ветвях уже не сидит, надоело, и плавает Настею по озеру в дружбе с луной.

Он выругал себя за то, что хотел созорничать, спрятать ее одежду, и спрятаться самому, и смотреть, как она напугается и будет искать его, чтобы он отдал все обратно — и платье, и босоножки, но он честно выругал себя и решил этого не делать.

От платья пахло теплом — ее телом, будто он сидит у костра и вдыхает вкусный дым, а щеки горят от пламени, а вокруг тепло и пахнет березой.

Он аккуратно повесил платье на сук и побежал к крапиве, где паслись лошади.

Потом он увидел, как Настя вышла из воды, вся блестящая и сверкающая, распрямилась на берегу, тугая и стройная, и стала совсем непохожей на Настю, что в шоферском комбинезоне, а на красивую пловчиху с плаката.

— О-о! Гром тебя расшиби... — с восхищением, заглатывая шепот, вздохнул Митька и залюбовался-засмотрелся на ее голубое тело. — Ну-у, русалка!..

Ему хотелось побежать к ней и обрадовать, сообщить, что она похожа на русалку, — должно быть, ей это было бы приятно, — но он не побежал, и все смотрел с радостью и хорошим стыдом, что он один, только один видит ее при лунном свете.

Она встала на камень, ну совсем как физкультурница, готовая прыгнуть со скалы в холодные глубины.

Он наблюдал за нею, старался не проморгать ни одного ее движения, так все было красиво, уж это он точно видел, — и как она стояла на камне, и как она подносила руки ко рту, наверное, брала приколки, скоженные губами, которые он ни разу не целовал.

И что это ему пришла в голову такая блаженная мысль, будто он, Митька, может поцеловать Настину губы и смотреть в Настину глаза? От этой мысли стало тепло, и смешно, и странно, будто все наоборот, и они с Настей давно подружились, и нет больше ее, На-

стасьи Романовны, и его, Митьки Глобы, и нет их ненависти, а только он и она.

Она надела платье около ветел, сунула ноги в босоножки и, словно раздумывая, постояла немного и пошла к камню, села и, положив руки на колени, о чем-то задумалась.

Сидела она долго. И было тихо. Такая тишина, что слышно, как луна звенит.

Потом ему вдруг показалось — она плачет, потому что прильнула к коленям, обхватив голову руками. И столько одинокого, грустного было в ее фигуре на камне, при луне, что у него где-то под сердцем толкнулась жалость, и эта жалость была болью для него самого, потому что ведь плакала она определенно от его, дурака, обид и оскорблений.

Он медленно и тяжело направился к ней, готовый не то чтобы упасть на колени и покаяться, а просто вела его к ней какая-то тихая печальная сила, невесть откуда взявшаяся. Пусть отругает, пусть прогонит, а только вот он подойдет к ней, и все!

Она услышала его шаги и вздрогнула:

— Ой, кто?!

Он чувствовал, как толкалось и билось сердце и как разом нахлынувшее волнение забило дыхание. Ему хотелось ей сказать что-нибудь милое, что обычно говорят младшим.

— Я это. Дмитрий Глоба. Вот шел, смотрю — русалка на берегу. Уж не ко мне ли в гости приплыла, думаю. Закручу любовь! Обнародую!

Она встала и неприязненно взглянула на него, будто он здесь лишний и помешал ей, и неприятно ей от того, что он появился тут и торчит, когда она, может быть, думала о чем-нибудь хорошем. Боясь, что она уйдет, и задетый за живое ее равнодушием, он безразлично спросил:

— Ты что... плакала? Об чем ревела?

Вот опять он начал грубить ей, грубить здесь, когда никого вокруг, только они и луна, и вокруг так светло и хорошо, грубить, как будто для этого не хватало дня!

Она поправила волосы мягким, округлым движением рук, и ему увиделось в этом что-то лебединое, и он стоял и ждал, что ответит она, каким голосом и ответит ли вообще на его вопрос, о чем она плакала.

— Ревела о том, что хорошо уж больно на свете жить.

И боль в голосе, и ироническое безразличие к нему в этих ее словах неприятно резанули его по сердцу, и он уловил скрытую насмешку, согласился нарочито весело:

— Да-а. Я и то смотрю. Природа кругом, благодать и... слезы. Несоответствие!

Ему было понятно, что разговора душевного не будет, а в том, что они сказали друг другу, была отталкивающая пустота и та холодность, когда не знаешь, что говорить дальше, и только тишина, как натянутая струна, нemo дрожит, вот-вот порвется. И вдруг Настя заговорила, отвернувшись от него, глядя куда-то в темноту, под ноги, в корневища ветел, вылезшие из-под земли, заговорила тихо и печально, словно тоскуя или в бреду:

— Вот все думаю, почему так в жизни бывает: придет что-то хорошее, радуешься, а потом смотришь — развеялось как дым, безвозвратно. И так становится холодно на душе и жалко, что не вернешь...

Митька прислушался, не понимая, куда она гнет, его тронули искренность и тоска в ее голосе — такой Настю никогда ему не приходилось слушать, и он рассторянно поддакнул:

— Это правда. Хуже быть не может. Хорошее на дороге не валяется.

Помолчали. Митька ожидал снова услышать ее задушевный голос, но Настя думала о чем-то своем, ему неизвестном, и, чтобы скрыть неловкость, он вспомнил, как она играла с луной, похвалил ее:

— А ты, Настя, ничего плаваешь, занятно. Как чемпион Олимпа. А я могу и озеро переплыть.

Засмеялась:

— Не хвастай!

— Плы vem?

— Нет уж! Я свое отплавала.

Она стояла рядом, теребила платье и смотрела теперь куда-то вдаль, поверх озера, и он подумал, что она собралась уже уходить, с такой прощальной болью было сказано это ее «я свое отплавала».

— Знаешь, Дмитрий... Когда-то думала я о тебе много.

Посмотрела ему в глаза, снисходительно засмеялась, пошутила:

— Дуб ты... с мышиными глазками!

Он крякнул от неожиданности, растерялся, не зная, что и как ей ответить на это, а она посупровела и замолчала.

Теперь уж надолго, как навсегда.

А ему хотелось говорить, говорить, о том же, о чем поседала она, ведь он тоже мечтает и тоже кое-что думает о ней, о людях, обо всем на свете и даже о целом мире, что она нравится ему, ой как нравится, и ему тоже приходят в голову мысли о том, почему так в жизни бывает и куда уходит хорошее, как дым, безвозвратно. Но он ничего этого не сказал, только напомнил:

— Утром снова запылим?

— Да. Снова.

Обоим, наверное, представилась желтая пшеница и желтое зерно, машины, дороги, пыль и солнце, потому что оба одновременно вздохнули и почувствовали, что это их роднит.

Она заторопилась.

— Ну, мне пора... — Что-то в ее голосе дрогнуло. — А ведь как хорошо-то быть могло. Эх ты...

И быстро пошла в ночь. И все.

Настасья Романовна ушла в ночь, а он остался на берегу один на один с луной, смотря на которую хотелось взвыть — так ему стало без Насти одиноко, хотя и утешало то, что разговор какой-никакой получился и что он не похож на другие, прежние. Он долго смотрел ей вслед, думая, что она остановится, обернется и помашет ему рукой, — мол, до встречи. Но ее уже не было. Он зачем-то перебрался на камень, где раньше сидела она, и подумал с какой-то тревогой о завтрашнем дне, о встрече с нею, о том, что завтра снова и снова тяжело и много возить на элеватор хлеб, что завтра он найдет момент сказать ей какие-нибудь особые приветливые слова.

Вода из черной сделалась синей и холодной, и зелено-белесые ветви теперь просто зябко мокли в ней, и не было уже голубых паутинок, и не было ночного очарования. Оно осталось во взволнованной Митькиной душе — осталось сонным воспоминанием.

И вот уже откуда-то появились первые лучики солнца, первый утиный выводок на берегу начал пробовать клювами водичку, а Митька Глоба все сидел и сидел как сумасшедший и всему на свете радовался. Уходить ему никуда не хотелось. Он впервые не понимал, что с ним творится и что это такое вдруг на него нашло, а только вот хотелось ему сидеть здесь, на Настином камне, и смотреть на воду, на небо, на ветлы, на пришедших гусей и уток, на все это гогочущее и плещущее птичье сельское хозяйство, и хорошо бы смотреть на все это не только ему одному, а с Настей, и доказывать, что никакой он не дуб, доверить ей, что он ничего парень, вот только характер у него такой скрытный, он себя хорошего-то скрывал, что она знает его плохим и не знает еще, какой он с самим собой на самом деле, что еще не поздно это узнать, проверить и вернуть то, о чем она ему говорила, ведь впереди столько дней и годов, и в каждом из них и Настю и его ждет их личная золотая осень... Но она ушла в ночь пестрым пятном, не остановилась, и осталась только вода и берег, и громадная, чуть покрасневшая луна на горизонте, и он, Митька, с осторожной надеждой и веселым желанием быть с нею рядом, и глядеть в дымчатые дружелюбные глаза Настасьи Романовны, и гладить ее красивые рыжие волосы.

Он словно спохватился: вот ведь, прошел только один день, а он, дурак, мог бы проспать все это, а сколько-сколько дней прошло даром, в которых он только и делал, что издевался над человеком и ненавидел сам себя, и теперь ему стало до боли обидно, ну хоть реви, что он вообще такой растяпа и брандахлыст и не знай кто на свете.

Ох и дураки же, наверное, те люди, кто боится развернуть на полный разворот свою душу и вынуть сердце на ладонь, кто прячет свою любовь и нянчит свое жалкое счастье среди других на планете. Вот и он был таким, а теперь уж нет, дудки, уж он, Митька Глоба, житель Земли, еще осветит себя пламенем со всех сторон и непременно добудет в общую артель жартицу, если, конечно, Настя ему поможет...

Он вздохнул, неторопливо встал и, потянувшись, направился к себе искать гаечный ключ, который еще вчера запропастился куда-то.

# Железное эхо

## 1

За окном густо валил снег.

Мокрые хлопья тихо припадали к сине-черным стеклам и отваливались, будто пугаясь электрического света, куда-то вниз, во тьму, к подъездам многоэтажного дома, к сугробному берегу заводского пруда.

За дамбой ветер просеивал снежную завесу, оттуда доносился глухой гул завода, гудки электровозов, тарахтенье грузовых машин, под окном отчаянно и тревожно звенели трамваи, огни уличных фонарей вздрагивали и расплывались радужными пятнами, а здесь, в теплой комнате, с тишиной можно было сидеть у стола, читать, вспоминать и думать...

Максима Николаевича Демидова вот уже несколько вечеров угнетала эта домашняя одиночная тишина, а от дум и воспоминаний, которых за шестьдесят с лишним лет жизни на земле накопилось многовато, разбалывалась голова, и настроения его, стариковские, подспудные, казалось, дремали где-то под самым сердцем и раздражали колотьем и болью в боку.

Все это было связано с пенсионным бездельем, каждодневным однообразием, с той скучной, установившейся определенностью, когда жить-спешить уже некуда, когда все, что доброго было сработано им в жизни, осталось лишь в воспоминаниях, анкетах, почетных грамотах, орденах и звании персонального пенсионера.

Давно уже примирился с тем, что он, известный и уважаемый в городе человек, знатный мастер-металлург, которому в трамвае всегда давали дорогу, узнавая, теперь вот на покое, и как ты ни бодрись, как ни делай молодецкий вид, расправляя усы, а годы за пле-

чами что железная ноша: чем дальше, тем она тяжелее.

Все такой же широкоплечий, но начинающий полнеть, с голубыми, по-молодому с искорками глазами, с кирпичным темным румянцем на дряблых щеках, с улыбчивыми седыми усами и жесткой щетиной на большой голове, — он выглядел совсем бы молодым, если бы не сутулость в глыбе спины, усталая, шаркающая походка и частая зевота — дыхание от болей в сердце.

Сейчас он сидел, большой и грузный, в кресле, смотрел в окно на снег, слушая по приглушенному радиоприемнику красивую музыку — какие-то раздельные русские песни, — и предавался думам, связанным с горячим делом сталеварения, с заводом, с детьми, которые спали, с недавно умершей женой — незабвенной Степанидой Егоровной, прошедшей с ним о бок целую жизнь, и успокаивал себя тем, что если и он скоро погибнет, то со спокойной душой.

Он не был честолюбив, но все-таки, если подсчитать, эшелонами его стали, пожалуй, можно опоясать земной шар три раза, совсем как три витка у космонавтов.

И не в том беда, что ему по состоянию здоровья уже не встать у мартеновской печи, а только осталось любоваться учениками, и радоваться их успехам, да беречь свой бессрочный пропуск на завод.

Беда в другом.

Когда комбинат не выполнил несколько раз подряд квартальный план по выплавке стали, Максим Николаевич места себе не находил. Хоть и с трудом, но все-таки, к чести металлургов, завод вышел из прорыва. Но осталась, притаилась где-то подспудная тень катастрофы. Маятные эти вопросы о производстве он обдумывал всю свою жизнь и к ним привык, они решались споро им самим и всеми, кто прикладывал к делу руки, а сейчас вот он не у дел и боится, что эти вопросы будут разрешены другими все же не так...

Ему ясно представлялось, что пора рекордов давно прошла, когда коллектив работал на одного человека, которого облекали в почести, раздували славу о нем, вовлекали в президиумную суматоху и игру в передовых.

Такая организация труда хоть и вызывала рабочую зависть, старание достичь уровня передовика, однако

другим концом больно била по остальным, загодя став их в неловкое положение отстающих.

Сейчас это выправилось, уже давно слаженно работают бригады коммунистического труда, давно побиты некогда шумные рекорды и перекрыты нормы, казавшиеся раньше на комбинате да и в стране целым событием, но главное в том, что комбинат за тридцать с лишним лет постарел, поизносился агрегаты, пообветшали цехи, и тут необходимы капитальные ремонты, расширение цехов и улучшение рабочих площадок...

Да, завод постарел, постарел и он, Максим Николаевич Демидов. Завод можно построить новый, переоборудовать старый. А вот как быть с ним, старым металлургом, с другими? Много, ох как много их на покое из железной гвардии!.. Кто по возрасту, кто по болезни, а кто по причине отсталости.

Вся надежда на новые, молодые кадры, на смену!

А тут еще вопрос — едва ли не главный — о человеческой душе, о рабочем-гражданине, о тех, о которых снова поется в песне: «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян». Засела же эта неясная тревога в душе Максима Николаевича и сводится к тому, с какой душой человеку положено сейчас варить сталь, любит ли он дело — как песню поет, или на работе «от» и «до», думает только о большой зарплате, не многовато ли молоденьких, неопытных в металлургии и не слишком ли легко и рано записывают некоторых в рабочий класс. Вот ведь какая мысль пришла в голову...

Да мало ли их!

Взять хоть бы семьи, рабочие семьи... Каждый отец стремится дать образование своим шпингалетам, выводить их в люди. Это хорошо, но плохо то, что не все сталевары, горновые, сталелитейщики готовят себе замену, как это было сплошь и рядом раньше, а теперь, как известно, дорог перед молодежью много — любую выбирай! Они и выбирают: кто в учителя, кто в артисты, кто в доктора. Вот и у него, Максима Николаевича, такая же история. Все дети в ученых ходят. Вся надежда на Олега была, да он, видишь ли, математист большой, в артиллерийское училище собирается. Да!.. Не вышло, Демидов. Не вышло.

Себя-то он не считал отстраненным от металлургии старостью и болезнью, хотя первое время и подсмеивался

вался над собой, мол, оторвался от жизни. А на самом деле вскоре не смог усидеть дома и часто приходил на завод, руководил ответственными плавками, когда их доверяли его ученикам. Это было легко, знакомо и, как всегда, волнующе. В этом была и тихая радость и большая гордость.

Максим Николаевич откинулся на спинку кресла, вздохнул, закрыл глаза. По радио передавали последние известия. Он всегда, прослушав их, уходил спать. Любил слушать последние известия с закрытыми глазами, так слышнее был голос диктора и яснее представлялось то, о чем он извещал народ. А извещал он сегодня особо серьезным голосом о радостном: мол, близится к концу строительство большого горнообогатительного комбината, в Москву прибыл с визитом президент большой дружественной нам державы, многие предприятия у нас уже работают на несколько лет впереди плана, в Лаосе и Алжире народы добиваются своего, несмотря ни на что, американские ракеты продолжают взрываться в воздухе, советский богатырь Юрий Власов побил собственный мировой рекорд, американцам вообще за нами не угнаться, и что по погоде ожидается потепление.

Максим Николаевич открыл глаза, задумчиво протянул: «М-да-а», будто только что побывал в другом мире и был свидетелем всех событий, о которых говорилось, и потянулся к трубке.

Вот так же, сидя за столом, когда-то они с женой слушали вместе последние известия, слушали вдвоем, в тишине, наработавшиеся за день, и словно все, что они делали и думали, относилось с тому, о чем они узнавали по радио, и эти последние известия были итогом.

И так же потом тянулся к трубке, раскуривал ее, слушая радостный или возмущенный шепот жены, комментирующей международные и иные события.

И когда скончалась жена и похоронили ее, когда он в горьком одиночестве слушал радио, ему все казалось, что диктор непременно сообщит самое важное из последних известий, мол, вот ведь какое горе: умерла уважаемая Степанида Егоровна — жена, друг и товарищ знатного металлурга Демидова... И это было бы итогом, итогом их большой и многотрудной жизни. Ее итогом.

Максим Николаевич почувствовал, как запершило в горле, как к сердцу хлынуло что-то щемящее и горячее, он крякнул, по-стариковски, не торопясь, тщательно раскрошил сигарету, насыпал табаку в трубку, подпалил спичкой и, затянувшись глубоко, окутался дымом. Грустно и одиноко. Стеша-а!

Она всегда как бы жила в нем, всегда рядом, в детях, а сейчас вот только безысходная тоска по ней, словно где-то в этой злой тишине ходит она неслышно и голос ее неслышный шелестит ветром в ушах. Все теперь без нее, без догляда, степенной важности и рассудительности. На столе так и осталась лежать сиротливо папка с листочками — рисунками, цифрами, названиями новых заводов, рудников, новых геологических открытий, которые они вместе записывали, дополняли и сверяли по газетам, журналам и радио.

Это было их общей радостью.

А рядом с папкой — тяжелый, темный, ноздреватый кусок чистой руды, который Егоровна привезла с собой, будучи в гостях на Соколовско-Сарбайском руднике.

Привезла обрадовать...

А прямо перед рукой большая несуразная раковина-пепельница, о которую он сейчас постукивал трубкой. Тоже подарок, с моря привезла. Да мало ли что напоминает о ней, что подарено и собрано в тревожное время молодости, любви, работы и жизнеустройства. Всегда смотрел на Степаниду, радовался, думал, что она его переживет и вообще никогда не умрет, а вот сейчас накатила обида на жизнь за то, что с нею соседствует старость и смерть, а еще злость от бессилия, что Степаниду уже не вернешь. Помнит ее еще краснощекой девкой в тополиной деревенской дали... Ну как это было? Ведь он всегда вспоминал об этом, снова переживал, жил... вспоминал как красну девицу, словно из только что прочитанной книги.

Да... Синим вечером плыл за деревней по воздушному океану неба белый, теплый тополиный пух. Сено зеленое, горячее — воз. Батя хмуро смотрит на спины лошадей, а он, Максим, зыркает глазами окрест: на песчаной косе реки парни купают лошадей, на косогоре у сельсовета толпа — это опять буденовец Сенькин кличет митинг, по шляху пылит худое и малочисленное

после гражданской войны стадо. Дзинькают где-то в облаке пыли грустные колокольчики.

Максим уже в женихах, в кузнице у батьки в подручных. Плечи болят: с утра намахался в кузне молотом да весь день — под солнцем, на косовице. Ему тоже грустно. Давно хочется податься на Кривой Рог, к дяде на завод, в город. Батю с оправой жалко. Вот, мол, поставят новый курень да баз, тогда хоть женись, хоть топись.

Въехали в деревню. На окраине застрял чей-то воз — вот-вот опрокинется. Увидел ее и ахнул. Красивая. Гневные черные глаза на белом лице, косы распустились, пышнотелая, чуть не плачет, подпиная воз руками. Конь тужится, рвется вперед и хранит. Максим спрыгнул, виновато взглянул на нее и стал рядом — плечом к плечу. Ожгла взглядом.

— Помогайте.

Наклонился, подставил плечо — и вверх. Воз выпрямился. Посмотрели друг на друга. Алые щеки у нее и улыбка.

Спросил:

— Звать как?

Ответила:

— Степанидой.

Сказал:

— Стеша, значит.

Услышал «угу» и грудной девичий смех.

Батя понимающие посмеивался: ну, эта, мол, за тебя не пойдет, а он томился, хотел увидеть ее, хотелось, чтобы где-нибудь еще раз опрокинул ее воз или еще что-нибудь. В кузнице работа валилась из рук. Батя покрикивал, а у него вместо пламени в горне плыло перед глазами ее лицо с алыми щеками и черные глаза, как угли.

Встретил у колодца. Одну. Подошел, кивнул. Она будто не заметила, тянула вниз железную цепь журавля крепкими полными руками. Хотел разговориться. Стеснялся. Разрешила испить воды. Студеная, аж зубы ломит, а пил долго, терпел, чтоб не сразу ушла.

— Чья ты?

— Сосватана уж.

— Смотри-ка. Не о том я!

— Сенькины мы.

— Буденовца?

— Угу.

— Стеша!

— Ау?!

Опять засмеялась.

Накинула на плечи коромысло, подцепила ведра и пошла, не оборачиваясь. Вот и вся недолга. А он стоял, огромный, опешивший, как дурак, с застрявшими в горле словами, которые еще с вечера приготовился ей сказать.

И только у кузницы, когда она привела подковать коня, разговорились. Конь был горячий, не давал ног, брыкался. Стеша сидела на чурбаке под тополем, вся в зеленых и солнечных пятнах, и любовалась молодым статным кузнецом. Уж это-то он заметил. Уж тут-то он постарался, показал ей и ее коню свое мастерство.

— Ну вот, бери своего коня.

— Проверю на рыси. Еще не знаю, какое вы счастье-несчастье приковали на все копыта.

— Что ж, проверить можно. Айда, гонись за моим Серко!

Оба взмахнули на коней и умчались в степь. Друг от друга не отставали, так и рысили рядом. И вольготно кругом и радостно обоим — молодым и друг другу под стать, словно Елена Прекрасная да Иван-царевич из сказки.

Что сказка! В жизни, в степи-то, получше было. Далеко ускакали — к облакам, в ковыли, в любовь... Целовал ее, но берег, поклялся вгорячах одну ее любить, пока солнце не погаснет. Да так оно и стало. И она поклялась! Звал ее с собой в Кривой Рог, говорил: «Весь мир для тебя сработаю!» — и для пущей важности кружил ее на своих могучих руках. Смеялась счастливо: «Да куда я с тобой, у меня батя вон хворый, весь израненный, обождать надо маленько...»

Ждал и ждать устал. Встречались на виду у всех, и не было пары краше. Батя ее, буденовец Сенькин, не перечил: «Для вас, любые, мы на фронтах любовь на саблях добывали». Но Стешу в Кривой Рог не отпустил: «Поезжай, Максим, остепеняйся в рабочем деле, там видно будет».

Уехал. На заводе уже год молотобойцем проработал, как приехала Стеша. Приехала, да и разрыдалась:

«Погиб мой батя, кулаки подстрелили. Ну, теперь — твоя. Теперь куда хошь — в мир или по миру!»

Вот так и началось на все четыре стороны!

А потом на Магнитку, на стройку, со всей Россией подались, да и остались. Там и встало все на свое место: и семья, и дети, и горячие цехи, и работа, и все счастье-несчастье, которое наковал в молодости на все копыта.

Ладно жили, правильно. Хорошо, что встретилась и полюбилась на всю жизнь Степанида, а не кто другой. Не то не было бы ни этой жизни, ни дела, ни детей, ни его самого, а было бы наверняка черт-те что, да вдобавок несุразное.

Или все мужики так думают о женах, которых воистину любят до самой гробовой доски? Да, так оно и есть. «Ну, прости-прощай, Степанида Егоровна. Дети — вот и все, что у меня сейчас осталось...»

Течет медленно время, стрекочет будильник, и в грудь глухо толкается сердце, как на поддавки.

## 2

Утром его разбудил будильник.

Ему ничего не снилось в последнее время, сны он не любил, так как все, что грезилось, переживал по-настоящему, как в жизни, и, очнувшись, злился на то, что это был только сон, где-то в потустороннем мире.

Радио орало детскими голосами под музыку: «На зарядку, на зарядку!» Как всегда, он со снисходительной улыбкой выслушивал до конца всю веселую бодрую передачу, жалея, что она не для него, хотя так и подмывало встать в строй со шпингалетами.

Будильник был его верным другом, металлическим петухом, и на протяжении многих рабочих лет ни разу не подводил, гремел и заливался добросовестно.

Раздался осторожный стук в дверь, потом повторился громче и настойчивее. Это, конечно, стучал сосед-столяр Веревкин, дружок на старости лет, имеющий обыкновение надоедать душевными разговорами утром и вечерком. Итак, все как всегда — день начался, жизнь продолжается, пожара нет и никто не умер.

Максим Николаевич посмотрелся в зеркало: и он жив-здоров! Слава богу, в которого он не верит, а

больше верит в крепкий индийский чай, который повышает тонус. Увидел себя в зеленой пижаме с белыми полосами дорожек и с глупым лицом и добродушным взглядом.

В этот день ему, веселому и бодрому, хотелось по-быть с детьми: и большими, и малыми. Побыть просто как человеку, отцу, а это не всегда получается. Жаль. За окном только солнце, оно было в глаза, ослепляло, и кроме него в стеклах ничего не отражалось. И вдруг на солнце надвинулось что-то темное и непонятное. В зеркале отражался сосед, который стоял в дверях, ожидая.

— Входи, входи, Ефимыч! День-то какой!

Максим Николаевич оглядел Веревкина и удивился: в субботу Ефим не работал по причине, что этот день ненастный, но всегда надевал очки, галстук и фартук для вида — приходили заказчики расплатиться, а сегодня из-под одеяла, накинутого на плечи, сиротливо белели завязки от кальсон.

Как и раньше, когда был в фартуке или в несуразно коротком костюме, он и сейчас протиснулся бочком, с недоуменнымными, строго стиснутыми губами, будто оправдываясь за свой приход неприглашенным, тихо положил желтоватые от никотина пальцы на кресло и сообщил:

— А я ведь к вам, Максим Николаевич!

И вид и голос делали его таким смиренным, печальным, будто он по ошибке распечатал чужое письмо.

— В чем дело, Ефимыч?! Садись.

— Вам, Максим Николаевич, может, и спокойно, вы крепче спите, а мне как особо расположенному душевно ко всему, нет. По голосу узнаю, за моей стенкой рыдает ваша старшая дочь, Татьяна Максимовна! И разбудила меня не голосом, а... Я счел долгом сообщить.

— Садитесь. Закурите. Вот из трубки.

Запершило в горле. Максим Николаевич глотнул воздуха.

Вот и день начался, и жизнь продолжается. Почему Татьяна, замужняя, старшая, пришла в дом и плачет? И почему, черт побери, об этом он узнает от соседа, на которого сейчас и смотреть-то противно.

— Юлия!

Максим Николаевич знал, что сейчас не время звать младшую дочь, Юльку-школьницу, которая после смер-

ти Степаниды Егоровны осталась хозяйкой в доме и даже расписывались за его пенсию, знал и то, что Веревкина надо выпроводить, что нужно пойти к Татьяне, что-то решить...

— Ефимыч! Идите к себе.

— Ах, да! А ведь я... могу ли чем помочь?

— Ладно, ладно... отдыхайте.

— Я к вам вечерком загляну. А сейчас... во субботу день ненастный...

Распахнув дверь, вбежала Юлька, остановилась, покраснела и застучала кулаком о кулаком, вздрогнув от гневного голоса отца.

— Ты почему плачешь?

Юлька подергивала губами, и было видно, что ей стыдно и не терпится что-то сказать. Сказала спокойно, кося глаза на соседа, он уходил:

— Папа! Вы не сердитесь. Танюша пришла и... — Юлька кивнула на закрытую за Веревкиным дверь, добавила: — Ревет! А что я поделаю?

— Иди ко мне, Юлия! Да не реви сама.

— Она сказала, что видеть никого не хочет. Подумайте, папочка, пришла к нам, плачет, взрослая, а как дура!

— Ладно, иди на кухню. Вскипятите мне крепкий чай. Олег где?

— О, его не ищите! Он опять выдумал теорему и ушел к Сане Окуневскому.

Максим Николаевич любил, когда дети в семье обращались на «вы» к родителям, и умилялся, если взрослые сыновья и дочери в других семьях называли отца и мать по имени и отчеству. Это, конечно, отдавало, как и бывает, но в рабочих семьях берегли сыздавна почтительность и уважение, вот как у Окуневских, к которым ушел Олег. Татьяна тоже называла отца на «вы» пока жила дома, училась в университете, до того, как решилась выйти замуж и пока Петр, ее жених, а его, Максима Николаевича, ученик по заводу, не разбил лихо на свадьбе несколько тарелок, пока опьяневшие гости не охрипли, крича «горько», и Петр увел Татьяну к себе домой. И если раньше Татьяна, добрая, рыхлая, пугливая, только любила плакать втихомолку, то после свадьбы она сказала отцу сухо и зло, когда уходила:

— Ну, вот... теперь я не дочь, а мужняя жена. А ты... теперь...

Петр торопил, Татьяна срывалась на крик, пьяная, несуразная, чужая и неблагодарная, и эта ее сухость и злость в голосе, «ты», хитрая бравада, отчаяние и бесполковая беспомощность больно резанули Максима Николаевича по сердцу и вызвали только жалость и презрительность.

Сейчас там, за дверью, беспомощно стонет, может быть, добрая, а может быть, злая Татьяна. Она всегда плачет, если ей трудно. Она всего боится и не умеет жить. Он шел к ней, беспомощной и плачущей, шел как отец, думая успокоить ее и узнать, что случилось, утешить... Да, несуразная она, и жизнь у нее не прямая, а с вывертами... До сих пор Татьяна никак не может сдать государственные экзамены в университете — последние два года училась заочно, помешала слишком уж быстрое замужество, — и теперь вот работает на почте.

Когда Максим Николаевич раскрыл дверь, Татьяна, в широком халате, бросилась ему на грудь, растрепанная, с покрасневшими глазами:

— Ох, отец! Родной мой! — И заплакала.

— Иди ложись, доченька, приляг! Тебе будет легче.

— Ах, лучше бы я не родилась... Что мне делать?

Скажите!

— Прилегла? Вот и хорошо.

— Я ушла. Не могу больше. Надоело видеть Петра пьяным. Собирался купить мне шубу, дорогую, а сам пьет... Потом он меня ударил...

— Подожди, успокойся.

— Я от него не ушла. Он меня выгнал.

— На Петра не похоже.

— Ну, не выгнал... а просто он ушел на свою смену на завод и оставил меня одну... И там, в подъезде, меня не любят. И во всем виноват Петр...

— Не плачь. Стыдно тебе. И не наговаривай на Петра.

— Как же мне не плакать? Он охладел ко мне...

— Ничего не понятно! Ты лучше послушай, что я тебе скажу. Не плачь, пожалуйста! Ну, вот, доченька...

Он теребил усы, подыскивая какие-то особые, убеждающие и утешительные слова, не находил их и терял-

ся, все перемешалось в его голове, и ему подумалось, что то, о чем говорит его дочь, чудовищно, гадко и несправедливо, если это так; а с другой стороны, показалось, что ее подозрительность и обида, ее слезы и эти мысли навеяны страхом, потому что для нее это впервые: рожать человека. Да и то правда: беременной женщине кажется, что она съязвона рожает весь мир, со звездами и луной.

И он сказал ей об этом, утешая, а она продолжала все всхлипывать, как малое дитя.

— Что же ты впадаешь в отчаяние? Смотри на жизнь хорошими глазами! Ты знаешь, что есть сильные, выносливые люди... Я-то думал, что ты — одна из таких. Помнишь, мы как-то вместе читали эту книгу, учительница Преображенская взошла на Казбек! До революции, в тысяча девятисотом году. А казачка Кудашева из Харбина... совершила подвиг. Шутка ли: из Харбина, одной, на коне отмахать девять тысяч верст до Петербурга! Вот какие были женщины. А ты, Татьяна Демидова, хнычешь. Сейчас не больно тебе? Слушаю тебя.

— Он... Петр... он охладел ко мне... Как бы вам сказать? Петр об этом и не говорит, но все равно кажется, что он не хочет... чтобы я... родила.

— Он тебе об этом сказал?

— Нет.

— Ну так чего же реветь! Мало ли что кажется. М-да-а! Ты поспи. Береги себя. Может, Петр вечером придет. Подождем.

Максим Николаевич, расстроенный и недоумевающий, ушел к себе, поближе к трубке, к несуразной любимой пепельнице, ушел, обдумывая очень важную мысль, которая никогда не давала ему покоя, ни в дни молодости, ни теперь, в старости. Мысль, а вместе с тем вечный философский вопрос: для чего человек приходит в этот мир и что человек в этом мире оставляет.

«Что ж, буду ждать Петра. Я из него душу вытрясу! Он должен прийти. Уж я с ним поговорю! Значит, ударили, выгнали... аборт... Аборт? Не может быть! Тут что-то не так...»

...Петр не пришел.

Максим Николаевич ждал его почти весь день, до последних известий по радио. Он не стал их слушать —

хотелось побыть наедине с самим собой, со своими мыслями, да и то сказать, в доме совсем другие «последние известия», которые он считал хоть и не важнее государственных, а все же... Большая трещина в его семье, трещина, которую не зашпаклюешь добрыми намерениями, не скроешь, не замаскируешь благими пожеланиями.

Словно сквозь забытье Максим Николаевич услышал робкий стук в дверь и знакомый неизменно вкрадчивый, елейный голос:

— А я ведь к вам! Не помешаю?

— Входи, входи, Ефимыч.

Веревкина Максим Николаевич знал давно, еще плотником на строительной площадке, вместе с ним рыли котлованы под цехи, вместе работали на опалубке фундаментов для домен. Тогда оба были молодые и оба начинали жизнь. Демидов перешел в горячие цехи, в сталевары, а Веревкин так и остался плотником.

Он остался совсем одиноким — ни детей, ни жены не было, не везло человеку по семейной части. У Демидовых он считался как бы своим человеком. Старичку Веревкину Максим Николаевич доверял все, хоть и недолюбливал его за подпольное рвачество, бессемейность. Если что случалось у Демидовых огорчительного, Веревкин успокаивал.

О Татьяне он так сказал сегодня:

— Ничего. Ну и пусть. Все как есть — так и полагается. Вышла Танюша замуж. Хорошо. Народится ребенок — отлично. А что муж побил да выгнал, так это и к лучшему: и дома, и в спокойствии поживет. Лишь бы не по рукам пошла.

Зная о том, что Олег собирается уходить в армию в военное училище, одобрил:

— Ничего. Ну и пусть. Куда определили, говорите? В войска особого назначения? В ракетные, значит. Сейчас это в моде. В почете будет. Там, говорят, кормят хорошо и все такое. Чистая служба, как в лаборатории. А мог бы и балбесом стать — их пруд пруди.

Когда умерла Степанида Егоровна, он долго моргал глазами, будто старался понять: хорошо это или плохо, и вместо одобрительного «ничего, ну и пусть», забормотал огорченно и непонятно:

— Справедливо ли долго жить, и справедливо ли

скоро умирать, намаявшись. И теперь не отдохнет. Время кончилось. Ничто не отдыхает. Времена текут, и старость уже не жизнь. — По-стариковски расплакался, ушел к себе, но гроб выстругал отменный и бесплатно.

И вот Ефимыч сидит сейчас рядом у стола, высокий и нескладный, молчит, рассматривая технические журналы: знает, что хозяину тяжело. Они часто вечерами молчат, так вот мысленно разговаривая друг с другом, как все старики.

Демидов смотрел немигающе на раковину-пепельницу, курил трубку. Веревкин, глядываясь в какой-нибудь чертеж, произносил многозначительно: «М-да-а...» И в этой поздней, расплывшейся по комнате тишине неслышным был даже стрекот будильника, будто остановилось время.

Максим Николаевич иногда исподлобья бросал взгляд на соседа, видел в бледном свете настольной лампы его тощие плечи и длинные руки, вытянутое лицо и отмечал, что сосед до странности похож на какое-то водяное растение, название которому он забыл.

Раньше Веревкин заводил длинные и интересные, казалось, беседы. Сначала Максим Николаевич был рад отвести душу, но чем длиннее был разговор, тем он больше уставал, и становилось как-то неуютно, пасмурно, и хотелось напиться или уснуть.

Спасали журналы. Было их много — технических, а сосед — большой охотник разглядывать снимки и чертежи и читать старательно, с причмокиванием: «М-да! Вот как! Смотри-ка!» И чем больше Веревкин углублялся в них, чем восторженнее причмокивал, тем больше Максим Николаевич убеждался в том, что сосед в них ни черта не понимает.

Сейчас он будто неживой: с подпаленными ресницами, меж которых мельтешат глаза, алая нижняя губа отвисла, и были видны вставные желтоватые чистые зубы, и древностью, покойником веет от белизны его сухих рук, пахнущих туалетным мылом и kleem.

— Ефимыч, тебе когда-нибудь было страшно?

Веревкин вздрогнул, глотнул воздуха и подхватил:

— А как же, было, было!

Глаза его полуприкрылись, будто он вспоминал о чем-то далеком и действительно страшном.

— Ты о чем это?

Веревкин заговорщики подмигнули и хихикнули:

— Ну... с бабами! До сих пор забыть не могу.

Максим Николаевич улыбнулся в усы — никогда они еще об этом не говорили.

— Интересно. Ты мне о страшном расскажи.

— Да страшного-то сколько хотите было! Я «козью ножку» скручу. Табак у вас, Николаевич, душистый. Золотое руно!

Веревкин скрутил цигарку, затянулся и продул дымом губы.

— Ох, унеси ты мое горе! Ну так вот... Будучи в те времена парнем, решился пойти я в соседнюю деревню к одной солдатке. А идти нужно косогором, где камни и старые сосны. Иду, подпрыгиваю, дрожу, картины в глазах туманятся. Смотрю, что такое: у старой сосны в желтой траве корни шевелятся! Чуть не наступил пятками — змеи! Три полоза в яме у камней скрутились в обнимку, пошептывают, посвистывают, унеси ты мое горе! А я встал как вкопанный и захолонул весь. Зашибели. Ну, думаю, сейчас тремя стрелами пронзят! Одна откачнулась — и в меня, будто кто ее рукой бросил. Я, понятное дело, заорал, отпрянул, размахиваю руками, мол, «чур меня». Выбросились еще две. Тут уж не до «чура». От страха на лбу холодный пот, а ну как они рядом, подо мной?! Спичкой поджег сухую траву — полыхнула, пламя-то в рост зашагало, да на меня, и не пойму: огонь шипит или все змеи — гнездо потребовожил! Эх, и пустился я бежать босиком по пеплу, а он горячий, подпрыгиваю, будто лечу, ору от страха и боли. Жарюсь ведь! В ушах — шипенье, в глазах — змеи, за спиной бежит-трещит пламя и впереди пламя. Как в геенне огненной. Да за что ж, думаю, господи, ведь не согрешил я еще, не успел. Тут я налетел на что-то и пропахал по обрыву, да в воду, в самые холодные глубины. Ну, думаю: от змей и огня спасся, а плавать не умею. Вынырнул, барахтаюсь, на берег гляжу: только дым стелется. Кое-как уцепился за корягу. Вылезать на берег боюсь, а вода холодная, так и тянет окунуться еще раз. В синих небесах белые облачка — высоко-высоко, и никого рядом. Зарыдал я тут. Кляну природу: молодой ведь еще парнишка, а мог ни за понюх пропасть. От змей, от огня да от воды спасся. Тут уж не до естества, не до бабы мне было! Ладно,

думаю, вдругорядь проверю. Вылез на берег, да и повернул ветром обратно...

Веревкин сожалеюще чмокнул губами и вздохнул.

Максим Николаевич посмеивался, прикрывая усы ладонью: вот ведь какие у Веревкина воспоминания. Насколько ему известно, Веревкину долго не везло с женитьбой: то ли не любили его, то ли боязлив был да суеверен. В общем, прожил жизнь не молодцом, а перекати-полем.

— Так вот и не везло мне в жизни. В другой раз собак натравили — свататься шел. Вот уборщицы да вдовы меня уважали.

Сосед разоткровенничался, начал рассказывать пошловатые истории, как они «уважали его», и долго жаловался, что не удалась жизнь.

Максим Николаевич слушал его, не перебивал, слушал с той убийственной снисходительностью, когда нельзя перебить человека, который в своих летах и понастоящему жалок.

Веревкин особенно сожалел, что единственная его жена, когда был молод и неуверен, ушла от него, уехала, не согласившись на аборт.

— Как в воду канула. А ведь любил я ее, и понимание было. Родила, чать. А кого, вот и не знаю. Живут где-то. Хоть встретить бы. Куда теперь писать им?! Неведомо. Уж я бы написал...

Веревкин мелко-мелко затряс плечами и прикрыл глаза сухими пальцами.

Максиму Николаевичу стало как-то не по себе, будто он был виноват во всем этом, стало противно, он смотрел на соседа тяжелым взглядом, и глухое раздражение поднималось в нем, и ему хотелось двинуть его по шее.

Вспомнил о Петре и беременной Татьяне и сдержал стон: нет, у них не то, у них другое! Не может быть таким Петр, как Веревкин, нет, не может.

— Ну, а другие? — спросил Демидов глухим, грубым голосом.

— Что другие? — Веревкин весь обмяк, сник, недоумение для него было мучительным.

— Другие тебе рожали детей?

Веревкин растерянно посмотрел в глаза Демидова и виновато развел руками:

— Тут, видите ли, такое дело... Неведомо мне. В браке не состоял. Так... поживем, да и разойдемся.

Демидов с ожесточением набил трубку и проговорил газдельно и устало:

— Ну вот что. Иди-ка к себе.

Веревкин засмеялся, сложил журналы стопочкой и нехотя встал, высокий и тощий, согнувшись в полупоклоне.

— Не гони меня. Посидим еще, поговорим.

Демидов не гнал. Он терялся, когда его умоляли, не выносил слез, и было неприятно, когда в душе поднималась предательская жалость. Но оставаться сейчас с соседом было гадко и омерзительно.

— Ну, нет уж. Поговорили. Да и спать пора.

Он раскурил трубку, окутываясь облаком дыма, рассерженный на соседа, на Петра и Татьяну, на свою немощь и старость, на жизнь и на всех на свете. Ругался и нервничал.

«Поговорили! Полегчало, черт бы меня побрал!»

Трубка обжигала пальцы. А мысли торопились дальше. «Какой же меркой мерить людей, если среди них попадаются такие, которые считают жизнь своею собственностью? Я всю жизнь дерево строгал, а теперь бесплатно живу. За каким чертом он строгал дерево? Знает ли он, этот бесплодный негодяй? Навряд ли.

Он просто работал на себя, на свою жизнь. Ему его дело было неинтересным. Одно оправдание — полезным. Он просто работал, работал без радости, как машина, но не трудился.

Хм-м... Без радости... И жизнь его была без радости и отдачи. Для него листья не шелестят, и не заметит он капелек росы на траве утром, при солнце, когда оно восходит, красное, в полнеба.

И мечты у таких нет. Душевная скучность, жадность и трусость — есть.

Цель — жить и выжить».

Демидов бросил взгляд на окно: там завод, там его прошлое, там его жизнь. Выбил пепел из трубки, встал, подошел к окну, стал разглядывать заводские огни.

«Ох, дом мой родной! Завод! Комбинат! Кто-то там дерево тоже строгает. Не Петр ли?!

Вот они там, рабочие, все на своих местах, но с разными судьбами и душами. Один работает — все на

часы смотрит, а другой-то трудится да глядит на график показателей.

Вот так — по-нашему».

Демидов вдруг вспомнил, как однажды он неосторожно выронил из рук и разбил дорогую, красивую большую вазу, которую купил для подарка на именины Степаниде Егоровне. Жена любила цветы. Разбил и чуть не заплакал. «Пропал труд стекольщиков-рабочих!» И три дня ходил злой, неразговорчивый, чувствовал себя дураком и виноватым, будто сломал зеленое деревце.

«Как бы Татьяна и Петр не разбили семью. Пойти к дочери разве? Сказать: прости, мол, дочь, за грубости, что наговорил. Утешить... Какой из меня утешитель? Обману, да и сам обманусь... Да и не знаю, что у нее на душе. Неведомо. Словечко прицепилось. Купим тебе, Татьяна, эту проклятую шубу! И Петра я тебе верну! Верну ли?...»

Уверив себя, что обязательно вернет Петра, не даст разрушить семью никому и выпрявит во весь рост, он расправил плечи. И если раньше он имел дело с машинами, варил сталь, то теперь пошло главное дело: справлять души людей и их жизни.

Максим Николаевич смахнул ладонью пот со лба. Устало прошелся по всей квартире: из-под двери соседа пробивался свет, значит, столярит, Юлька на кухне пишет свой доклад «В жизни всегда есть место подвигам», Олег и во сне бормочет свои теоремы... Татьяна стонет. Скоро ей рожать свое чудо.

Приказал сам себе: «Ну, а теперь спать. Завтра — на завод! — глубоко вздохнул, заключив: — Так приварю — не оторвешь!»

И было не ясно, к кому это относится: к Петру с Татьяной или ко всем людям на свете.

### 3

Наутро, не выспавшись, как всегда, когда был взволнован, Максим Николаевич ополоснулся холодной водой из-под крана, растер полотенцем до красноты еще могутную волосатую грудь, оделся, причесался и, осторожно прикрыв дверь, чтобы не спугнуть Юльку, готовившую доклад, вышел на солнечную морозную улицу.

Солнце покачивалось в туманных полосах до неба,

и его мягкие лучики желтили хлопья снега, которые мягко и пышно наваливались к стенам домов, затвердевали в сугробы.

Дворники, попыхивая изо рта парком, деревянными лопатами старательно переносили глыбы сугробов к грузовику, бросали эти глыбы в кузов под «ох» и «ах», и лица их были серьезны, многозначительны, будто они совершали государственное дело — грузили в машины зиму.

Миновав знаменитый в этом районе магазин «Продторг», Максим Николаевич очутился у заводского моста и нырнул в туманные полосы, которые здесь были гуще и холоднее, потому что от черной полыни дул ветер.

На трамвайных проводах, подпрыгивая, чирикали озябшие воробы, где-то внизу трескался лед; гудки маневровых паровозиков, удары железа о железо и заводской смешанный гул долго звучали в морозном воздухе, звучали резко, звонко и удручающе.

«Стервец!» — вслух выругался Максим Николаевич, вспомнив о Петре, и поднял воротник пальто.

Обида на Татьяну, на Петра, на самого себя и на всю эту нелепицу растормошила его душу, наполнила гневом, холодной злостью и беспомощной неловкостью одновременно, и он недоумевал, был сбит с толку и оскорблён.

«Как же так? Человек ведь. Хороший парень. Металлург! И выгнать мою дочь, беременную... Верил я ему, уважал даже, радовался... почем зря».

Какой-то голос шептал ему исподволь: «А что ты, старый, понимаешь в нынешней молодежи? Может, Татьяна твоя сама виновата? Обиделся, отцовскую гордость оскорбили! Ты ведь ничего в их жизни не знаешь, да и не обязан знать. Сами разберутся!»

Другой голос противился:

«Черта с два! Парень-то он, конечно, неплохой. Сам знаешь, учил его сталеварению, да и на свадьбе всех веселее был. А ведь факт: ушла Татьяна от него. Да чтоб в рабочей семье такое! Разобраться надо. Уж ты ему выложи все как есть. Он радоваться должен. Забеременела жена — еще пуще ее уважай!»

Максим Николаевич шел по заводскому мосту, обдумывая все, что он скажет Петру, и гадая, что тот отве-

тит, припертый к стене, шел не спеша, попадая в облачка пара, клубившегося у берега, где вода была незамерзшей и теплой, потому что сливалась в реку по трубам. Морозец пощипывал лоб и щеки, индевели брови и усы. Мимо мчались машины и тяжело скрежетали по рельсам трамвая, цеховые трубы стреляли в небо дымом, по ледяным плитам, скользя и посвистывая, разбегались степные ветры, сшибаясь у стен домов. Город жил, шумел, работал, весь в морозце и солнечном свете, и странно было предполагать, что в этом городе случился у кого-то семейный разлад. И Максиму Николаевичу было как-то не по себе, что об этом знает только он один, что это случилось в семье его дочери, что он идет к зятю, который сейчас стоит у мартеновской печи и плавит металл, к Петьке, черт бы его побрал, который, наверное, забыл на работе обо всем на свете, и о жене, и о ребенке, который должен ведь родиться какой ни на есть.

У проходной Максим Николаевич увидел два щита с плакатами: на одном — встал во весь рост краснощекий молодец в новеньком комбинезоне и со счастливой улыбкой призывал дать Родине сверхплановый металл, на другом — красной молнией застыла показательная диаграмма.

С заводского пруда дули ветры, свистели, и над трубным пламенем завода смешивали дымы и облака, двигая их высоко в синюю, морозную до боли в глазах глубину неба. За стеной встал в полнеба цехами, зданиями, строениями и трубами комбинат. Максим Николаевич увидел громады домен, почувствовал сразу, что озяб, весь заиндевел на ветру и отметил про себя, что вконец стал похож на Деда Мороза. Поздоровался с вахтером, подняв руку к шапке, и, выйдя на заводскую площадь к железнодорожным путям, с грустью вспомнил строчки: «Мороз-воевода дозором обходит владенья свои».

В мартеновском цехе на Максима Николаевича сразу навалились родные и привычные ему жар, пламя, шумное гудение печей и громыхание кранов.

Ему хотелось крикнуть: «Привет», как старому знакомому, огромному заливочному крану с наклоненным к желобу ковшом, подойти поближе к оранжевому потоку чугуна, шагнуть дальше, к другой печи, где шла за-

валка. Там тяжелая и несуразная завалочная машина двигала стальной хобот к огненному окну и осторожно опораживала в ослепительном свете стальные корыта — мульды с шихтой.

Вспыхивают вокруг вишневые зарницы. Пахнет генераторным газом и расплавленным металлом. По печному прогону снуют бронзовыми силуэтами, колдуя у мартенов, сталевары, ковшевые, разливщики. Где-то среди них и Петр.

Озаренные печи, шум мостового крана, звон колокола завалочных машин, сигналы паровоза, тяжелый гул пламени, шелест лопат, уверенные крики команд — все это напоминало Демидову его собственную молодость и трудовые будни, комбинатских друзей. Вспомнилось, как при самой первой плавке мастер проверял все на глаз, будто повар на вкус, вспомнились тяжелые горячие годы войны... В то время он ездил в Кузнецк к другу-сталевару, который впервые в истории металлургии сварил плавку броневой стали, как с тех пор и они у себя начали выплавлять броню в большегрузных печах. Вспомнились мирные годы, скоростные плавки любых сталей, сотни тысяч тонн сверхплановой, движение под лозунгом: «За работу без брака, за отличный металл!»

Все это было, было здесь, в цехе, и каждый раз, когда он наблюдает за другими сталеварами или учениками, новая плавка тревожит и радует сердце.

Максиму Николаевичу стало неловко, что он пришел сюда к Петру по семейному, пустяковому вопросу, будто нельзя было для этого найти более подходящее место. Но именно более подходящего места он не мог найти. Здесь, только здесь, где все ответственно и серьезно, он должен поговорить с Петром, вернуть его, не дать рабочей семье распасться, ибо он лично отвечает за это.

На соседнем пролете уже зазвонили в колокол. Значит, на печи окончилась доводка, взята проба, все готово к выдаче металла.

Паровоз подал состав с изложницами, а звон колокола все еще продолжал висеть в жарком воздухе, колебля красные отсветы на фермах подкрановых балок.

Он увидел, как подручные схватили тяжелую железную пику и несколько раз ловко и быстро ударили ею

в заделанное выпускное отверстие. Глухо зарокотало пламя, выстрелило огненным лучом и, вспыхнув ореолом, вытолкнуло из отверстия расплавленную сталь, и она, тяжелая, с шумом и сверканием хлынула в ковш.

В ослепительном, солнечном облаке Максим Николаевич увидел Петра и подошел поближе. Петр заметил его, кивнул и помахал рукавицей. «Надо подождать», — решил Демидов и отошел в сторону.

...Петр подходил к нему усталой походкой, неуклюжий в своей сталеварской робе, грязный, хмурый и курил — папироса была прикушена зубами, он, не разжимая губ, затягивался глубоко, это было видно по впавшим щекам, и дымил носом. На красном от жары лице подрагивали темные капельки пота, от круглой шляпы на глаза падала синяя тень, и они посверкивали из-под бровей зло и нетерпеливо, или это казалось, потому что в зрачках отсвечивали блики пламени.

Максим Николаевич ожидал увидеть Петра смущенным, виноватым, готовым раскаяться, думал, что тот склонит голову, будет прятать руки, не зная, куда себя девать, но Петр шел к нему спокойно, высоко подняв голову, и был похож на того краснощекого парня, что призывал на плакате дать Родине сверхплановую сталь. Подошел и весело и басовито поздоровался:

— Здорово, батя! Вы как здесь?

— Да вот пришел взглянуть, как вы тут...

— Мы ничего... кашеварим. Думаем уложиться во время и еще одну плавку выдать.

— Сверх графика?

— Да.

— Молодцы.

Помолчали. Вслух Максим Николаевич похвалил, а внутренне пожалел его. «Как же теперь он домой придет и останется один?»

Петр был тих и спокоен, курил, неловко покашливая, будто ожидал, что же тесть хочет сказать ему.

Максим Николаевич забыл уже и «стервец», и то, что хотел непременно «выложить все, как есть». А когда он заметил, как Петр устало вздохнул и, бросив папиросу в песок, наступил на нее ногой, что-то родственное, рабочее, толкнулось в душу, и сам для себя решил, что не сможет сделать Петру выволочку, как

намеревался раньше, а только поговорит с ним просто, по-семейному.

— Что же ты не спросишь о Татьяне, не скажешь ничего? — нахмурился Демидов.

— А что говорить?!

Петр встревожился, поправил шляпу, полез за папиросами.

— Случилось что-нибудь?

Мимо проходили рабочие, здоровались.

— Случилось. Пойдем-ка куда-нибудь... В красный уголок.

В красном уголке они сели на старую отшлифованную скамью, стоявшую от входа в углу, как провинившиеся взрослые дети. Петр отмахнулся свисавший на белый лоб жесткий рыжий чуб, тронул очки на шляпе, словно они были не на месте.

— Что у вас там с Татьяной произошло? — начал Максим Николаевич вопросом. — Пришла, плачет. Говорит, выгнал меня Петр, прогнал, значит.

Петр беспокойно зашевелился, глотнул воздуха.

— То есть как это выгнал? Ничего я ее не прогонял. М-м... Правда, в последнее время черт знает что с нею творится. Ругаемся иногда. То ей не так, а то это. Все грозилась: уйду к отцу, да я не верил.

— Ты, Петр, вот что... Нехорошо с женой у тебя получилось... Нехорошо! Как же это? Я тебе ее отдал хоть и не золотую, а все же... Живи — и радуйся! Хм...

Максим Николаевич крякнул, потер усы и добавил:

— Пить, говорит, сильно начал...

— Чепуха! — отрезал Петр. — Это почему же пить? Сами знаете, на какой работе... А кажется мне, врать начала ваша Татьяна.

— Твоя Татьяна, — мягко поправил Максим Николаевич.

— Ну да, моя...

Петр помолчал.

— Не знаю, как это она... Хм! Не нравится ей у меня, что ли? Живем, как все. Ни в чем себе не отказываем, вот только характер у нее... ну, неуживчивый, что ли. Спрашиваю, почему подруги к тебе не ходят? А тебе, говорит, какое дело. Вот как. Как несчастная какая! Разревелась недавно, до скандала. Шубу я хо-

тел ей купить. Привезли откуда-то, дорогие, красивые! Целый день в универмаге простоял — не досталось. Успокаиваю: купим другую. Не хочет другую. Ну что ты будешь с ней делать? Это я так, к слову вспомнил. А у нее все есть.

Петр опять помолчал, а потом заговорил, недоуменно разводя руками, будто сам с собой:

— Может, скучно ей у меня, может, любить, что ли, перестала. Или я ей не подхожу. Не знаю... А только нервов я поистрепал с нею — будь здоров.

Максим Николаевич взглянул на него сбоку, откашлялся. Он чувствовал себя неловко: сам задавал вопросы, Петр отвечал, и это уже походило не на разговор, а на допрос. Он сказал в раздумье, как бы между прочим:

— У многих, особенно у молодых, бывает так. Жена забеременела — уже не нравится, не та она уже, как прежде была — молодая да красивая. Не та, да и ... М-да! Расходятся некоторые, бросают.

Петр усмехнулся.

— Бросьте, батя! Стыдно слушать. Вы лучше скажите мне, почему Таня всегда со слезами. Она что, в детстве плакской была? Бывало, взгляну — глаза подпухшие. Плакала, значит. Но виду не подает. А у меня кровью сердце обливается, аж зло берет! Думаю: опять в чем-нибудь виноват. Как же она после университета историю будет преподавать? Историю! Там ведь, в общем, в три ручья реветь нужно!

— Погоди, погоди! Ты это брось. Не такая уж она истеричка. Ты мне прямо скажи, как отцу. Обижал ее? М-м... Руки распускал, может?

Петр покраснел, нервно, сухой ладонью потер щеки и упрямо, отчужденно, зло бросил, переходя на «ты».

— Слушай, батя! Я с детства не люблю в игрушки играть. Как ты можешь обо мне такое подумать? Я Татьяну люблю! Она моя жена, сына ждем скоро. Это не шутки шутить. Почему вот ушла она, вопрос! Может быть, жить со мной не хочет или испугалась чего-нибудь?

Петр взглянул на Демидова пытливо и ожидающе.

Максим Николаевич опустил голову.

— Не знаю.

Он начал догадываться кое о чем, и в этих догадках дочь выглядела не в лучшем свете.

— Не знаю, Петр.

Максим Николаевич положил свою тяжелую руку на узловатую руку Петра. Тот продолжал:

— Говорил ей: готовь свою курсовую. Не послушалась, пошла на почту работать. Так мне обидно было, будто я плохо зарабатываю. Отговаривал, отговаривал — ничего не получилось. «Не затем я замуж вышла, чтоб на твоей шее сидеть», — вот как она говорит! Эх! Друзья ко мне придут, прошу соблюдать тишину — Татьяне надо курсовой работой заниматься. Не до шума. Сядет заниматься — сразу головные боли. Да и то, не шутка: «Кортесы и аграрный вопрос в Испании во время нашествия Наполеона» — вот как ее работа называется! Я все библиотечки города обегал — книги доставал. Все сам про Испанию перечел. Очень интересно. Там этот аграрный вопрос еще до сих пор не разрешен. В то время, особенно горняки Астурии, давали прикуриить Наполеону.

Петр улыбнулся:

— У меня эти кортесы вот где сидят! — и ударил себя по шее.

— Так что же дальше делать будем, Петя?

— Не знаю, Максим Николаевич. А только я за ней не побегу. Не маленькая. Сама ушла, сама и придет.

— Что ж, мирить не буду. Не дети.

Мы не расходились. Я-то, конечно, приду, да что толку? Вам бы самому поговорить с нею надо.

— Говорил я с Татьяной, да вот вижу, наоборот все получается.

Максим Николаевич встал, протянул Петру руку:

— Иди. Сейчас завалка тебя ждет.

Он уходил от Петра, чувствуя стыд и беспокойство, уходил опустошенным и как-то сразу постаревшим. Хорошо было одно: в Петре он не обманулся. Петр во всем прав. Он знал теперь и верил, что все, о чем зять говорил ему, было правдой, правдой непреложной и жестокой, и от этого душу захлестнула обида. Так или иначе, собственная дочь обманула его самым бессовестным образом, или сам он в чем-то немного поглупел.

В доме все было по-прежнему. Захотелось побыть наедине, успокоиться, чтобы немного забыть и огорчение и усталость.

Беспокоило состояние Татьяны, но он решил неходить к ней, ибо знал, что не сдержится, накричит, а сейчас кричать на нее, уличать во лжи, воспитывать не было смысла. Нужно было успокоиться и ждать, и быть уверенным, что так или иначе дочь сама должна догадаться кое о чем и прийти.

Юлька сообщила ему, что Татьяна не встает, стонет, никого к себе не пускает и что Олег еле упросил ее открыть комнату, чтобы взять свои учебники.

Максим Николаевич подумал было послать за врачом, — кто знает, что может сотворить женская порода при интересном положении, но Юлька сказала, что на этот счет у них с Татьяной полная договоренность, так что беспокоиться не о чем.

Его уже перестала раздражать вся эта история с Петром и Татьяной, и хотя вся она построена на песке, не серьезна, бессмысленна и дика, и вот, поди же ты... больно. Петр оказался молодцом, хоть и гордым. Татьяна же — малодушной, трусливой и подлой, этакой семейной провокаторшей. Да, больно. И хуже всего то, что ничего поделать он тут уже не сможет, кроме как накричать или успокоить, но не вмешаться, не решить по-своему. Да и то, в конечном итоге, дети сами начинают жить.

Все это были нерадостные, хоть и успокаивающие мысли, приводящие к безволию и к непротивлению. Этак, чего доброго, можно прийти к оправданию чертополоха и подлости. Об этом приходилось думать, а когда он думал об этом, то становился противен сам себе. Да, жаль, что он уже не тот Демидов, в величине и славе, не заводской богатырь, а старик и пенсионер, для которого только и осталось отсчитывать домашние дни с домашними неурядицами.

В конечном счете все перемелется, и у Татьяны с Петром все будет хорошо. В этом он не сомневался.

Остались Олег и Юлька, те его любили по-настоящему и были дружны с ним. Хоть и тихо, с почтением к возрасту, к тому, что он их отец. Он знал, что потом появится некоторая разобщенность, уважение на рас-

стоянии, когда дети станут взрослыми, когда исчезнет зависимость, когда круг их интересов перешагнет стены дома. Вот если бы и отцы и дети всегда работали, как в детстве братья и сестры Максима Николаевича, работали вместе с отцом в поле. Как они восхищались им и его работой, как любили и гордились.

Юлька росла любознательной и серьезной. Отличница в школе, неугомонная хозяйка в доме, она успевала и по магазинам, и варить обеды, и мыть полы, стирать, штопать, и ей в доме все подчинялись.

Последние несколько дней она готовит большой школьный доклад: «В жизни всегда есть место подвигам», часто заглядывает к нему и просит рассказать что-нибудь. Однажды задала отцу неожиданный вопрос:

— А вы хоть раз в жизни совершили подвиг?

Он был застигнут врасплох и не знал, что ответить.

— Подвиг? М-м. Пожалуй, нет. Не совершил, дочка.

— Как же? У вас вон сколько орденов — и Ленина, и Трудового, и Почета!

— Это не за подвиги, за работу. Вот работал много, хорошо работал... Наградили.

— Знаю. Ну, а другие ваши друзья и товарищи?

— Другие? Как же, совершали. Эти сколько угодно.

Он долго рассказывал ей о заводе и о рабочих, о самой первой плавке, о днях войны, о пуске комсомольской домны, а также прокатного стана, знаменитого на всю страну, о друзьях и о товарищах по работе и молодости. Юлька слушала внимательно, ему было приятно рассказывать ей, вспоминая самое дорогое в своей жизни.

Олегом он тоже был доволен. Тот заканчивал школу, слыл хорошим математиком. Летом, по возрасту, ему уже идти в армию, и он ждет не дождется этого, чтобы поступить в артиллерийское училище.

На областных и союзных математических конкурсах Олег много раз выходил победителем. Он любит рассказывать отцу о великих ученых, о которых тот и не знал. Особенно восторгался сибирским академиком Соболевым, который в двадцать пять лет стал профессором и с которым сейчас Олег состоит в переписке, получая от него письма с физико-математическими задачами. Готовится к Всесоюзной олимпиаде.

Олега все любят, особенно Юлька. Она просто преклоняется перед ним, потому что он один у них в семье брат, веселый, вежливый с ее подружками и, вообще, всегда моет после себя тарелки. Он иногда получает гонорары из газет и журналов за кроссворды и криптограммы, приносит домой и отдает Юльке, как она говорит, «все до копеечки». И смеется: «О-о! С тобой не пропадешь! Не шути, брат!» А он протрет платочком очки и ухмыляется. «Ну, теплышко, поедим не поедим, на меню хошь поглядим! А?» Он называет ее «теплышко», и это звучит, как «солнышко».

Да, это его любимые дети, с которыми дальше жить и благоустраивать их судьбу.

Оставшись сейчас наедине, он чувствовал, что ему чего-то не хватает, наверно, какого-нибудь шума или голосов. Читать не хотелось. Вспоминать было привычным и не новым, утомительным, да и грустным делом.

Максим Николаевич включил радиоприемник, и сквозь позывные и писк в уши и в грудь его ударило сразу джазовым громом музыки, будто оркестр взорвался, корежа трубы и барабаны, будто где-то там, за океаном, под этот хаос плясали, извиваясь, голые женщины и, щелкая долларами, трясли животами и орали толстозадые капиталисты. «Нечего людям делать...» — с неудовольствием подумал он, выключил звук, в комнате наступила благодатная тишина. Но в этой тишине были и совсем другие звуки, они доносились из-за окна, дверей и стен.

Сосед не мешал своими душевными разговорами — пел за стеной, значит, пьян. Пел он заунывно и одиночно, с плачем в голосе, будто хоронил сам себя.

Максим Николаевич прилег в кресло, закрыл глаза и прислушался.

Тишина наполнилась жалобной песней про какого-то Ваню, который сидел на диване и, видите ли, чай последний допивал...

Не допил он чая с полстакана,  
Да за девушкой послал.

И сидит сейчас Веревкин на своем клеенчатом диванчике, раскачивается из стороны в сторону, подперев щеку ладонью, и всхлипывает словами-стонами, будто от зубной боли.

Ты, девица, моя красавица,  
Расскажи любовь свою.  
Я любил тебя, мальчик, три года  
Да за скромность за твою.

И верится, наверно, Веревкину, что он когда-то действительно любил свою девицу-красавицу, но как в песне, так и в жизни непонятной получилась у него судьба.

Да за скромность и за умность  
И за ласковы слова.  
А теперь я любить не стану,  
На Кавказ пешком пойду.

Ни на какой Кавказ сосед, конечно, не пойдет, ибо нечего ему там делать, а будет вот так в своем постыдном одиночестве тешить себя песнями и жаловаться на судьбу.

Максиму Николаевичу стало искренне жаль соседа и немного страшно за него. Помрет, и ничего от него не останется.

Ведь вот он только жил и прожил жизнь. Родился, строгал, питался, встречался с женщинами, постарел и теперь доживает бесплатно. Ни жены, ни детей, ни друзей... ничего хорошего. И это — человек? Нет. Организм. Да, организм... Водоросль!

Максим Николаевич поднялся и закурил трубку. В кухне послышался голос Юльки: «Олег, иди обедать!» — а потом голос Татьяны: «Юля, ты вскипятила мне чаю?» Значит, Татьяна встала... Ему хотелось пойти на кухню к детям, хотелось сказать Татьяне о том, что видел Петра, что он ее любит, что она сама напустила на себя лихо и лучше было бы возвратиться к себе домой, к Петру, но счел это неудобным, пусть уж дети побудут одни, всему свое время... Он только подошел к открытой двери и остановился. Оттуда, с кухни, слышался печальный и серьезный голос Татьяны и звонкий, какой-то радостно-бесшабашный смех Олега.

Олег с детства любил овсяные хлопья «Геркулес», любит и по сей день, хотя Геркулесом и не стал. Худой, опрятный, в очках, весь светится.

Он, наверное, ест сейчас свои геркулесовые хлопья с молоком, приготовленные Юлькой, смеется, слушая Татьяну.

— Я часто вижу тебя, Олежка, с Полиной Васильев-

ной. Что у вас с нею? Не мог себе пару найти получше?

— О-о! Сейчас ты обрушишь на меня всю ярость своего педагогического дарования. Полина Васильевна, между прочим, очень умна.

— Но ведь она тебе чуть не в матери годится. Она... дама.

— Ты, сестра, между прочим, на ханжу не похожа.

— Хм! А вот многие говорят, что вы даже целуетесь с нею.

— Ну вот! Опять целый пакет неприятностей. Не люблю тех, кто подсматривает.

— Я слышала от других! Вот у нас на почтамте... Хочешь, познакомлю тебя с Ирочкой? Красивая, умница.

— Я не способен к грусти томной...

— Не поясничай, Олежка! Лучше скажи мне, чем это очаровала тебя Полина Васильевна? Что это у вас? Дружба? А может быть, ты влюблен в нее?

— Не знаю, как это у вас называется, может быть, и дружба, а может быть, влюблен. Для меня Полина Васильевна — солнечный человек. Солнечный! Ты когда-нибудь видела таких людей, сестра? Их, между прочим, много.

— Не понимаю, Олежка.

— Поймешь. Потом, когда встретишь. Вот наш батя... Он тоже солнечный. Ты не замечала?

Максим Николаевич, услышав о себе, почувствовал, как щекам стало жарко, будто его незаслуженно наградили чем-то, особо дорогим и незаменимым, и еще почувствовал, что стыдно ему подслушивать разговоры, тем более когда говорили о нем.

Он растерянно прикрыл дверь. Значит, там говорят о нем его дети, говорят откровенно и дружелюбно. Он зал, что Олег его любит. Сын назвал его солнечным. О такой категории людей Максим Николаевич никогда не слышал, сын сказал это просто так, образно выражаясь, но по разговору и по тону Олега он догадался, что так называют, должно быть, очень хороших людей.

Раз они солнечные, от них должны исходить свет и тепло, и в них, должно быть, заключено что-то важное и нужное другим, вроде жар-птицы, как у Полины Васильевны, которую Олег очень уважает; дружбы Олега с ней так и не поняла Татьяна своим домашним умом.

Максим Николаевич знал также, что людская молва, как волна, доносит на берег и щепки, и мусор, и разбитые корабли. Конечно, люди припели поцелуй, правильно и то, что Полина Васильевна умна и красива и Олег восхищен ею, и уж действительно правда, что оба они в большой дружбе, непонятной многим, как товарищи — младший и старший, любознательный и мудрый, а другие в этом видят, что в голову взбредет, и втайне завидуют, вот как Татьяна. И то, что Олег назвал его солнечным, родило в Максиме Николаевиче такую радость, которой не принесет и не подарит ему никто другой — ни сосед, ни завод, ни Петр, ни Татьяна.

Это был подарок, подарок за все эти тревожные и по сути дела одинокие дни.

...Утром у Татьяны начались предродовые схватки, и ее увезли в родильный дом. Об этом Максиму Николаевичу сообщила плачущая Юлька. Он воскликнул: «Наконец-то!» — и удивленно посмотрел на нее и потрепал по щеке:

— Ты-то что ревешь?

— Да как же! А вдруг?..

— Никаких вдруг! Все будет хорошо.

Ему стало радостно, что скоро в доме появится внук, и он увидит его, что дожил до этого, что фамилия Демидовых будет продолжена навечно, и что скоро в доме наступят шумные, праздничные дни.

— Сбегай к Петру, сообщи.

— Я уже сбегала. Он в больнице дежурит.

Он только жалел, что его не разбудили раньше, и будильник забыл вчера завести, как всегда заводил, жалел, что не увидел дочь и не поговорил с нею, а ему так хотелось сказать ей, что Петр ее любит.

Да, теперь будет больше хлопот, зато все встанет на свое место, и никакой он вовсе не пенсионер, а просто дед Демидов, и в будущем у него будет много внуков и внучек — сыновей и дочерей учительницы Татьяны, офицера Олега и врача Юлии, и жить он будет сто лет непременно, а то и больше.

День был лихорадочным и суматошным. Приходил Петр, встревоженный и шумный, ругался, что его непускают к Татьяне и ничего не говорят. Просил Максима Николаевича, Юльку и Олега пойти с ним к Татья-

не, не отказался от рюмки водки, и вообще в доме переполох был полный. Радовался даже сосед Веревкин, он хоть и выпил не в меру, зато пел веселые песни.

Потом им стало известно, что роды прошли благополучно и родился здоровый мальчишка, в чем Максим Николаевич не сомневался, но и их не пустили к Татьяне, а только сообщили, кто родился, и велели прийти через несколько дней.

Домой они возвращались вместе: Демидов, Петр, Олег и Юлька. Максим Николаевич хвалил внука, хоть и не видел его, всех похлопывал по плечу, лицо его помолодело и снова стало улыбчивым оттого, что на душе было легко и светло, что всех он любит, все ему родные и что жизнь продолжается.

Он сказал всем, что ему хочется побывать одному, и остановился на заводском мосту.

...У моста, прочерчивая ночное небо, висели белые, мохнатые от инея трамвайные провода. Морозный воздух звенел, и снег на площади и изморозь на черном асфальте золотисто искрились от желтого электрического света уличных фонарей, окон и реклам. Трезвонили трамваи, шелестели шинами такси и слоноподобные нарядные автобусы, раздавались громкие голоса прохожих. Максим Николаевич расстегнул ворот пальто — было жарко, давило шею. Теперь дышалось легко, стало свежее. Он долго стоял, прислоняясь к чугунным перилам моста, и смотрел на лед и снег реки, на черные с туманом полосы полыньи, на разбросанные по берегу гаражи владельцев машин и на снежную камышовую пойму внизу под обрывом. И когда отзвенели трамваи, утихло все вокруг и погасли огни в окнах, он остался наедине с городом, заводом и небом. Он стоял, как хозяин и вечный сторож и города, и завода, и неба. Он стоял и смотрел на колкие ярко-серебряные звезды, словно отшлифованные морозными ветрами, наблюдал, как посылают они свой пронзительный свет из далеких космических глубин, удивляясь земным теплым огням-звездам.

За синей дымкой, за мостом, в темноте, румянной от красных зарниц, слышались встревоженные шумы завода. А за домами и цехами, за трубами, за ЦЭС и ТЭЦ, за шлаковыми откосами и старым городом высилась рудная гора-шатер с полосами карьеров, опоясан-

ная цепочками далеких огоньков, и над всем этим, будто плывущая по небу, красная звездочка телевизионной вышки. Все слилось воедино: огни завода и города, мостов и улиц, вокзалов и площадей, и ко всем огням и зарницам прибавился еще один — рыжий огонек из трубы Максима Николаевича.

Сердце его билось ровно и отчетливо, на душе было радостно и спокойно, и не думалось ни об одиночестве, ни о смерти, и главное было в нем самом — человек вечен в делах и детях своих, и все было на своих местах: и труд, и мир, и то, что называется жизнью, в которой всегда есть место подвигам.

Да! Ведь это тоже подвиг: построить в степи огромный прекрасный город и воистину могучий металлургический комбинат.

Это общий народный подвиг. Да, Максим Николаевич, в таких случаях обычно с легкостью говорят и пишут: «здесь вложена частица его труда». Какая уж тут, к черту, частица, когда он на своем горбу вынес и завод, и город от первого камня, первой доски, первой выплавленной болванки до дворцовых домов, которые, как в полете, обняв степь, раскинулись по садовым проспектам, до горячего гордого дыхания доменных броневых плит и мартеновских печей, наполненных раскаленным солнцем, которые трубами, как руками, держат небо, бросая в него добытый из земных глубин огонь — прометеево животворящее пламя!

Это он, Максим Николаевич Демидов, рабочий класс, стоит сейчас перед своим огромным и могучим детищем, слушает, в такт сердцу, гул и шум. И чудится и видится Демидову сквозь дымку морозно-солнечной дали — стоит он молодым на стропилах бетонной укладки и, перекрывая стук лопат, топоров и кайл, широкогрудо, озорно орет в блаженном восторге: «Давай, давай, дава-а-ай! Нажимай! Ого-го-го-го!» — и вот будто сейчас, пройдя через годы, отозвалось в заводских громадах это неумолчное родное, рабочее эхо — железное эхо.

## Содержание

---

Троє в тайге . . . . .	3
Вторая жизнь . . . . .	24
Дорога на двоих . . . . .	52
Марево . . . . .	68
Эти двое в метель . . . . .	93
Сугробы на земле, как облака . . . . .	113
Разлука живет на вокзале . . . . .	129
Облака . . . . .	151
Гуртоправы . . . . .	169
Пламя . . . . .	181
Печаль . . . . .	204
Лебеди таежные . . . . .	242
Граждане . . . . .	262
Змей Горыныч . . . . .	281
Железное эхо . . . . .	302

**Станислав Васильевич Мелешин**

**ВТОРАЯ ЖИЗНЬ**

**Рассказы**

---

**Редактор Л. Егоршилов**

**Художник Р. Вейлерт**

**Художественный редактор О.Червецова**

**Технический редактор В. Юрченко**

**Корректоры Н. Попикова, Т. Моспан**

ИБ № 1961. Сдано в набор 01.09.80. Подписано к печати  
13.02.81. А09717. Формат 84x108/32. Гарнитура литерат. Печать  
высокая. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,64.  
Уч.-изд. л. 17,89. Тираж 75 000. Заказ 4862. Цена 1 р. 40 к.

**Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР  
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза  
писателей РСФСР  
121351, Москва, Г-351, Ярцевская, 4**

**390012, Рязань, Новая, 69/12  
Рязанская областная типография**